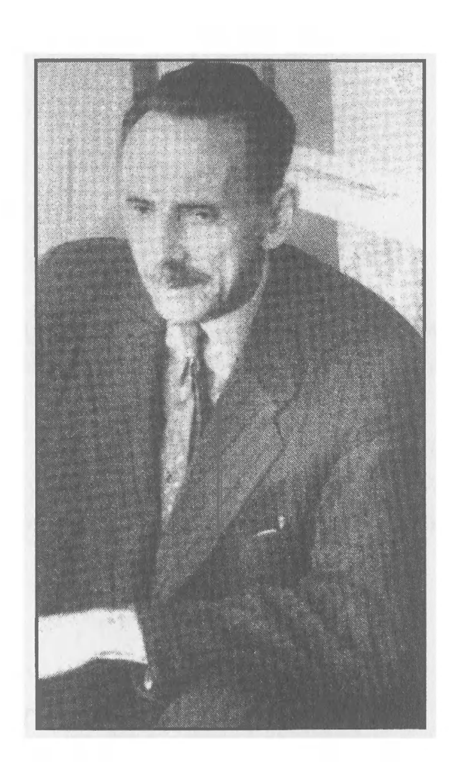
*Николай Авенариус*

# Кремнистый путь

Николай Авенариус

*Светлой памяти*
*Ирины Георгиевны Авенариус*
*(1937–2007),*
*яркого и глубокого человека, географа,*
*исследователя арктического шельфа России,*
*автора монографии*
*«Морфоструктурный анализ при изучении культурного*
*и природного наследия Западно-Арктического региона России»,*
*дальней родственнице Николая Авенариуса*
*посвящается*



*Николай Авенариус*

# Кремнистый путь

*Волшебный фонарь*
Москва
2012

Копию рукописи (ксерокс машинописи со следами авторской правки) воспоминаний Ирина Георгиевна заполучила на одной из регулярных встреч лиц из рода Авенариусов в Праге в начале нашего века. Сведения о воспоминаниях Николая Александровича появились в материалах «общества Авенариусов» не позже 2003 г. Авторскую машинопись воспоминаний она вручила мне в 2005 г. После электронного копирования я передал её на хранение в Дом русского зарубежья, где она зарегистрирована под № Р–703.

Хотя судьбу Н. Авенариуса следовало бы считать счастливой (выжил, сумел получить образование, создал семью и оставил нам памятный след), но это благополучие сурово оплачено хотя бы тем, что Николай Александрович не мог осуществить несбыточную мечту остаться русским и служить своей родине. Сам язык рукописи – яркое свидетельство цены изгнания.

Можно сказать, что Н. Авенариус предвосхитил обращение А. Солженицына: «Весь этот опыт почти неизвестен населению нашей страны и будет представлять величайший интерес – чем позже, тем больше. Я призываю моих соотечественников теперь же сесть писать такие воспоминания, чтобы горе наше не ушло вместе с ними бесследно, но сохранилось бы для русской памяти, остерегая на будущее».

*Г.А. Вомпе*

Что же я такого сделал?
Что? Не хотел видеть, как
уничтожают всё старое,
в котором были,
конечно, и недостатки, как
при каждом режиме, но
уничтожать всё, что
создали отцы, было ни
чем иным как
варварством, против
которого надо было
встать.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

# Детские и юношеские годы. Мологский период моей жизни

Родился я девятого марта 1897 года в городе Мологе тогдашней Ярославской губернии. Лежал он при впадении реки Мологи в Волгу. Теперь на карте его уж нет; примерно в 1924* году он был затоплен при сооружении Рыбинского водохранилища. Читал я где-то, что проезжая на пароходе в этих местах в тихую погоду, можно увидеть силуэты мологского собора. Захолустный городок была Молога. Четыре тысячи населения, три улицы, десять переулков, дома почти исключительно деревянные, улицы немощёные.



Папа родился в Петербурге, мама в Москве, там она и познакомилась с папой, где он в то время служил; там они и поженились и прожили первые пять лет беззаботной, радостной жизни. Там родилась и сестра Оля.

Для того чтобы объяснить, как и почему они покинули Москву и переехали в Мологу, нужно вернуться лет на десять назад.

Дед был историк, археолог, служил в Варшаве инспектором Института благородных девиц. Семья – пять мальчиков и одна девочка (кроме умерших в младенчестве). Кроме службы дед много занимался археологическими раскопками в Царстве Польском. Ну, а средств было мало. Не так просто было дать каждому сыну университетское образование. Так, папа по окончании средней школы поступил в Варшавское военное училище. Кончил и был назначен в чине подпоручика в Кексгольмский, тогда ещё не гвардейский полк. Полк стоял в каком-то маленьком польском городишке. И в первые же месяцы военной службы папа понял, что

---

* Заполнение водохранилища происходило в 1940 году.

она его ничем не притягивает, не интересует, совсем ему чужда, что он к ней совсем не годится. Не по состоянию здоровья — нет. Он был высок, строен, хороший танцор, хорошо ездил и любил ездить верхом. Не в том дело.

Он был человек живой, инициативный, работящий, хотел всегда видеть результаты своей работы. По его натуре ему больше всего подходило строительство, архитектура. Прослужив обязательные два года, папа вышел в запас и поступил на железную дорогу. Если бы он попал на строительство дорог, там бы он нашёл своё место. А попал он на эксплуатацию дорог. Прошёл какие-то курсы и стал начальником небольшой железнодорожной станции, служба оказалась опять не по его натуре. Через два года он служил уже в Москве, в страховом обществе «Россия».

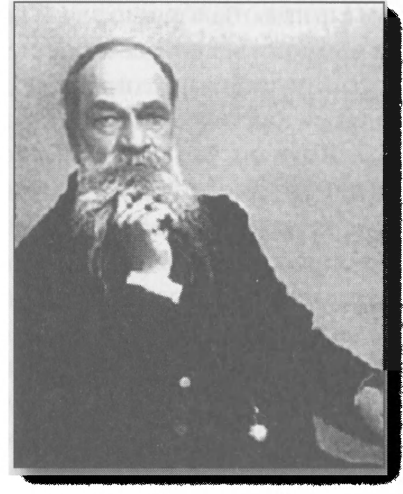
В Москве жила сестра папиного отца, София Петровна Феррейн. Муж её Владимир Карлович Феррейн был владельцем большого химическо-фармацевтического предприятия (две большие аптеки, три аптекарских магазина, лаборатории в Кривоколенном переулке). Папа свои последние учебные годы в средней школе жил у тёти и посещал немецкую гимназию. Там он в совершенстве овладел немецким языком. Предприятие Феррейна постоянно расширялись, постоянно строились новые здания. Это интересовало отца, и после двухлетней службы в страховом обществе, освоив счетоводство и бухгалтерию, он перешёл на службу к Владимиру Карловичу. Теперь работа пришлась ему по вкусу. Интересовали его и стройки, и само производство. В 1891 году, познакомившись с мамой на кумысе (курорт с лечением кобыльим молоком), они повенчались. Потом последовали самые беззаботные дни их совместной жизни. На четвёртый год родилась Оля — здоровый весёлый ребёнок.



Работой у Владимира Карловича папа был доволен. Знакомился с производством, получал опыт в так близком его сердцу строительстве. Фирма была старая. Была она основана в конце царствования Петра Великого предками Владимира Карловича. Сам он был человек в высшей степени интеллигентный, благородный, знаток всех отраслей своего предприятия.

Был у него единственный сын — тоже, как мой папа, Александр, родившийся почти в один день с папой. Они ходили вместе в немецкую гимназию, но ни в чём не были похожи один на другого. Папа — здоровый, весёлый оптимист, покладистый, добрый това-

рищ, возможно, немного легкомысленный. Его кузен Саша Феррейн – мальчик болезненный с врождённым туберкулёзом, может быть, поэтому всегда печальный, пессимистический, не искавший приятелей, гордый и самолюбивый, всегда помнил, что он – будущий владелец миллионного предприятия. Не сблизило их совместное учение, и теперь он считал себя стоящим на высшей ступени, чем папа, игнорировал его. Он женился немного раньше папы, имея в описанное время уж троих детей. Он умер от туберкулёза лет через пятнадцать после женитьбы папы, оставив пять дочерей и одного сына, а года через три после его смерти на его вдове тёте Лине женился папин брат, мой любимый дядя Володя.



*Владимир Карлович Феррейн*
Фото 1900 г.



Никогда ни папа, ни мама не говорили нам о причинах, побудивших папу оставить службу у дяди Владимира Карловича. Мне поэтому приходится о них лишь догадываться.

Одной из них, и, как мне кажется, главной было стремление отца сделаться самостоятельным, достичь в жизни чего-то собственной инициативой, собственной энергией. Ни в коем случае не предполагайте, что отец хотел разбогатеть. В жизни отца деньги никогда не играли главной роли, как и для каждого из Авенариусов. Другой причиной могло быть неналаживание отношений между папой и его кузеном. Повлияло на папино решение и то, что мама после смерти отца её, через год после маминого замужества, осталась совершенно без родственников и сама могла распоряжаться своими деньгами (около сорока тысяч рублей).

Я думаю, что в папиной голове после трёх-четырёх лет службы у Владимира Карловича начал созревать план создать своё предприятие.

Он детально ознакомился с производством таких простых и ходких товаров, как клюквенные и вообще фруктовые экстракты, овсяная кашка для детей, сгущённое молоко. Думаю, что

уже тогда он, хорошо знакомый (по службе на железной дороге) с экономической географией России, знал, что необходимые его будущему предприятию товары и дешёвую рабочую силу можно найти в северных губерниях центральной России.

Я думаю, что мама, безо всякого жизненного опыта, верящая в папину энергию, любившая его всей душой, если не помогала разрабатывать папины планы, то была хорошо ознакомлена с ними. Нужен был лишь основательный толчок, повод к приведению их в исполнение. Я думаю, что таким толчком был ниже описанный случай в театре. Повторяю: я считаю возможным, что он мог им быть. Александр Владимирович проявил к маме нетактичность, задевшую и маму, и, конечно, отца.

Папа с мамой и Александр Владимирович с тётей Линой пошли вместе в театр на какую-то премьеру. Ложу для них купила София Петровна – папина тётка, мать молодого Феррейна. В то время, думаю и теперь, в четырёхместной ложе первые места занимают дамы, а мужья – места за ними. Александр Владимирович, посадив жену на переднее место, преспокойно сел рядом с ней. Он был светски воспитанный человек, часто бывал за границей. Незнанием этикета никак это нельзя было объяснить. Папа с мамой во время первого антракта ушли из театра. Так рассказывала мне мама об этом эпизоде, связывая его со скоро за тем последовавшим уходом папы со службы у Владимира Карловича. Толчок был дан, и папа со всей присущей ему энергией начал с согласия мамы приводить свой план в исполнение.

В газетных объявлениях он прочёл, что в городе Мологе продаётся винокуренный завод. Место для задуманного папой производства было подходящее. Папа сразу туда отправился. Глушь страшная. Железная дорога в тридцати километрах, но необходимого сырья сколько угодно.

Винокуренный завод папе не понравился, но отцы города, узнав о его намерении, предложили ему за бесценок место на окраине города для постройки завода. «Помогите городу подняться, расти», – уговаривали отца местные заправилы. Папа, как и я теперь, решал всё сразу. Остановился на Мологе. Вот видите, сколько мне пришлось потратить времени, чтобы читающие поняли, как мама с папой из Москвы-матушки очутились в Мологе.

В другой половине 1896 года папа и мама с годовалой Олей основались в Мологе. Как мама вспоминала – первые месяцы

жизни в Мологе были единственные счастливые в её жизни. Нашлись 30 интеллигентных молодых семейных пар, с которыми мама и папа подружились, даже начала нравиться жизнь в совсем других условиях. А потом – одно за другим пришлось им пережить два несчастья.

Поздно вечером, когда здания завода и дома осталось перекрыть крышей, по неясным причинам постройка загорелась. Папа вскочил на Хорька (единственная в то время у отца лошадь), поскакал. Постройки были деревянные, как всё в то время в Мологе, и за два часа всё поглотил огонь. Сгорел и приготовленный материал на крышу. Было холодно – начало зимы. Мама, не одевшись, со сжимающимся сердцем наблюдала, как огонь пожирает строящийся завод. Стояла на крыльце дома, в котором они жили. Она сильно простудила всю левую часть тела, слегла с сильными болями и поднялась лишь при приближении появления на свет меня. Это ли стало причиной или испуг, вызванный пожаром, или что ещё, но роды были очень тяжёлые. Мама перенесла ужасные муки, но выжила; последствия были чрезвычайными: первые пять лет после родов – эпилептические припадки, сначала частые, потом всё реже и реже. Но остались изнуряющие головные боли, не оставлявшие маму в течение десяти лет. От женщины молодой, жизнерадостной не осталось и следа. Осталась боязнь повторения припадков, так что почти все годы, проведённые в Мологе, она избегала ходить по улицам одна. Всегда сопровождали её или прислуга, или Оля. Совсем поправляться мама начала незадолго до переезда в Москву, то есть почти через пятнадцать лет. Понятно, что годы, проведённые в Мологе, она не любила вспоминать, вычеркнула их из своей жизни.



Постройки не были ещё застрахованы. Папа намечал застраховать их после сооружения крыш. Постройку надо было начинать снова с очень заметно уменьшившимся капиталом. Наверное, у папы и мамы, тогда ещё здоровой, появлялись мысли всё это оставить и вернуться в Москву, но гордость, мне совершенно понятная, этого им не позволила.

И отец, наверное, ещё с большей энергией взялся за работу. От постройки жилого дома отказались. Решили поставить лишь небольшой домик, в передней части которого были две комнаты для сторожа и его семьи, а две другие служили канцелярией и кабинетом отца.

*Молога. Завод Авенариусов.*

Кое-как завод был пущен в ход вскоре после моего рождения. Заботы помогали папе переносить тревоги из-за маминой болезни. Поплатилась только мама – я родился здоровеньким. У мамы не было молока, так что привезли из деревни кормилицу с её тоже новорождённым ребёнком, и она кормила нас двоих чуть ли не год. Оля росла нехворая; за ней ухаживала няня, проживавшая у нас потом до моих шести лет. Были ещё горничная, кухарка, кучер. В большой кухне всегда было многолюдно, и я любил туда убегать, несмотря на запрет нянюшки и мамы.

У отца было много энергии, трудоспособности. Не хватало коммерческой жилки, чуждой всем Авенариусам. Недостаток резервного капитала тормозил работу завода, не позволял ему расширяться. Сбывать товар было труднее, чем приобретать сырьё, многие покупатели были очень неаккуратны с уплатой за товар. Повторяю, у папы были полны руки работы, дома его можно было видеть только вечером. А больной маме всё время приходилось возиться с прислугой и кухаркой. Они были из деревенских девушек, приходивших в город чему-нибудь научиться. Год учатся и уходят либо обратно домой, либо на более выгодное место.

Из раннего детства остались у меня два воспоминания: папа приехал пораньше с завода какой-то странный. Прошёл быстро в мамину комнату и заплакал, обнимая маму, Олю и меня.

– Дедушка, папа мой, умер! – сквозь слёзы прошептал он.

Другое воспоминание связано с Олей. Мы любили играть в догонялки, носясь из одной комнаты в другую. Квартиры у нас всегда были большие, обыкновенно шесть комнат. Оля бежит впереди, я за ней, вот-вот поймаю. Чтобы я её не поймал, она захлопывает передо мною дверь, и неудачно: косяк двери попадает мне в висок. Я падаю, наверно, на мгновение теряю сознание, потом страшно плачу. С лица капает кровь. Мама несёт меня в детскую, кричит прислуге, чтобы скорее бежала за доктором.

– Я, я убила Колюшу! – кричит Оля, бежит в угол, в котором висит икона, бросается перед ней на колени и, плача, взывает: – Боженька, спаси Колю! Пусть я умру за него.

Эти слова врезались в мою память навсегда. Пришёл доктор, зашил разорванную бровь, но след остался надолго.

Да, ещё вспоминаю: у нас гости – Кирсановы с детьми: Лида (однолетка с Олей), Валя и Юрка. Валя немного моложе меня. Мы с таким увлечением играем, и в самый разгар веселья Екатерина Порфирьевна начинает собираться домой.

– Дети, одеваться! – зовёт она.

Я так её упрашиваю остаться ещё, ещё хотя бы на пять минут. 
Не помогает. Я сержусь на неё, называю её злой, получаю от мамы порядочную шлёпку, меня отсылают в детскую, и я там, обиженный, долго плачу.

Кроме кирсановских детей, были у нас и другие друзья детства: Лёня Хомутов, Володя и Митя Блатовы (их мама была моей крёстной), Стася Квятковский. Некоторых из них я ещё буду вспоминать, описывая свою юность. Они повлияли на формирование моего характера и мировоззрения. Но с ними я встречался нечасто – жили они от нас не так близко, а я ещё не имел права ходить один по улицам. Зато каждодневно встречался и играл с рябятами, жившими по соседству. Мама их называла «уличными мальчишками» и с некоторыми запрещала мне играть.

Исключением был Санька Редкий, сын соседа. Он был на год младше меня, слабее, беспрекословно во всём подчинялся мне, тихий, смешливый, никогда не сквернословил. Жизнь его, его двух сестёр и, особенно, матери была ужасна. Много в моей жизни мне пришлось слышать, читать о мужьях и отцах – тиранах семьи, извергах. Таков был отец Саньки Редкого. Он был лесником и большую часть времени проводил вне дома – в лесу, в сторожке.

Красивый, рослый, прилично одетый, он всегда приходил домой пьяным или выдавал себя за такового. Когда он являлся, вся семья старалась не попадаться ему на глаза. Удавалось это только Саньке, который перелезал через забор и прятался у нас. Издевался лесник больше всего над женой, женщиной лет тридцати, забитой, худой, со следами побоев на лице. Совершенно безгласное существо, никогда не выходившая со своего двора, она избегала людей, чтобы не видели её убожества. Никто из обывателей Мологи не поднял голоса в её защиту. «Дело их семейное», — оправдывались, боясь его. Он мог поджечь, избить в темноте. У них была корова, большой огород, этим и жили. Санька, конечно, подкармливался у нас и был за это бесконечно благодарен. А сам был честный, ничего никогда не взял, никогда ничего не попросил.

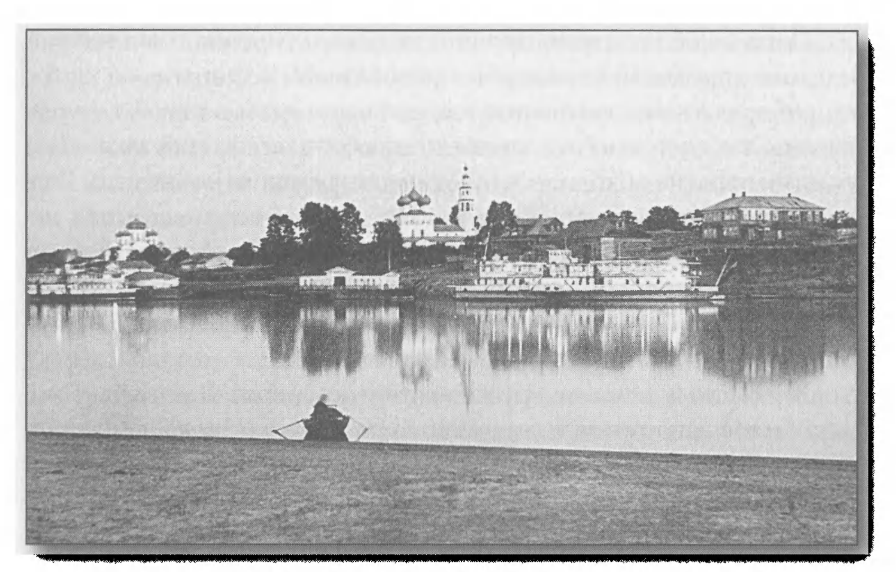
Было ещё трое соседских мальчишек. Проворные, ловкие, с ними было интересно играть, ходить удить мелких карасей в соседнем пруду, делать рогатки и самопалы и стрелять из них по воробьям. Хорошему я от них ничему не научился, наверное, больше плохому. Мне запрещали их пускать к нам на двор, но при мамином здоровье трудно было за мной уследить. К счастью, знакомство с ними не отразилось на моём душевном развитии. Зато познакомило меня с жизнью простонародья тогдашней России.



Оля была старше меня на два года, а потому её школьные годы начались раньше моих. В те времена в России все, кто мог себе позволить, начальное образование детям давали не в городских школах, а дома. Первые годы обучала мать, а потом или приглашалась домашняя учительница, или дети ходили в частные школы, устраиваемые курсистками-учительницами. Существовавшие тогда народные училища были негигиеничны, дети грязно, неопрятно одеты, у многих водились вши, при разговоре дети пользовались очень грубыми, примитивными словами: простой народ жил в то время на более низком уровне, чем теперь.

Проучившись два года у мамы, в такую частную школу (детей там было, кажется, десять человек) попала и Оля. Она всегда с любовью вспоминала эту школу, учившихся в ней детей и учительницу Александру Васильевну.

К сожалению, когда я дорос до этой школы, она из-за недостатка детей закрылась, и я после двух лет учения у мамы продолжал набираться мудрости дома, но уже у приходящей к нам старушки-учительницы. Ей уж надоело, наверное, учить, и уроки она



*Молога*

вела вяло, не возбуждая во мне интереса к ним. В Мологе была только женская гимназия. Для мальчиков было низшее техническое училище. Оля поступила в гимназию и как раз в последний год нашей жизни в Мологе её окончила с золотой медалью.



Меня и моих сверстников ожидала или гимназия в соседнем городе Рыбинске, или коммерческое училище там же. Рыбинск лежал на Волге километрах в тридцати ниже по течению. Пока Волга не была подо льдом и ходили пароходы, можно было ездить домой на каждое воскресенье, но от середины октября до апреля сообщение между Рыбинском и Мологой было только на лошадях, и за всю зиму я мог побывать дома лишь три раза. Ещё за два года до поступления в гимназию перспектива моей отдельной от семьи жизни волновала маму и интересовала меня. К этому периоду жизни вне родной семьи в ещё детские годы, без родительской заботливости и ласки, что приучало к самостоятельности и отчуждало ребёнка от семьи, я ещё вернусь немного позже. Теперь буду продолжать повествование о жизни всей нашей семьи.

Завод папин работал, и на доход от него можно было жить если не на очень широкую ногу, то во всяком случае безбедно. Не было резервного капитала и возможности расширить предприятие. Перспектив не было.

Папа вошёл в жизнь провинциального городка. Был избран гласным городской управы, был основателем и старшиной клуба, где собиралась мологская интеллигенция поиграть в карты, где устанавливалась детская ёлка, ставились любительские спектакли. Без участия папы не обходилось ни одного городского новшества. Бедняжка мама почти не покидала дома, ограничив знакомства несколькими семействами. Жила мама с нами – Олей и мной. Оля, бесконечно к маме привязанная, была с ней неразлучна, наполняя мамину однообразную жизнь с постоянными головными болями. Они с мамой понимали друг друга с полуслова.

В 1904 году началась русско-японская война. Для войска понадобилось огромное количество сгущённого молока, кофе, шоколаду. Получила на них заказы и фирма Феррейна. Но и заказы на медикаменты увеличились чуть ли не вдвое, так что удовлетворить заявки на консервированные молочные продукты сам Владимир Карлович не мог, но одновременно и не хотел от этого отказываться. Средств у него было более чем достаточно, но не было под рукой ни сырья, ни помещений, ни рабочих рук.

Он вызвал папу в Москву. Не знаю, на каких условиях папа



принял предложение на совместное выполнение заказа. Средства давал Владимир Карлович, папа взял на себя организацию производства. Завод папы ожил. Из Москвы стали прибывать необходимые машины, оборудование. Папа разъезжал по окрестностям, налаживая доставку необходимого количества молока. Военное министерство послало в Мологу для наблюдения за производством военного врача, агронома, интендантского чиновника. Присланный из Москвы электротехник оборудовал небольшую заводскую электростанцию. Электричество в Мологе было ещё невиданной новинкой, мологжане один за другим приходили посмотреть на новое зрелище.

Город тоже почувствовал расширение папиного предприятия, прибыли новые люди, нужны были для них квартиры, понадобилась рабочая сила, увеличились обороты у торговцев. Повысилась и значимость папы в городе.

Папа, который перед тем ничего экстренного не мог себе позволить купить, купил двух лошадей-полукровок: Каприза под седло и Ваньку в шарабан.

Ванька (так окрестил его кучер) – красивый вороной рысак – стал нашим общим любимцем за свой весёлый нрав, доброту, по-

слушность, за своё звучное ржание, которым он всегда оповещал, что вернулся домой. Мы с Олей не боялись его, всегда приносили ему кусочек сахару, который он так деликатно брал из наших рук, и мама не боялась за нас, позволяла его гладить, влезать на него или водить его за повод по двору.

Папин верховой конь, получивший сначала имя Красавчик, а потом переименованый Капризом, был по нраву полной противоположностью Ваньке. Злой, норовистый, злопамятный. Он признавал авторитет только папин, слушался, переносил от него удары хлыстом, никогда не старался его укусить или лягнуть. По всей вероятности, он перенёс на папу то чувство, которое у него сохранилось к его первому воспитателю и кормильцу. Он не привык ходить под седлом, и папа сам его тренировал. Мама всегда начинала молиться, когда папа выезжал на нём со двора. Оля делала то же. Каждого кучера он ненавидел, не признавал их власть над собой. А они опасались его, не зная, что он сейчас выкинет: лягнёт ли, укусит или встанет на дыбы. Пока Капризом пользовался отец лишь как верховой лошадью, дело ещё как-то шло. Но и через год папа мог совладать с ним только лишь при помощи мундштука (железные удила для сдерживания непокорных коней), всё чаще воздействуя на него шпорами и хлыстом, когда он отказывался повиноваться.



Наконец папа потерял терпение и велел запрягать его в шарабан. И тут с ним была беда. Решит, что шарабан перегружен, остановится, а когда его начинали подгонять, начинал бить передними и задними ногами, ломая оглобли и оскалив, как пёс, свои зубищи, бешеными глазами обводя всех стоящих около него, готовился сопротивляться всеми средствами. Кучера из-за него не хотели у нас служить, и, наконец, пришлось от него избавиться, продав за бесценок.

Привёз папа из Москвы с выставки и маленького сенбернара. Назвали его Милордом. Он быстро вырос в огромного, ласкового и добродушного пса. Пока он был поменьше, он жил в комнатах, но потом, виляя хвостом, он начал сбивать со столов посуду, вазы и был водворён в кухню. Все мы его страшно любили, только наш первый пёсик Бойка, тоже живший в кухне и сопровождавший всех нас, когда мы шли в город, страшно ревновал его к нам. Мы гладим Милорда, а он, встав на задние лапки, дотянувшись до Милордовых мохнатых ушей, грызёт прямо до крови. Надоест это

Милорду, да, видно, и больно, прижмёт он своей огромной лапой к земле и держит его так, облизывая его мордочку, пока Бойка не успокоится и не перестанет визжать.

Да если уж вспоминать наших друзей детства из животного мира, так надо вспомнить старенького сибирского коника с клеймом на боку и с разрезанным ухом – Огурчика. Он вместе с Хорьком были первыми лошадьми папы. Необходимо вспомнить козла Кочубея, приятеля коня Ваньки. Огромные рога были у Кочубея, уловишь момент, вскочишь на Кочубея, и он понесёт тебя по двору. За ним устремятся Бойка, Милорд. Я держусь за огромные рога Кочубея, но ему удаётся всё ж меня сбросить.

На кухне всегда мурлыкала кошка Мария Ивановна, позёвывал кот Васька. Двор у нас был большой, хватало места и для остальных: большой пёс Бур и поменьше Бурка, его сын Глакса; важно расхаживал огромный петух-забияка. Раз он чуть не выклевал глаза дочке нашего кучера. Бедняжка, так годков около двух, играла с чем-то на дворе, а петух вскочил ей на плечи и начал клевать её в голову. Она начала страшно кричать, упала. К счастью, я был недалеко и отогнал его. Кучер свернул ему потом голову. Из пернатых я имел целую голубятню разноцветных и разных пород голубей. В моей комнате долго жил и щебетал чижик. Со всеми нашими любимцами случались разные приключения, и пересказ их занял бы несколько страниц. Дополним сказанное лишь описанием судьбы некоторых друзей из мира животных.



Огурчик и Бойка околели за несколько месяцев перед нашим отъездом из Мологи в Москву. Некоторые машины, оборудование, материалы папа перевозил из Мологи в Москву водным путём: Волгой, Окой, рекой Москвой – на баржах, которые тянул буксирный пароход. На них отправились и некоторые рабочие, которые пожелали последовать за папой в Москву. Там были и их семьи и пожитки. Там поместились и Ванька, и Милорд. Плыли они чуть ли не месяц, и я очень жалел, что папа не разрешил мне с ними ехать. Милорда и Ваньку решил взять дядя Володя – в имение Владимира Карловича Бутово (в 20 км от Москвы). Было жаркое лето. По дороге из Москвы в Бутово Ванька, запряжённый в шарабан, вёз кого-то из рабочих. Милорд бежал около своего приятеля Ваньки. По всей вероятности, он получил солнечный удар. Дойдя до Бутова совсем ослабевшим, он там через час-два и околел. Ванька привык к новым конюшням

в Бутове. Его облюбовала младшая падчерица дяди Володи – Маня Феррейн. Страшная поклонница верховой езды, она нашла, что Ванька прекрасно ходит под седлом, и он стал её конём. Года через три, в начале первой отечественной войны, Ваньку забрали к войску в артиллерию. Далее судьба его мне неизвестна.

Вернусь к жизни в Мологе. Русско-японскую войну встретило мологское население возгласами: «Мы этих макаков шапками забросаем». Папа, как офицер запаса, внимательно и с тревогой следил за развитием военных действий. Газеты приходили в Мологу на третий день, но к этому все привыкли. Мне тогда было семь лет. Мы получали иллюстрированный еженедельник «Нива» с фотографиями русских и японских военачальников, с хроникой военных событий, фотографиями наших броненосцев и крейсеров, имена которых я и сейчас помню.

Осада Порт-Артура волновала нас. Помню, как папа раз пришёл с завода раньше обыкновенного, сильно взволнованный. «Порт-Артур пал. Стессель его сдал преждевременно». Это известие Оля приняла с плачем – она была страшная патриотка. Последние неудачи воспринимались легче. Мы, мальчишки, распевали «Варяга» (песнь, связанная с гибелью крейсера «Варяг»). Вера в благополучный конец войны падала.



Но вот кончилась война, а с ней и интерес к молочным консервам. Министерство не возобновило заказ. Уехали наблюдавшие за производством представители военного ведомства. Между ними был агроном Китнер. Вспоминаю его, потому что среди папиных вещей, вывезенных нами из Мологи, был и папин портсигар, подаренный Китнером, с надписью: *«На добрую память. Китнер. 1905».* Доход от военного заказа был значительный, но расходы, связанные с расширением завода, с новым оборудованием, тоже были значительны. Существовавшие в России чисто молочные предприятия, тоже во время войны разросшиеся, могли с избытком покрывать требования населения.

Папу опять вызвал в Москву Владимир Карлович. Состоялось новое соглашение: папа за договорённую сумму передаёт «Товариществу В.К. Феррейн» (к этому времени фирма Феррейн была уж легализована под этим новым названием) землю, на которой стоит завод со всеми постройками и оборудованием; к этой сумме присчитывается и чистая прибыль, оставшаяся от

военного заказа. За это он получает несколько акций «Товарищества Феррейн». Завод остаётся в Мологе, но переоборудуется на чисто химический, с определённой программой. Москва пришлёт химиков, которые поведут новое производство. Папа остаётся управляющим фабрикой (так уже начали называть завод) с определённым жалованием и, как акционер, – участником прибылей. Мне не удалось узнать, сколько акций получил отец. Знал, что перед началом мировой войны «Товарищество Феррейн» оценивалось в два миллиона рублей. Мне кажется, что папа получил акций на сумму пятьдесят тысяч. Для папы это был хороший выход из положения. Он не потерял вложенные в завод мамины деньги, был обеспечен хорошо оплачиваемой, интересной и самостоятельной работой. Владимира Карловича папа всегда считал прекраснейшим, честным человеком, хорошо относящимся к своему племяннику.

Папа вздохнул. Не висела на нём теперь уж совсем финансовая сторона дела, которая ему всегда была не по душе, к которой у него и способностей не было.

Опять всё начало перестраиваться. Из Москвы везли новые



машины, оборудование, приехали химики. В России был тогда острый недостаток в химиках. Пополнялся он из химиков Германии, прибалтийских провинций России – Латвии, Эстонии, Финляндии. Вспоминаю приехавшего из Баварии химика Гросса с пятью маленькими детьми, ни слова не знавшего по-русски. Тяжело приходилось и финну. У обоих папе, занятому другим, приходилось быть переводчиком. К счастью, латыш и эстонец владели сносно и русским и немецким языками, и дело налаживалось. Нам с Олей не нравилось – почему на воротах переменилась вывеска. Перед тем было: «Завод А.Н. Авенариус», а теперь: «Фабрика Товарищества В.К. Феррейн». Но так как мы не замечали никаких перемен в положении папы, он распоряжался сам единолично, – так и успокоились.

Тем временем Оля перешла в третий класс гимназии, а я осенью должен был покинуть Мологу и переселиться в Рыбинск. Вновь поступающих в рыбинскую гимназию и коммерческое училище было человек восемь. Алёша Хомутов уезжал ещё дальше в Ярославль, поступая в кадетский корпус.

Экзамен сдан, приближается осень. Отец уже был в Рыбинске, представился директору гимназии, который рекомендовал

папе вдову учителя, у которой тогда жил один гимназист, и она искала другого. У неё был рояль, и папа условился с ней, что она будет давать мне и уроки музыки. Третий и последний год моего бесполезного бренчания на рояле. Не было у меня ни слуха, ни голоса, ни музыкальной памяти.

Пятнадцатого августа мама везёт меня в Рыбинск. Познакомившись с дамой, у которой я буду жить, осмотрев комнату, уверив мою будущую опекуншу, что я мальчик хороший и шалю не больше других, купив мне книги и учебные пособия, спешим на пароход. Мама поедет обратно домой в Мологу, а я останусь здесь в чужом Рыбинске сам. Второй гудок парохода. Я прощаюсь с мамой. Плачет мама, плачу и я. Машу фуражкой отходящему пароходу, слежу  с платком у глаз за мамой, посылающей мне последний поцелуй. Мне так тоскливо, и слёзы продолжают падать из глаз. Ещё тоскливее стало, когда пришёл в свою комнату. Моего сожителя, гимназиста 6 класса Коли Мочульского* ещё не было дома. В комнате всё так чуждо, неуютно. Думаю об Оле – как ей хорошо дома...

Приходит Коля Мочульский. Он сирота. Его отец, больной, спившийся интеллигент, кажется, редактор какой-то газетки, умирает в больнице далеко от Рыбинска. Коля производит на меня впечатление взрослого, самостоятельного человека. За учение, квартиру и питание платит его опекун. Но Коля уж и сам подрабатывает на жизнь. Он раза два в неделю выступает как статист в рыбинском городском театре, в «Рыбинских биржевых ведомостях» сотрудничает в отделе городских новостей. Он курит и знаком с водкой и пивом, способный, учение даётся ему легко, на гимназию он смотрит как на неизбежное зло. Когда он учит уроки – я не знаю. Домой он приходит, когда я или лежу, или уже сплю. Придя, что-то пишет или репетирует какую-то роль.



Месяца через два после начала занятий в гимназии должен был состояться праздник по случаю юбилея Н.В. Гоголя. Коле было поручено прочесть «Записки сумасшедшего». Он отнёсся к этому серьёзно, целыми вечерами репетировал и поражал меня исполнением этой тяжёлой роли. Слушая его каждый день, я и сам выучил «Сумасшедшего» наизусть. До сих пор помню некоторые пассажи из этого произведения.

---

* Позже известный артист.

В первые же дни нашей совместной жизни Коля внушил мне, что самое никчёмное дело – это зубрить уроки, чтобы получить пятёрку

– Зубрилы, выйдя в жизнь, ничего не добьются. Они способны только тянуть лямку. Внимательно прочитай урок, и достаточно. Тройка самая хорошая отметка. Тебе никто не будет завидовать. Лучше читай и читай всё, что попадётся тебе под руку.

Я последовал его наставлению. В один из первых дней в гимназии за ответ по русскому языку я получил пять.

– Когда уж получил пятёрку, так дай на несколько дней покой русскому языку.

Я послушался. Учитель, видно, захотел меня проверить и закатил мне единицу.

Этот год моей жизни не оставил в моей памяти ничего. Даже имени и отчества моей хозяйки по фамилии Ошанина (известная российская дворянская фамилия) я не помню. Это была сухая женщина, мной совершенно не интересовавшаяся. Вот Колю вижу как живого и сейчас, а её – нет. Год прошёл вяло: гимназия, хождение по городу, приготовление уроков и высчитывание, когда поеду домой в Мологу.



Со мной сидел на парте тихий симпатичный мальчик. Впереди глупый, крикливый, задирчивый второгодник. Он не давал нам покоя. Было всегда пять уроков, после которых, пообедав у квартирной хозяйки, я убегал на берег Волги к пристаням, где причаливали пароходы. Рыбинск был большим центром пароходного движения.

Там кончался нижний плёс – Тверь–Рыбинск и начинался средний плёс – Рыбинск–Нижний Новгород. Стояли там пять больших пристаней разных пароходных обществ, от которых то в одну, то в другую сторону отходили пароходы. Кроме пассажирских сновали по реке буксирные пароходы, обслуживающие вереницы большущих барж, стоящих на якорях километра на два по Волге. Была даже импозантная пристань полицейско-пожарной службы с тремя пароходами. Сильный, с высунутым вперёд железным носом пароход «Охрана» таранил загоравшиеся баржи и этим сразу же прекращал опасный пожар на воде. Познакомился с этим всем подробно я, конечно, постепенно. В первые дни меня интересовала лишь пристань Коммерческого пароходства, суда которого ходили из Рыбинска в Мологу и далее по реке Мологе.

*Рыбинск*
Фото С. Прокудина-Горского

Там я встречал своих сверстников мологжан, живших и учившихся в Рыбинске. Вот-вот отойдёт пароход на Мологу. Третий гудок. Видим бегущих мологжан – и веселей становится на душе, что-то родное, близкое связывало нас с пароходом, с уезжающими мологжанами. Особенно хорошо чувствовали мы себя в пятницу: завтра, в субботу, бегом из гимназии на квартиру, наспех пообедав, побежим на пристань, чтоб, Боже упаси, не опоздать. На набережной Волги, наблюдая её кипучую жизнь, мы слонялись часа два, а потом возвращались на свои квартиры. Так провели мы первые три, а может быть и четыре года жизни в Рыбинске, пока не появились какие-то другие интересы, связанные с рыбинской жизнью.

Мы знали почти все пароходы, снующие по глади Волги через Рыбинск, по именам, по тону гудка, знали качества, быстроходность, знали их капитанов. Когда на реке появлялся первый лёдок, мы приходили в уныние. Пароходное движение на Волге замирало в середине октября. Большинство моих сверстников

мологжан смирялись с мыслью, что увидят Мологу лишь на Рождество. Я же был именинником шестого декабря, а это был «царский» день (тезоименитство императора), учения не было. Рано утром пятого декабря я уж слышу ржание Ваньки, приехавшего за мной, чтобы я провёл именины среди своих. Вот и кучер входит в мою комнату, замёрзший, с обледенелой бородой. Он привёз мне шубу, плед и коротенькое письмо от мамы с наказами как одеться, что привезти из Рыбинска. Уславливаюсь с кучером, что он накормит на постоялом дворе Ваньку и в полтретьего будет ждать меня у моей квартиры.

Со мной поедет и Митя Романов, сын папиного приятеля, крупного лесоторговца. Митя моих лет, учится в параллельном со мной классе, но мы не находим ничего общего, что бы могло нас сблизить. Он очень замкнутый, серьёзный, молчаливый.

Закутавшись в шубу, надетую поверх гимназического пальто, указываю кучеру, где живёт Митя, и вскоре отдохнувший Ванька везёт наши сани обратно в Мологу. За один день Ванька пробежит шестьдесят километров — это более чем достаточно. У нас ещё другие лошади, но для зимней дороги Ванька незаменим.



Можно, конечно, запрячь пару лошадей слабее, чем Ванька, но зимние дороги узкие, неудобные для пары. Мы должны будем возвращаться в Рыбинск уже завтра после обеда, а Ваньке было бы тяжело бежать опять шестьдесят километров.

И вот с Иваном Григорьевичем Романовым уговариваются, что на все Николины дни одну дорогу сделаем на Ваньке, а обратную на таком же выносливом коне, как Ванька, принадлежащем отцу Мити. Едем сначала открытой местностью, дорога завалена снегом. Ухабы один за другим. На полдороге останавливаемся. Кучер жалуется, что Ванька устал, и нам не мешает разогреться. Въезжаем в село. Останавливаемся в трактире с надписью «Заезжай». Полстаканчика водки получает кучер, мы с Митей пьём чай, а Ванька перед тем как опять двинуться в путь с жадностью выпивает ведро морозной воды.

Теперь дорога идёт высоким еловым лесом, дорога хорошая, без ухабов. Ванька бежит бодро. Выезжаем из леса, переезжаем замёрзшую Волгу и въезжаем в Мологу. Высаживаем Митю у его дома, и с весёлым ржанием Ванька нас мчит в наш двор. На крыльце я попадаю в объятия мамы, Оли и папы. Вкусный, такой знакомый ужин, расспросы, рассказы, и я в своей ком-

нате, в своей постельке. А завтра, уставший от ухабов, тяжёлой шубы, я опять уже сплю в Рыбинске.

Зимой в Рыбинске я катаюсь на коньках, брожу по улицам с моими мологскими приятелями, интересуют нас магазины, ведь в Мологе их раз-два и обчёлся. В Рыбинске два кинематографа, в Мологе ещё ни одного, и они были для нас, мологжан, новинкой. В воскресенье гурьбой ходим туда.

А только начнёт пригревать солнышко, таять снег, мы – в небольшой рыбинской гавани, где ремонтируются и красятся пароходы. Находим наши пароходы и, наблюдая за работой на них, волнуемся, как бы они не опоздали к открытию навигации.

Вот Волга вскрылась. Серединой реки лёд идёт сплошной массой, образуя местами заторы. Всё свободное время мы опять на Волге. Чего только не несёт она: сарайчики, собачью будку с привязанной к ней собачонкой, которая уж выбилась из сил, воем зовя о помощи. Бывали случаи, когда находились смельчаки: скача с льдины на льдину, они добирались до собачки и приносили её на руках на берег. У берегов, кружась на одном месте, плавают льдины, то приближаясь, то отплывая от берега, стараясь выбраться на речной простор. Мы, мальчишки (дозор за нами был слабый или, лучше сказать, никакой), конечно, тут – вся наша мологская компания. Манит нас вскочить с берега на льдинку, с неё на другую, показать свою удаль. Я не отстаю от других. Прыгаю на льдину, с неё на другую, с неё опять на следующую. Вдруг слышу крик:

– Коля, берегись! Твою льдину относит от берега!

Оборачиваюсь и вижу, что это так. Она оторвалась от соседних. Смотрю, к которой льдине она ближе, и мчусь к этому месту. Расстояние между льдинами большое, но другого выхода нет, и, разбежавшись, я прыгаю. Допрыгнул, но на самый край, который ломается, и я бухаюсь в воду. Здесь уж глубоко, не достаю до дна, но, работая руками и ногами, выныриваю на поверхность. В два взмаха достигаю льдины, хватаюсь за неё руками, вот-вот, кажется, вылезу на неё. Но ведь на мне зимнее гимназическое пальто, сразу же от воды отяжелевшее. Напрягаю все силы – и не могу подняться на льдину, течение тянет ноги под неё.

Выбиваюсь из сил. Погиб, сейчас утону, начинаю понимать я. В это время слышу с берега опять крик: «Бей ногами, бей изо всех сил!» Я понимаю, и начинаю с ожесточением действовать

ногами. Ноги понемногу всплывают на поверхность; ещё раз делаю попытку подняться на льдину. Теперь мне это удаётся. Сперва подбородком, потом грудью, затем и животом я лежу на льдине. Я вскакиваю, как загнанный зверь, оглядываюсь во все стороны, ищу ближашую к берегу льдину, нахожу и мчусь к ней. Ещё два, но уже удачных скачка, ещё раз падаю в воду, но на этот раз вода мне уж только по пояс, бреду по воде – и я на берегу. Мокрый с ног до головы, моя гимназическая фуражка плывёт где-то. Что мне до неё! Скорей домой, или замёрзну.

К счастью, до дома не целый километр, бегу. За мной вся наша ватага. Наверно, все шарахаются от меня. Мне не до того. Подбегаю к дому, где живу, влетаю на второй этаж в нашу комнату. Через минуту у меня – Мария Александровна. Никаких расспросов, толкает меня на кровать, вмиг всё мокрое с меня стаскивает, и я лежу уж в постели голый. Мария Александровна протягивает мне полстакана водки и приказывает сейчас же всё выпить. Беспрекословно выпиваю, скрываюсь с головой под одеялом, поверх которого на меня накидывают другие одеяла, водка на меня быстро действует, и я засыпаю. Утром просыпаюсь как ни в чём

не бывало и иду в гимназию. К счастью, гимназическое начальство не узнаёт о моём приключении, и родители узнают о том много поздней. Мария Александровна умеет держать язык за зубами. Я был тогда в четвёртом классе гимназии, а кто такая Мария Александровна скажу чуть позже. Добавлю только, чтобы не позабыть, что кричал с берега мне Володя Блатов.

Рождество провожу в Мологе в своей семье. На этот раз папа приезжает за мной на тройке лошадей. Ванька коренником, пристяжные – Огурчик и Малко.

На Пасху приехал уж опять на пароходе и с Колей Мочульским, которого папа позвал на праздники к нам, – родных и близких у него не было. Видно, познакомившись с Колей, папа и мама решили, что он не подходящий компаньон для такого ещё ребёнка, каким был тогда я. Бог с ними, уроками музыки. Решили, что на будущий год необходимо найти мне другую квартиру. Пять мологжан, моих лет или немного старше, жили на одной квартире у вдовы Марии Александровны Гордеевой. Между ними был и Володя Блатов, а Блатовы играли большую роль в нашей жизни в Мологе.

Блатовых было два брата. Оба способные, с природной смекалкой , прекрасные музыканты-скрипачи и певцы (бас и баритон).

Один был городской голова, другой председатель земской управы. Младший, Дмитрий Иванович, закончил медицинский факультет в Петрограде, женился там на музыкантше, принадлежавшей к высшему петроградскому обществу.

В окрестностях Мологи были главным образом леса, принадлежавшие старинным русским семьям, простиравшиеся на все стороны на десятки километров. На каникулы – летние, рождественские – их владельцы приезжали в свои усадьбы. Между ними были и любители музыки, пения, балета. Будучи с ними знакомыми по Петрограду, Дмитрий Иванович и его брат пользовались их пребыванием вблизи Мологи и организовывали концерты, ставили отдельные действия из опер и балетные сцены (мологжанам совсем неизвестные). Как видите, культурная жизнь Мологи была связана с Блатовыми, а занимаемые братьями должности ставили их на первые места в городке.

Старший Блатов, Алексей Иванович, был тем, кто уговаривал папу построить свой завод в Мологе. Жена его была моя крёстная мать, и по обычаю того времени её пять детей считались нашими крёстными братьями и сёстрами.



Старший из них, Володя Блатов, сыграл заметную роль в установлении моего мировоззрения, моего характера, а потому скажу несколько слов о нём. Способный, трудолюбивый, со стойкими нравственными убеждениями, добрый, хороший товарищ, с немного преувеличенным честолюбием, он всегда занимал надлежащее место между ровесниками. Наши с Олей детские годы прошли вместе с блатовскими детьми. Их нянька была сестрой нашей няни, и уж потому мы всегда были вместе. Правда, когда умерла их мама, моя крёстная мать, они переехали в другой дом далеко от нашего, тесная связь была нарушена, но потом все семейные праздники мы проводили вместе. Вот почему, когда папа решил меня взять от госпожи Ошаниной (моей первой квартирной хозяйки), то решил меня поселить вместе с Володей Блатовым (старше меня на два года), который жил у Марии Александровны Гордеевой вместе с ещё шестью мальчиками, почти всеми из Мологи.

Мария Александровна три раза выходила замуж и три раза овдовела. Детей у неё не было. От последнего мужа она получила по наследству большой дом, стоявший очень близко от гимназии. Не хотелось ей, видно, расставаться с домом, менять образ

жизни, а одной ей было бы жить тоскливо, так постепенно она и завела своих «птенцов», мальчиков-квартирантов. Кухарка, горничная и кучер составляли её прислугу. Держать лошадь и кучера ей казалось необходимым, чтобы раз в две недели поехать в деревню, где имелся домик, а главное, чтобы соблюсти этикет и не ходить пешком по знакомым.

Простая, малообразованная, едва выводящая своё имя на свидетельствах, которые требовала от неё гимназия (например: «Н.А. не мог сегодня быть в гимназии по случаю головной боли»), с природным умом, большим жизненным опытом, не скупая, не сплетница, она смотрела на нас как на подрастающих детей, которым свойственны грешки, соответствующие возрасту. Выходила из себя и ругала нас, лишь когда поступком, из ряда вон выходящим, выводили её из терпения. Раз, например, играя в комнате в футбол, мячом сбили горящую керосиновую лампу, от которой загорелась занавеска. Того и гляди, огонь мог перейти на всю комнату. Вбежавшая Мария Александровна нас не тронула пальцем, но наобещала нам много — до вызова родителей и т. д. Иначе: недовольная нашими поступками, она воздействовала на нас через старших своих «птенцов», прося их нас угомонить, пристыдить. К старшим принадлежал, конечно, Володя и ещё Миша Буторин. К последнему обращалась лишь по просьбе Володи, когда одного его авторитета не хватало.



Все пять лет моей жизни у Марии Александровны мы (я, Володя и Костя Шаховцов) жили втроём в большой комнате с пятью окнами, так называемой зале. В купеческих домах никогда не обходилось без залы, где несколько раз в году принималось сразу много гостей, где можно было потанцевать, накрыть несколько столов для угощения. Так места у нас было сколько угодно, и наша комната служила сборным пунктом не только для всех живущих в доме учеников, но и для их приятелей. Мы, помоложе, устраивали в комнате разные состязания, а то просто карточные игры, иногда и на деньги, что Володя, если видел, сейчас же прекращал. Старшие собирались репетировать на струнных инструментах свои будущие выступления. Позднее, когда я был в шестом классе, собирались восьмиклассники (через год их ожидал университет) для совместного чтения передовой, часто нелегальной, литературы по политической экономии или философии.

Пообедав, мы шли все на прогулку, а потом, примерно от четырёх до шести, наша комната становилась форумом. Безобразничали мы много, большинство училось так – абы перейти в следующий класс, не попав во второгодники. Читали неравномерно, то забрасывая книги, то запоем до поздней ночи. Свободы было много, дисциплина едва удерживалась в границах дозволенного.

Раза два в месяц, и всегда неожиданно, приходил из гимназии или надзиратель, или кто-нибудь из учителей, а иногда и сам инспектор Адам Осипович. Приходящие всегда были корректны и, постучавшись в дверь, не входили сразу, давая нам возможность попрятать карты, неподходящие книги, схватить учебники или балалайки, мандолины, гитары и начать их настраивать. Были и такие, которые чтобы, показать, что их не так легко провести, усевшись к столу, небрежно перебирая и открывая книги, находили в них неподходящие вещи, удивлялись – как они туда попали? – и приводили нас в смущение. Шуму не делали, но где нужно докладывали.

Когда я уже был в шестом классе, наступило время самостоятельного мышления, исканий, я стал больше прислушиваться к разговорам восьмиклассников, собиравшихся у Володи, что-то оставалось у меня из просачивающихся из-за границы книг: Чернышевского, Добролюбова, Герцена. Помню огромную, как Библия, книгу «Капитал» Маркса и некоторые основные мысли, которые старались освоить Володя и его товарищи.

Но нашу рыбинскую гимназию того времени нельзя представить без Адама Осиповича Семашко, нашего инспектора.

Адам стучится в двери рая!
Апостол Пётр ему в ответ:
Куда, куда! Такая харя!
У нас для толстых места нет.

Это мы поём всегда негромко, чтобы не было слышно в коридоре, когда Адам Осипович, инспектор, он же учитель латинского языка, входит на урок к нам. Он большого роста и неимоверно толстый. Голова большущая, волосы короткие, седые. Лицо вечно улыбающееся, он и спит, наверное, с ласковой улыбкой. Большие губы вытянуты вперёд, глаза добрые-предобрые.

Сюртук висит на нём мешком.

— Тише! Тише, озорники! Услышат — нехорошо будет, — это его постоянная реплика на наше приветствие, которое его совсем не оскорбляет, наоборот — сближает с нами.

Он любит всех гимназистов — от малых до старших. Он холост. Хозяйство ведёт его сестра, такая же толстая, как он. Всех нас он считает своими детьми; он не распускает нас, не позволяет своевольничать, держа нас своей отцовской любовью и сердечностью. Свой такой неинтересный предмет — латинский язык — он сумел преподать нам так, что этот мёртвый язык если и не заинтересовал большинство из нас, то и не оставил впечатления чего-то ненужного, отравляющего учебные годы.

Полная противоположность ему — директор гимназии. Ни имя, ни отчество я не помню. Звали мы его «Барбосом». Напыщенный, со злым недоверчивым взглядом, появляясь между нами, он заставлял нас притихнуть, но только он выходил, шум усиливался так, чтобы за дверями он его слышал и понимал, что мы его ни во что не ставим. Кончил он (через год после моего ухода из Рыбинской гимназии) в сумасшедшем доме. Адам Осипович стал директором.


Девять месяцев в году я жил в Рыбинске и только три месяца (считая рождественские и пасхальные праздники) в Мологе, дома в семье. Конечно, это сделало меня более самостоятельным, но отчуждало от семьи, семейного уюта, углубляло сыновью любовь к родителям и сестре. Это сказалось впоследствии. Оля всегда чувствовала себя неотделимой от семьи, мне этого чувства не хватало.

Конечно, с годами жизнь моя в Мологе во время каникул изменилась, наш двор уже не ограничивал моих интересов.

В последние годы нашей жизни в Мологе я очень подружился с Алёшей Хомутовым. Он учился в Ярославском кадетском корпусе и был мой ровесник. Мы целые дни проводили вместе. Часто я обедал у Хомутовых, ещё чаще Алёша у нас. Мне нравился его отец, в молодые годы — корнет гусарского полка, и его мама — прекрасная пианистка, вставлявшая при разговоре французские слова. Детей у Хомутова было пятеро: три мальчика и две девочки, но тесная дружба была лишь у меня с Алёшей.

Алёша, как и Володя Блатов, влиял на формирование моего характера, но иным способом. Володя был старше и этим уже импонировал, Алёша был для меня образцом мужества. Он был самолюбив, строг к себе, не позволял себе бездельничать, унывать,

старался во всём достичь успеха. Заставлял этого добиваться и меня.

Например: мы оба любили ездить верхом. В Мологе стояла конная сотня казаков, у которых можно было за небольшое вознаграждение брать на часок их коней. Алёшин отец и мой поощряли наше желание усовершенствоваться в езде на конях. По дороге в казармы за конями Алёша предупреждал меня:

– Коля! Какого коня каждый из нас получит, на том и будет ездить. Никаких выговорок, что твой конь не такой послушный как мой.

Садимся на своих коней и выезжаем в поле. И вдруг я чувствую, что мне попалась лошадь с норовом или просто понявшая, что ею управляет неопытный наездник. Она сразу же не хочет мне подчиняться, не слушается повода, старается повернуть обратно в казармы, начинает брыкаться, того и гляди сбросит меня и убежит.

У меня не хватает опыта, а главное – смелости подтянуть повод, ударить её хоть слегка нагайкой, дать ей почувствовать мою волю. И я, несмотря на уговор, начинаю просить Алёшу поменяться конями. Он не насмехается надо мной, не напоминает об уговоре, а начинает мне давать дельные советы, как заставить 
коня подчиниться. Я слушаю, делаю робкие попытки, кончается тем, что Алёша, не укоряя меня в трусости и видя, что не справляюсь с конём, спокойно, не выставляя своего превосходства надо мной, садится на моего коня, а я на его. Непослушный конь быстро подчиняется Алёшиной воле. К концу лета я хотя и не сравниваюсь с Алёшей в умении владеть конём, но делаю успехи, которые радуют меня и его.

Я хороший пловец, но долго не решался броситься в воду вниз головой. Купались мы много, два раза в день, а то и три. До Волги было не так далеко. Плавать я научился лет семи, а вот когда мне было лет тринадцать, Алёша личным примером поборол во мне боязнь броситься в воду вниз головой. Я ещё расскажу в своих воспоминаниях про Алёшу. Теперь лишь повторю, что многим ему обязан.

Я был в шестом классе гимназии, когда, кажется, после Рождества, возвращаясь из Москвы в Мологу, папа остановился у меня в Рыбинске и сообщил, что «Товарищество В.К. Феррейн» строит на периферии Москвы большую химико-фармацевтическую фабрику, что завод в Мологе будет ликвидирован, машины

перевезены в Москву, постройки и земля, на которой стоит завод, проданы. Папа был взволнован. Его можно было понять.

Ведь с заводом в Мологе связаны были семнадцать лет его молодости с её надеждами и разочарованиями, успехами и неуспехами. Самолюбие его находило успокоение лишь в том, что на новой большой московской фабрике он займёт должность административного и коммерческого директора. Но ему приходилось расстаться со своим детищем, и в то же время он чувствовал, что в Москве он не будет так самостоятелен, как в Мологе. Переживания его мне стали понятней и ближе, когда в 1950 г. я должен был передать государству свою техническую канцелярию, созданную мной за двадцать лет, или в 1952 г, когда я должен был оставить город, в котором прожил и проработал двадцать три года.

Я был тогда тоже взволнован папиным сообщением. Прощай Молога, Рыбинск, прощайте мои товарищи и друзья. На пасхальных каникулах, в семейном кругу, мы живо обсуждали ожидающие нас перемены. Мама была в восторге от предстоящего возвращения её в Москву, на её родину. Семнадцать лет, прожитых ею



в Мологе, не были для неё радостными. Мологская провинциальная жизнь не была ей по душе, а тяжёлое нервное недомогание, последовавшее после моего рождения, не давало ей возможности освоить новые незнакомые ей условия жизни.

Мама сияла:

– Едем домой в Москву, встретим своих подруг, мою незабываемую подругу Наташу, других...

Оля как раз в этом году кончала гимназию. Давно решила продолжать учение на историко-филологическом факультете в Москве, и переезд в Москву её устраивал. Мне же хотелось, чтобы переезд в Москву совершился через два года, когда с аттестатом зрелости в кармане не только я, но и все товарищи оставят места, связанные с детством и отрочеством, и разъедутся по великой Российской Империи. Жители Мологи были огорчены и озабочены ликвидацией «авенариусовского завода». Завод уж давно не был авенариусовским, а принадлежал «Товариществу В.К. Феррейн», но назывался по-старому. Распорядок дня в Мологе делался по утреннему, обеденному, послеобеденному и вечернему гудку папиного завода. Говорилось: «Авенарий гудел – пора работу кончать». С ликвидацией завода теряло службу несколько десятков рабочих

и служащих. Это чувствовали магазины, владетели домиков. Некоторые служащие и квалифицированные рабочие решили последовать за заводом в Москву.

Когда я приехал на последние летние каникулы в Мологу, завод доживал последние дни.

– Сегодня попрощаемся с Мологой длинным последним гудком, – сказал папа, уезжая на завод.

Пошёл и я на завод.

В ещё не разобранной котельне папа сам дал продолжительный заунывный гудок. На глазах у него были слёзы. Прощался он если не с очень удачным, но очень деятельным, независимым периодом своей жизни. В Москве я уже никогда не видел его таким молодым и энергичным.

Мы пробыли в Мологе ещё месяц. То, что решили перевезти в Москву, нагрузили на три большие барки. Буксир должен их протянуть сперва по Волге до Нижнего Новгорода, потом по Оке, а потом по Москве-реке. Этот старинный водный путь был доступен лишь мелко сидящим судам.

Новая московская фабрика стояла на берегу реки Москвы против Донского монастыря, к реке была сделана железничка (железная дорога), по которой весь привезённый груз легко перевозился к выше лежащим фабричным зданиям. 

С первых дней этих последних каникул в Мологе я почувствовал, что отношения мои с мологскими друзьями изменились. Они продолжали жить своими интересами налаженной жизни, и мне уже не было [места] в их планах, а мои планы на будущее их не так интересовали. Нити прежней тесной дружбы оборвались.

Перед отъездом папа давал прощальный обед городу. Потом город дал обед в честь уезжающего папы. Преподнесли ему адрес, в котором подчеркнули заслуги папы в оживлении роста города, принесли ему благодарность за его плодотворную работу в городских и земских организациях. К адресу был приложен прекрасный альбом фотографий города и окрестностей. На прощальном обеде были с отцами и Алёша Хомутов и Володя Блатов. Тяжело мне было с ними расставаться. Прямо с обеда мы отправились на пароход и покинули Мологу. Кончился мологский период моей жизни, начинался новый – московский.

## Жизнь в Москве.
## Август 1913 – октябрь 1917

Вот мы и в Москве. Фабрика ещё не была достроена, и мы сняли квартиру в Замоскворечье, чтобы папе было ближе к фабрике. Ближайшая к нашей квартире гимназия была московская десятая казённая гимназия, куда я и был принят в седьмой класс. Москва не произвела на меня большого впечатления. Года три перед тем мы провели несколько дней в тогдашнем Петербурге,  где у папы было много родственников, в том числе брат и сестра. Невский проспект, Исаакиевский собор, дворцы, Эрмитаж, изящная публика на улицах, блестящие гвардейские офицеры, тонные моряки остались в нашей памяти, не изглаживались. Ничего подобного в Москве я не увидел. Подробно с Москвой познакомиться я не успел к началу занятий.

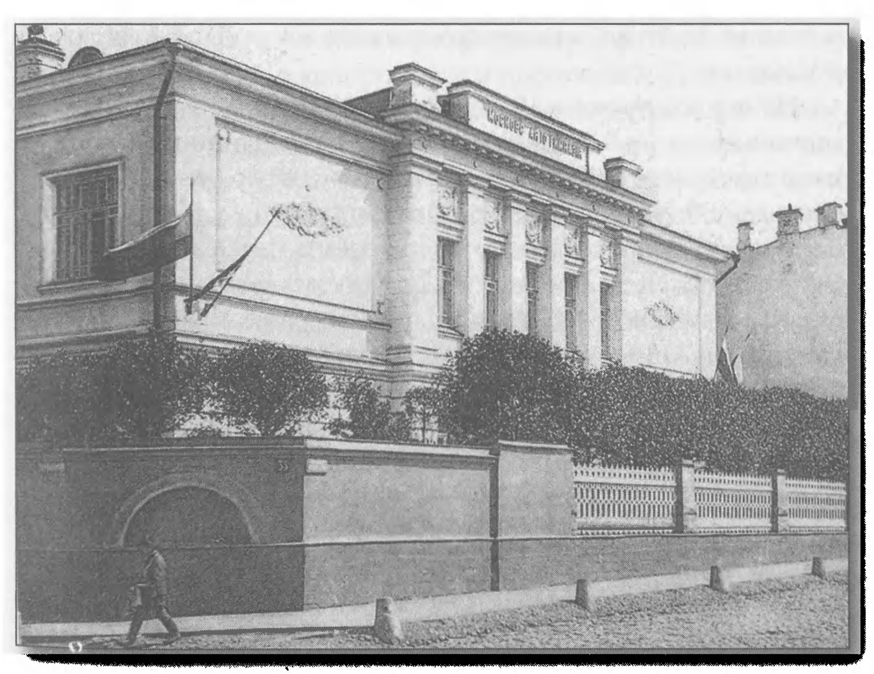
Московская 10-я гимназия не могла сравниться с Рыбинской. Там был прекрасный актовый зал, модерная гимнастическая зала, обширная светлая церковь с хором из гимназистов. В здешней десятой ничего подобного не было. Не было и сада кругом – лишь небольшой дворик, где во время перемен толкались мы. Была это очень бедная гимназия, построенная, видно, наспех, чтобы удовлетворить текущие требования жизни. Постройка рыбинской гимназии не обошлась без щедрой помощи богатых купцов города – судовладельцев, оптовых торговцев хлебом, лесом. Мои новые товарищи по классу тоже резко отличались от рыбинских. Там была сплочённая компания, весёлая, живая, я бы сказал, бедовая. Здесь гимназисты были с разных концов раскинутой вдаль и вширь матушки-Москвы. Общих связывающих интересов было мало. Исключением была группа футболистов.

В Рыбинске было другое дело. Вот приближается годовой, традиционный гимназический бал. За месяц перед тем репетируются программы. Прекрасный хор под управлением учителя пения разучивает новые вещи. Не отстаёт от него и большой струнный оркестр и т. д. Неделю перед балом гимнастический зал завален хвойными деревцами, из которых вяжутся гирлянды. Умелые руки мастерят аэропланы, дирижабли, разные фонарики. Вся гимназия принимает участие в приготовлениях к балу.

На бал приглашались старшие классы женской гимназии: посылалось приглашение и в мологскую женскую гимназию, откуда приезжали несколько гимназисток во главе с моей сестрой Олей. Мы отдавали в их распоряжение нашу большую комнату, а милая Мария Александровна их сердечно принимала.

Здесь ничего подобного не было и не могло быть – актового зала не было. Свидетельством отсутствия сплочённости было и то, что при окончании гимназии не была заказана общая фотография. Я описываю лишь десятую гимназию и мой выпуск. Позднее знакомство с гимназистами из первой московской гимназии убедило меня, что в других московских гимназиях атмосфера





*10-я Московская мужская гимназия.*
*Якиманка, 33.*

была другая. Первые дни в новой гимназии я опасался, что мои знания провинциального гимназиста будут недостаточны в столичной. Опасения были напрасны. Отставал я лишь во французском языке.

В Рыбинске ему нас учила сначала стареющая учительница, дослуживавшая последние годы до пенсии. Мы пользовались её снисходительностью. В шестом классе на первый урок французского языка директор привёл нам новую учительницу. Представил и сразу же ушёл. Перед нами осталась стройненькая, миленькая и красивая девушка. Среди нас уж были молодцы с пробивающимися усиками. Француженка робко поднялась на кафедру и только начала урок, как вскочил Саша Морозов – красивый, изящный юноша и большой нахал.

– Простите, мадмуазель! Через две недели у нас будет гимназический бал. Разрешите мне вас попросить, чтобы оставили за мной первый вальсик.

Мы и то обомлели, и она растерялась; она бедняжка вспыхнула, покраснела, но всё ж нашлась и сказала:

– Хорошо, благодарю, – и начала урок.



С этой минуты у нас с ней сложились чисто товарищеские отношения. Учиться французскому языку мы продолжали спустя рукава.

На первом уроке в Москве француз покачал над моими познаниями головой, а на втором вкатил мне единицу. Пришлось маме, прекрасно владеющей языком, заняться со мной. В Москве наше семейство увеличилось. Поселились у нас две дочки дяди Коли, врача в городе Сороки в Бессарабии. В 1906 году дядя Коля был уволен с железной дороги, где служил врачом, за проявление в неспокойном 1905 году левых убеждений. Найти службу попавшему на «индекс» опальному врачу было трудно. Случилось это неожиданно, средств у дяди Коли не оказалось, и он с тремя детьми переехал к нам в Мологу. Прожили они у нас с полгода и уехали в Бессарабию, в Сороки, где дядя получил место. О дяде Коле, о его семействе, о Сороках я буду впоследствии много писать. Теперь только коротко опишу своих кузин.

Старшая Тавочка. Крёстное имя её Наталия, но с детства к ней привилось прозвище Тавочка. Так я её и теперь называю в письмах в Канаду, хотя ей уже 86 лет. Тавочка окончила в Сороках гимназию и поступила на высшие агрономические курсы

*Дочери Николая Николаевича (Тавочка-Наталия и Аничка) и Коля.*

в Москве. Младшая Аничка окончила семь классов гимназии и приехала в Москву на специальные годичные курсы для сдачи определённых экзаменов, необходимых для поступления на медицинский факультет. Главным предметом был на курсах латинский язык, в женских гимназиях не изучаемый.

Мы с Тавочкой и Аней были старые знакомые. У нас была одна свободная комната, в которой они и поселились. Дом ожил. По субботам приходили знакомые студенты – мологжане, рыбинцы, сорокчане, а в большинстве первокурсники московских высших учебных заведений. После доброго ужина (студенты всегда были голодные) часов до двенадцати и поздней мы весело проводили время. Смех, разговорчики на разные темы, споры, пение, игры в фанты – незабываемые вечера. Я ещё был младшим гимназистом, но это как-то не замечалось. Не обошлось, конечно, без юношеских увлечений. Предметом моего увлечения стала кузина Тавочка. Папа мой тоже в своё время увлекался своей старшей кузиной, которую мы позже так любили, – тётей Милей. Сколько с этим моим первым увлечением было связано переживаний, радостей и огорчений, надежд и разочарований.

Оля нравилась одному рыбинцу, с которым познакомилась на описанном мною балу в Рыбинске. Аничка была исключением. Весёлая хохотушка, она лишь только замечала, что кто-то начинает к ей проявлять большее внимание, краснела и начинала избегать смельчака.

В то время вся студенческая молодёжь делилась по землячествам. Не обошлось, конечно, и без рыбинского землячества. Каждое землячество устраивало вечеринки, обыкновенно в одной из студенческих столовок. В этих столовках да в фойе высших учебных заведений всегда были вывешены объявления о готовящихся вечеринках. Как я был горд, когда и меня, в то время ещё гимназиста, пригласили на рыбинскую вечеринку. Конечно, я не надел форменную гимназическую тужурку, нет. Надел простую тёмную косоворотку. Я сиял от восторга, когда ко мне обращались студенты, называя «товарищ». В те времена это было почти исключительно студенческим обращением, лишь студенты-лицеисты и правоведы цедили сквозь зубы: «коллега».

Мама ожила в Москве. Ходила по городу, навещала старых знакомых и просто знакомые места. У папы всегда был хороший характер. Он быстро примирялся с новой обстановкой. В Мологе по вечерам уходил из дома то на разные заседания, то в клуб. Теперь он оставался дома, много читал, начал интересоваться политикой. Чувствовал, что в Мологе отстал от текущих интересов, и догонял. За вечерним чаем вместо пива выпивал два-три стакана крепкого чаю, был самый разговорчивый, подшучивал над племянницами.



В гимназии соседом по парте был у меня Саша Торопов. Неплохой юноша, но очень поверхностный – большое трепло. Случайно я познакомился с его братом Николаем, учившимся в шестом классе. С первых же дней знакомства мы стали неразлучными товарищами. Сближали нас общие интересы: физика, особенно электричество, всё, что было связано с механизацией труда (обработка дерева, металлов, камня, новинки машиностроения). Ещё в Мологе я любил торчать в машинном отделении завода, или слесарной мастерской, или столярной. А здесь у Коли в комнате, где он жил с двумя братьями, была целая мастерская, включая маленький токарный станок, который Коля всё время усовершенствовал. У него были золотые руки, всё спорилось в них. Характер у него был спокойный, выдержанный, миролюбивый, мягкий, но настойчивый. Я быстро освоил все технические знания, которых у него было больше, передал ему свои. Я превосходил его в фантазии, предприимчивости, в освоении научных теорий, но ловкости его рук никогда не мог достичь. Кроме того, у меня в характере нет выдержки. Я спешу

и потому часто промахиваюсь, он делал всё, как мне казалось, медленно, но точно. Мы быстро привязались один к другому. Проводили вместе свободные минутки в гимназии, и почти каждый день или он был у меня, или я у него. Жили мы один от другого очень недалеко. Итак, со дня моего знакомства с Колей Тороповым я уже не чувствовал себя в Москве одиноким. Он заменил мне моих мологских друзей.

Дружба наша продолжалась до самого моего отъезда из Москвы в ноябре 1918 года. Он был в числе провожавших меня, к нему первому я направился в 1965 году, когда на несколько дней попал опять в Москву. Он умер лет за десять до этого. В память нашей дружбы с Колей я до сих пор приглашаю его племянника с семейством из Москвы в Братиславу, чтобы купить у нас то, что у них нельзя.

В Москве жил и папин брат, дядя Володя. Об этом прекраснейшем человеке я ещё несколько раз буду вспоминать. К тому времени ему уже шло к сорока, служил он на государственной службе, всё свободное время посвящал охоте, женился на вдове своего двоюродного брата Александра Владимировича Феррейна. Дядя Володя с женитьбой приобрёл одного пасынка и четырёх падчериц, да и своей дочкой Аничкой обзавёлся. Жила у них постоянно тётя Аня, папина сестра, которая заботилась об Аничке. Итак, их было десять человек, да нужно было иметь резерв для случайно приехавшего гостя. Поэтому квартира в одиннадцать комнат на Новой Басманной была им как раз.



По приезде в Москву, пока было ещё тепло, мы почти каждое воскресенье ездили в Бутово – так называлась резиденция старика Феррейна Владимира Карловича, незадолго перед тем похоронившего свою жену, папину тётю Софию Петровну, урождённую Авенариус. Это было именьице гектаров в двадцать, лежавшее по Серпуховскому шоссе в двадцати километрах от Даниловской заставы и близко от железнодорожной станции Бутово. Красивая это была летняя резиденция, со вкусом, на широкую ногу обустроенная. Среди векового хвойного леса на лужайке стояли три дома – все деревянные из ободранных грубых брёвен.

Самый презентабельный был дом стариков. Двухэтажный, с большими окнами, с двухсветной огромной залой посредине, в которой легко могли пообедать шестьдесят человек. По бокам – комнаты для хозяев и гостей. Другой, тоже большой и двухэтажный,

был построен для умершего сына и его большой семьи. Комнат там было, пожалуй, десять, большая столовая, гостиная с роялем (тётя Лина была хорошим музыкантом), две веранды, одна закрытая, другая – лишь наполовину. В этом другом доме уже не было того шика, как в первом. Всё было приспособлено к семейной жизни. Эти два дома подходили почти к еловому лесу, спускавшемуся к речке. К речке шла широкая аллея, окаймлённая высоченными ёлками. По этой аллее зимой мы катались на санках, а кто смелей – на лыжах. Среди смелых всегда была тётя Лина, хорошая лыжница, человек страшно жизнерадостный. Такой я её знал ещё года два с половиной, потом она умерла после долгих мучений и двух операций, которые провели два наилучших московских хирурга на квартире на Новой Басманной в специально для этого [устроенной] хирургической зале. Рак желудка.

Но вернусь к описанию Бутова. Речка была запружена, на образовавшемся озерке стояла купальня и причал с лодочками. За описанными двумя домами в лесу были разбросаны ещё три одноэтажных домика с мезонинами, всегда кем-то из родственников занятые. Была там большая площадка для тенниса и меньшая для крокета. Дальше конюшни, погребы, домики для служащих и рабочих, а ещё дальше поле, где росли целебные травы. В конюшне стоял и наш Ванька. Папа в первый приезд в Бутово пошёл к нему. Ванька уж не узнал папу, которого семь лет ежедневно возил на завод, а тот баловал его кусочком сахара.



Ещё несколько слов о Владимире Карловиче Феррейне. На следующий год, как мы приехали в Москву, он праздновал семидесятилетие. Одновременно праздновалось и двухсотлетие старой Никольской аптеки, основанной прародителем юбиляра, переселившимся при Петре Первом не то из Швейцарии, не то из какого-то немецкого герцогства, соседнего с Швейцарией. Это был красивый высокий старик с большой бородой, всегда элегантно одетый, зимой в тёмном сюртуке, летом в чесучовом. Он до преклонных лет до поздней осени купался, потом ехал на прогулку верхом на прекрасном белом коне. Говорил он одинаково хорошо по-русски, по-немецки и по-французски. Когда у него обедали гости, он надевал фрак, за стулом стоял камердинер. Был он хорошим пианистом, был завсегдатаем на концертах. На его предприятиях – нескольких аптеках, аптекарских магазинах, химиче-

ских лабораториях с численностью около тысячи служащих – не было ни одного еврея, хотя вообще фармацевтическое дело в России было в руках евреев. Умер он вовремя – в 1917 году в Крыму, в небольшой усадьбе в Судаке.

На следующий год летом мы сняли дачу тоже в Бутове недалеко от имения Феррейнов, но ближе к железной дороге. По вечерам к нам часто приходил пешком дядя Володя. Он как охотник не мог обойтись без продолжительной прогулки. Я же ездил на велосипеде к кузену и кузинам. Играли в теннис, купались, ходили по грибы. Середина лета была тревожная. В Сараеве был убит наследник австрийского трона Фердинанд. Папа с дядей Володей, заваленные газетами, горячо обсуждали надвигающиеся события. Австрия решила поставить Сербию на колени. Стерпит ли это Россия, видевшая всегда в балканских славянах своих братьев? Этот вопрос за день или за два до начала Первой мировой войны горячо обсуждали папа и дядя Володя. Не вмешиваясь в их разговор, лишь прислушиваясь к нему, что думал я? Какие мысли роились в моей ещё мальчишеской голове? А я думал: японская война была, когда я был ещё совсем маленький; революционное движение, последовавшее после неё, переживал тоже только по картинкам из журнала «Нива»; а теперь, когда я уже почти взрослый, войны не будет, мне не суждено будет пережить её, участвовать в ней. Моя мальчишеская душонка жаждала великих потрясений. Дурачок. Я дождался их, и этих потрясений в своей жизни я пережил слишком много и уж давно перестал о них мечтать. Наверно, так же переживал эти дни Алёша Хомутов, перешедший в последний класс кадетского корпуса. Его переживания не остались только переживаниями. В первые дни войны он ушёл на фронт и погиб.



Россия объявила мобилизацию. Германия, которая только и ждала повода начать войну, ответила объявлением войны России. Война началась. Дядя Володя не появлялся у нас несколько дней. Да и у папы было работы сверх головы, он приезжал домой поздно, поздно вечером. А мы с Олей в переполненном вагоне поехали в Москву. В летнее время Москва обычно была опустевшая. Теперь же она была переполнена. Уже на Курском вокзале с трудом протолкались мы вперёд. Масса военных в форме. К некоторым притиснулась или жена или мать. Сутолоки не было; была просто теснота. Не слышно было плача жён. Лишь слёзы сверкали на их глазах. И улицы были переполнены.

Мы не пытались попасть на трамвай, а пошли пешком. То и дело проходили воинские части. Некоторые со знамёнами, с полковой музыкой, иные без, но все одинаково стройными рядами. Армия развёртывалась, дополнялась запасными. Из наших близких и знакомых мало кто был мобилизован. Во-первых, потому, что знакомых у нас ещё было очень мало, а студентов ещё пока что не мобилизовали; относительно их ожидалось особенное распоряжение. Только дядя Коля сразу же подал прошение о переводе его врачом в действующую армию и уехал из Сорок. Позднее, когда начали собираться в Москву студенты, узнавалось, что тот или иной не вернулся — пошёл добровольцем на фронт.

С дачи мы вернулись не на старую квартиру, а поселились на фабрике, где для папы была приготовлена квартира. От фабрики до последней остановки трамвая (у Серпуховской заставы) было километра два. В нашем распоряжении были заводские кучера и лошади. Я же часто, особенно обратно, ходил пешком. Началось учение. Сорокские кузины приехали не к нам, а поселились у дяди Володи на Басманной. Я часто их навещал. Последний год моей гимназической жизни в условиях, диктуемых войной, конечно, от-

личался от предыдущего. Если раньше газеты не играли в моей жизни большой роли, то теперь они внимательно прочитывались. Получали мы «Русское слово» и «Русские ведомости». Кроме сообщений с театра военных действий, русского и западного, их диагностики, начал я интересоваться и политическими, государственными делами — нашими и иностранными. Я и раньше много читал, в Рыбинске мы все много читали. Как я уже, кажется, писал, что знакомились с Карлом Марксом с его «Капиталом», что-то прочитали из Спенсера, но всё это больше засоряло мозги, чем давало пищу к их правильному развитию, расширению умственного горизонта. К правильному пониманию переживаемых исторических моментов я был, конечно, слабо подготовлен, и восприятие их было хаотично.

Моя дружба с Колей Тороповым росла. Я окончательно решил поступить на будущий год для получения высшего образования в Московское Императорское техническое училище на механическое отделение. В наше время в технические высшие учебные заведения принимали или по конкурсу аттестатов зрелости, или по конкурсным экзаменам. Там, куда я решил поступать, принимали по конкурсным экзаменам. Надо было к ним со-

лидно подготовиться. На подготовку к ним ушло, за исключением одной недели отдыха после получения аттестата зрелости, почти всё лето. Мама с Олей уехали на кумыс (лечебное заведение для укрепления здоровья питием кобыльего молока).

Я переехал в пустую квартиру дяди Володи на Новой Басманной, потому что она находилась недалеко от специальных частных курсов, на которых в течение двух месяцев основательно проходился расширенный курс физико-математических наук. Учению я отдавался целыми днями, воскресений не существовало. Решил добиться быть принятым в выбранное мною училище. Училище это было очень старое, основанное ещё при Екатерине Великой.

А всё же я один день пропустил. Утром я пошёл в центр города, что-то надо было купить. Трамвай дальше Лубянской площади не шёл. Площадь была запружена толпой. Пошёл пешком, с трудом пробираясь. Наткнулся на процессию, несущую портрет государя и нестройно поющую «Боже, царя храни». Эта процессия, охваченная со всех сторон толпой разнокалиберных людей, понесла меня в прилегающие торговые улицы.

– Бей немцев! – эти возгласы сменили пенье гимна. 

Вот толпа (выбраться из неё не было возможности) останавливается у ювелирного магазина. Владелец с приказчиками выскочили и что-то кричат в толпу.

– Врут, немец, громи его! – отвечает толпа.

Вперёд протискивается подвыпивший молодец. В руках у него железный лом. Он ударяет им по стеклянной витрине. Звук разбиваемого стекла ещё больше возбуждает толпу. Давя один другого, погромщики врываются в магазин. Через несколько минут он весь разгромлен. Часть вещей со злобой ломается, топчется, часть прячется по карманам. Толпа, как разбушевавшиеся волны моря, влечёт меня дальше. Громят магазин «Жорж Борман». За стеклянной витриной коробки с английским печеньем, красивыми бутылками с ликёрами и винами. Магазин разгромили тем же способом. Бутылки с напитками распивали или засовывали в карманы. Толпа всё больше пьянела. Особенно женщины. Рядом был, тоже с иностранной фамилией, магазин дамских модных вещей: кофточек, платьев, костюмов и т. п.

Не забуду исступлённых пьяных, хватавших эти вещи, тонкие сукна, шёлк, рвавших их или напяливших их на себя. Толпа

*Аптека Феррейн на Никольской улице вблизи Лубянской площади.*



несла меня всё дальше и дальше. Выбраться из неё не было возможности. Разгромили прекрасный магазин иностранной литературы и тут же его подожгли. Вырвался я, когда толпа начала громить шикарный музыкальный магазин. Не помню имя его владельца или название фирмы. Кажется, Шнайдер. Ворвались через разбитую витрину в первый этаж и исковеркали все находившиеся там музыкальные инструменты. Потом толпа поднялась во второй этаж, наполненный пианино, роялями, фисгармониями лучших европейских фирм. Под крики «Берегись, не то побьём!» озверевшие, опьянённые люди, не люди, а просто звери, начали выбрасывать через стеклянные окна драгоценные инструменты вниз, прямо на толпу.

Толпа отпрянула, раздались крики раненых. Началась паника, которая мне помогла выбраться. С трудом я протолкался

на Театральную площадь, тоже заполненную множеством народа и стоящих трамваев. Оттуда я поспешил к Москве-реке мимо горевшей фабрики шоколада «Эйнем».

Я поспешил домой. Беспокойство обуяло мной: «Что с нашими, что делается на фабрике? Ведь фирма-то „Т-во В.К. Феррейн“, – начало вертеться в голове, – что смотрит полиция, блюстители порядка, куда они попрятались?»

На Лубянской площади, где я встретился с толпой, несущей образ царя и поющей «Боже, царя храни», я видел полицейского. Он стоял по стойке смирно с рукой у козырька, не шелохнувшись, весь преисполнен чувством исполнения долга. Что предпринимают власть имущие? Раньше мне приходилось читать и слышать от очевидцев о жидовских погромах в Одессе и Кишинёве, сопровождавшихся зверствами и убийствами, и тоже при бездействии полиции и властей. Я ускорил шаг. При окружной железной дороге я свернул и почти бежал по берегу реки.

Перепрыгнув через забор, я через сад поспешил к террасе нашего дома. Поднялся наверх. На террасе увидел беспорядок: осколки цветочных горшков, землю на полу. Через гостиную в столовую – там столкнулся с мамой и Олей. Сдерживая слёзы, наперебой они начали мне рассказывать, что им пришлось пережить. Утром, когда папа был на фабрике, они услышали какие-то крики и шум. Из окон кухни был виден фабричный двор. На нём перед зданием правления фабрики стояла толпа. Отдельно с образом государя стояли незнакомые люди, мужчины и женщины. Ближе к правлению стояли рабочие нашей фабрики. Все что-то кричали, одни напирали, другие их удерживали.



– Что случилось? Аксинья! Беги узнай.

Аксинья убежала и вскоре, вернувшись, сообщила:

– Рабочие с Даниловки требуют от наших выдачи всех служащих, которые в истинного Бога не верят и немцы. У них и список есть, а наши торгуются.

Оля заволновалась. Она вставала летом очень поздно, была ещё не одета и побежала одеваться. А на дворе продолжали шуметь. Когда Оля убежала, на дворе перед управлением стояли несколько служащих и химиков и между ними папа. Папа возмущался, доказывал, что он русский потомственный дворянин, поручик в запасе русской армии. Ничего не помогало.

— Лютеран — значит немец, — заявляли пришедшие.

Увидев Олю, папа её успокаивал, что всё выяснится. Наконец было решено, что рабочие разрешат взять с завода лиц, записанных в принесённой бумаге, с условием, что с ними пойдут и несколько наших рабочих. Толпа повела их. Наши рабочие, в том числе мологские, которые очень любили папу, окружили уводимых. Рыдая, Оля вернулась в квартиру, где в это время мама с кухаркой, горничной и кучером воевала с прорвавшимися бабами и подростками, пришедшими вместе с толпой и решившими пограбить квартиру директора. Подоспели ещё кто-то из кучеров и рабочих, и пришельцев удалось изгнать. Что-то было разбито, что-то унесено из белья и одежды.

Куда увели папу и остальных, мы не знали. Фабрику закрыли, рабочие и служащие разошлись, телефон не действовал. Душевное состояние мамы и Оли было ужасное. Я хотел вернуться в город, чтобы узнать что-нибудь, но меня не пустили. Под вечер приехал на фабрику становой инспектор. Фабрика лежала за чертой города, и мы подпадали не под градоначальника, а уездного станового пристава. Он успокаивал маму, объяснял случившееся

ошибкою градоначальника, не понявшего, во что могло вылиться патриотическое проявление масс из-за временных неудач на фронте и толкование их как результата немецкого шпионажа. Руководители и организаторы этих выступлений растерялись и только теперь взялись за ликвидацию беспорядков. С виноватой улыбкой становой вскоре исчез, заверив маму, что ещё до ночи папа будет дома. А вслед за его уходом позвонил папа из какой-то тюрьмы и сообщил, что никому ничего дурного не сделали, что теперь после сытного ужина с пивом они играют в карты и что он надеется к ночи вернуться домой. Мы все тоже успокоились и стали ужинать: не до еды было целый день. Часам к одиннадцати папа вернулся, спокойный, даже весёлый, и с юмором, ему присущим, начал описывать свои злоключения. Хороший был у папы характер.

Вскоре папа и мама праздновали серебряную свадьбу. В саду близ веранды были расставлены столы, масса родных, знакомых, папиных сослуживцев — человек пятьдесят — шумно до утра праздновали юбилей.

Затем я держал конкурсные экзамены. Выдержал я их одним из первых. Только по русскому сочинению получил «хорошо»,

по всем остальным «отлично». На другой день я важно ходил в форменной фуражке училища с значком – перекрещенные молоток и французский ключ. Был я счастлив и горд неимоверно. До начала лекций оставалось, наверно, ещё дней десять, которые я провёл в ничегонеделании с Колей у нас или в Бутове с кузеном и кузиной. За это время готова была моя полная студенческая форма с золотыми наплечниками и прочими студенческими атрибутами.

С нетерпением ждал я начала занятий в училище и, как только они начались, не пропускал ни одной лекции, ни одного семинара первые два месяца. Но вмешалась продолжавшаяся второй год война. Фронту нужны были лётчики. Профессор нашего училища, наилучший знаток всего авиационного дела Н.Е. Жуковский организовал при нашем училище Школу военных лётчиков. Принимались лишь студенты-техники. Тогда я загорелся желанием стать лётчиком-истребителем. Желающих попасть в школу – масса. Было из кого выбирать. С волнением мы ожидали медицинского осмотра. Мало было быть просто здоровым. Нужно было быть исключительно здоровым. Потом нужно было пройти нерво-психологические испытания. Испытывались разными неожиданными приёмами хладнокровие, находчивость, быстрота рефлексов. Я не прошёл и первой части осмотра: зрение должно было быть безукоризненно, а я тогда уже был немного близорук. Разочарование было страшное.



Одна Оля сияла. Профессия лётчика считалась в то время очень опасной.

Меня страшно прельщала форма артиллерийцев. Длинная кавалерийская шинель, серебряные шпоры с малиновым звоном не могли равняться со скромной формой пехотного офицера. А почему бы мне не ждать, когда меня как студента призовут, а теперь же поступить, например, в артиллерийское военное училище?

Папа, свыкшийся с мыслью, что участия в войне мне не миновать, вспомнил, что в Одесском артиллерийском училище директор – его товарищ по военному училищу, и решил написать ему и спросить, когда назначен приём и какие шансы туда попасть. Вскоре папа получил ответ, что прошение нужно подать до 20 декабря и что к прошению рекомендуется приложить свидетельство, что я студент высшего технического училища. Прибавил, что они охотно принимают студентов-техников и что

почти наверняка буду принят. Было то в первых числах декабря, и через несколько дней моё прошение я отнёс на почту. «Судьба играет человеком» – как часто в этом человек убеждается. Только что я подал прошение, как газеты известили, что Турция объявила войну России. А потом сразу появилось извещение: «зелёная для всех поездов, идущих на Кавказ». Тогда мы первый раз услышали и поняли смысл «зелёной», но мне не пришло в голову, что это могло отразиться на моём поступлении в Одесское артиллерийское училище. Понял я это только после Рождества, когда почта принесла мне обратно моё прошение, а папе письмо от директора военного училища, извещающее, что прошение пришло после окончания приёма. Директор писал, что он приказал поставить на моём аттестате штемпель, гарантирующий приём в следующем году, т. е. через девять месяцев. Штемпель этот и теперь найдёте на моём аттестате зрелости.

На этот раз я быстро успокоился. Когда я после Нового года пришёл к себе в училище, увидел объявление, что Военно-промышленный комитет организовал при нашем училище для студентов курсы шоферов-механиков, которых не хватало на фронте. Поступающий должен был принять обязательство – полгода отслужить на фронте. Слово «механик» сделало своё дело: в тот же день, не посоветовавшись с отцом, я подписал обязательство и приступил к занятиям, которые как раз начались. Когда вечером я пришёл домой и сообщил об этом отцу, увидел, что это ему очень не понравилось. Смирился он с этим лишь после того, как я ему стал доказывать, что как будущему инженеру-механику теоретические и практические знания шофёра-механика очень пригодятся. Но, конечно, ему было неприятно, что я дал обязательство, не обсудив этот вопрос с ним.



Я весь отдался новому делу. Учение было поставлено очень широко: теоретическую часть вели наши профессора, практическую наши же мастера. В конце марта я выдержал экзамены, помимо автомобиля изучил и разные типы мотоциклеток, что и было [указано] в моём новом дипломе. В первых числах апреля был я уже на фронте. Наш небольшой автомобильный отряд был прикомандирован к 59-му отдельному сапёрному батальону, входившему в состав 11-го корпуса.

В 1915 году из-за недостатка снарядов, винтовок и вообще боевого снаряжения наша армия должна была оставить занятую

перед тем Галицию, русскую часть Польши, часть Литвы и Прибалтики. Соединённые силы немцев и австрийцев, пополненные двумя корпусами, снятыми с французского фронта, яростными атаками, неся большие потери, хотели взять нашу армию в клещи и если не уничтожить, то нанести ей тяжёлое поражение. Это им не удалось. Наша армия сумела без паники, хотя и с большими потерями, отступить и закрепиться на границе русских земель. Неприятель тоже остановился.

Весной 1916 года было положение уж совсем иное. За зиму и весну наша армия, получив всё, что ей недоставало (главное – снаряды и винтовки), отдохнув, пополнившись резервами, спокойно и уверенно держала новые позиции, готовая отразить каждое наступление неприятеля. Когда весной 1916 года очутился я на фронте, увидел хорошо снаряжённую армию, уверенную в своей силе, бодрых, хорошо обмундированных солдат. Велась позиционная война. Действовала главным образом тяжёлая артиллерия всех калибров, одинаково интенсивно с обеих сторон. Случались и авиационные налёты. Наш гигант аэроплан «Илья Муромец» наносил ущерб немцам. Немецкие аэростаты скидывали на наши головы «чемоданы» – здоровенные снаряды с массой взрывчатого материала.



Расположились мы в палатках, разбив их в порядочно поредевшем от обстрелов лесу рядом со штабом батальона. Передовые позиции были в восьми километрах. Нашим назначением было доставлять военный материал на передовые позиции. Дорога шла болотистым лесом. Ужасная дорога – сплошные выбоины. Весна была дождливая, всюду стояла вода. Самым страшным был бревенчатый настил на дороге, сделанный там, где без него нельзя было проехать, не увязнув окончательно в болотистой почве. Ехать приходилось то на первой, то на второй скорости, чаще всего на первой. Машины всё время перегревались. Если удавалось в час проехать восемь километров, то это было рекордом.

Самым неприятным была встреча на узенькой дороге с санитарными, обозными повозками. Большинство лошадей впервые видели автомобиль. Он наводил на них панику. Вставали на дыбы, рвали постромки, опрокидывали повозки. Нам посылались проклятия. Мы останавливались, глушили мотор, старались загородить своим телом силуэт автомобиля. Мы приносили больше вреда, чем пользы. Только возможность попасть в окопы

первой линии, познакомиться с жизнью на передовых позициях, пробраться по ходам сообщения в непосредственной близости от немцев (нейтральная зона была 100–200 метров), получить разрешение от словоохотливого солдатика пустить в немцев несколько пуль – всё это вознаграждало за убийственную дорогу

Вскоре и начальство поняло, что использовать автомобильный транспорт на такой дороге нерентабельно, перевело нас на трассу «штаб батальона – железная дорога». Километров двадцать в один конец, тоже по очень скверным дорогам, но более широким и полевым, а не лесным.

Это меня уже не коснулось. Узнав, что в отряде есть и мотоциклет и нет мотоциклиста, меня сняли с автомобиля и назначили для связи между штабами батальона и корпуса. Машинка моя – *Harley-Davidson* – два цилиндра по пятьсот кубиков без стартёра (их тогда ещё не придумали) весила килограммов восемьдесят. Удержать моего «чёрта», как я его окрестил, от падения, когда я попадал в какую-нибудь наполненную водой яму или глубокую колею, не было возможности. Мускулы ног не выдерживали такой тяжести. Единственно, что удавалось – не позволить «чёрту» бухнуться в грязь, а постепенно опустить его туда. Иначе я мог сам попасть под машину, а вылезти из-под него было трудно. Если это удавалось, то надо было ухватиться одной рукой за руль, другой за седло, расставив в грязи ноги и напрягая все мускулы, поставить его на подножку, затем взобраться на него, включить скорость и педалями раскрутить. Такие процедуры до штаба корпуса я проделывал раз пять и, наконец достигнув цели, был от пят до головы одна грязь, да и тело всё болело.

Но всему бывает конец. Кончились весенние дожди, просохли дороги. Уцелел я, и уцелел мой «чёрт». Я его уж полюбил и гордился им – *Harley-Davidson* был один в нашем районе. Новейший тип, куда до него мелюзге вроде «вандера» или «пуха». Я их обгонял одним махом.

Освоились мы с новой обстановкой, завелись новые друзья и знакомые. Привыкли и начали отличать по звуку, куда летит снаряд, где упадёт – близко или далеко. По-прежнему неприятно действовали бомбы, падающие с вражеских аэропланов. Раз проклятые немецкие аэропланы меня порядком напугали. Приехал я на своём «чёрте» в Молодечно, где было много разных штабов. Исполнил поручение, имел свободное время и решил помыться

в военной бане. Была там хорошая большая баня. И вот в самый разгар мытья налетели немецкие аэропланы. Как мы потом узнали, это был самый большой налёт, в котором участвовали сорок аэропланов. Участникам Второй мировой войны или просто жителям селений, через которые война прошла, этот налёт покажется самым обыкновенным, незначительным. Но мы тогда ещё были невежи. Шум разрывающихся бомб, одна из которых попала в угол бани, а мы – голые, намыленные. Разом все кидаемся в раздевалку (а нас было человек пятьдесят). Неужели убьют или ранят в таком виде! Не было времени разбираться, где твоя одежда, где чужая, лишь бы скорей накинуть что-нибудь и выскочить наружу. Выскочили, видим, что бомбы падают уж далеко от нас. Отлегло, вернувшись в раздевалку, начали разбираться в валявшейся повсюду одежде, ища свою.

Так, с разными событиями, шла жизнь. [Ещё] дней десять провалялся в госпитале с брюшным тифоидом (что-то вроде брюшного тифа). [Получаю] письмо от папы: «Пришёл приказ явиться тебе туда-то, тогда-то для медицинского осмотра и определения в студенческую школу прапорщиков».

Оказалось, что долго приготовлявшийся закон о призыве на военную службу студентов высоких школ наконец был издан. Пока это касалось лишь студентов первых двух курсов. Папа послать приказ не рискнул, а сообщил, чтобы я скорей вернулся. Начальство меня сразу же отпустило, и через два дня я был в Москве. Кажется, на другой же день я пошёл на медицинский осмотр. Встретил там массу знакомых, почти весь наш восьмой класс московской десятой гимназии. Осмотр шёл быстро: годен, годен... И я был признан годным. Задаётся последний вопрос: «Имеете какие-нибудь недостатки, которые комиссия не приняла во внимание?» И вот, чёрт меня дёрнул брякнуть:

– Я немного близорук.

Доктор выбрал какую-то бумажку, что-то там черкнул и дал мне:

– Пойдёте в глазную клинику завтра же, результаты осмотра сразу принесёте нам.

Вот так заварил я кашу. Выругал себя. Подходит товарищ по гимназии Данилин:

– Что вы лезли со своими глазами. Ведь я более близорук, чем вы, а молчал.

– Меня спрашивают, а я отвечаю, – отрезал я.

Почти все были признаны годными. Им было приказано явиться через день для получения назначения в школы. Рассерженный на себя и на доктора, пришёл я домой. Таскайся завтра в какую-то глазную клинику в другую часть города, неси бумажку опять куда-то! Нужно мне это было! На другой день я пошёл в клинику с выданной мне бумажкой. Направили меня к профессору Глазунову. «Вот фамилия, соответствующая профессии», – подумал я.

В приёмной был только один ожидающий, какой-то студент. Он сразу же подошёл ко мне:

– Посмотрите на мои глаза. Я почти слепой. Как же я могу быть годным к военной службе?

Вид у него был действительно жалкий. Глаза красные, воспалённые, слезились. Он – самый нерв, поминутно прижимал руки к глазам, говоря, что они страшно болят. Его первым вызвал профессор к себе. Минут через пять я услышал повышенный голос профессора, он почти кричал:

– Несчастный симулянт! Боится быть убитым на войне и сам

убивает себя! Ведь вы лишитесь зрения, ослепнете. Впрыскиваете атропин и ещё разрешаете себе думать, что старый профессор будет верить вашим выдумкам. Я вам промыл глаза. Сейчас же идите к главному врачу. Я вас лечить не буду. Вон, симулянт!

Студент, держа руку у глаз, выбежал от доктора и скрылся без слов. Меня доктор, вернее, профессор, вызвал минут через пять. Уже успокоившись, он обратился ко мне:

– Видели, слышали – он почти лишил себя зрения. Ну, а у вас что? – И он взял мой листок. – Авенариус! – Помолчал. – Скажите, вашу маму не зовут Клавдией Сергеевной? – и он стал внимательно оглядывать меня.

– Да, – говорю, – Клавдия Сергеевна.

– Как это было давно. Почти четверть века назад. Я знал вашу маму, ухаживал за ней, она мне очень нравилась. Тогда я был на последнем курсе медицины и встречался с ней у профессора Зёрнова, у которого ваша мама жила. Я надеялся. Потом появился ваш отец, и она очень быстро вышла за него замуж, и я её потерял из виду. Так вы сын Клавдии Сергеевны. Садитесь, покажите глаза. Читайте эту азбуку.

Осмотр кончился.

– Немного близорук, – потом задумался, что-то соображая. Написал что-то на принесённой мною бумажке. Вложил в конверт и передал мне. – Занесите туда, где её получили. Передайте маме сердечный привет. Может вспомнит меня.

Я взял конверт и, удивлённый такой неожиданной встречей, поспешил уйти. Через час я вручил конверт по назначению, и мне было сказано, чтобы я явился сюда же завтра утром. Всё было сделано за несколько часов, а я боялся по глупости, что пропадёт целый день.

Когда я передал маме вечером привет от профессора, она улыбнулась, задумалась:

– Как это было давно. Какая неожиданная встреча.

На следующий день я опять был на приёмном пункте. Были почти все те же, что и при медицинском осмотре. Получали опять какую-то бумажку и отходили. Вызвали меня. Получил бумажку, но был удивлён. Все получали бумажки белые, а я синенькую. Читаю: «По статье 37/а переводится в ратники второго разряда. Призыв откладывается до призыва новобранцев этой категории».

Я был ошеломлён. Беру у соседа его беленькую бумажку: «Назначен в Иркутскую студенческую школу прапорщиков». Опять всё переворачивается кверх ногами. Дома все были страшно удивлены. Мама и Оля очень обрадованы. 

На другой день я отправился обратно в свой отряд. В голове созрели уж новые мысли. Дослужу обязательные полгода, а потом вернусь в Москву. Надо учиться. Ведь я забросил учение.

За эти последние два месяца пришлось мне познакомиться с новым методом ведения войны, который решил использовать немец: с применением удушливых газов. Когда я появился на фронте, как раз появились противогазные маски системы Зелинского. Нас научили ими пользоваться. Хотя они и не были велики, были портативны, но всё же иметь их всегда при себе было [хлопотно]. Но слышно было, что где-то немцы уж использовали газовую атаку, погибло свыше 1000 бойцов, но это не мешало нам часто их забывать.

А вот как-то утром меня грубо будят:

– Все по машинам! Газовые маски при себе. По два шофёра на машину.

Выбежали, узнаём: где-то поблизости немцы пустили газы и, использовав их, перешли в атаку. Что атакуют, что наши приняли эту атаку, можно было понять по ураганному огню на фронте. Все, кто владел рулём, и начальник сели по двое в машины и двинулись. Команды надеть маски ещё не было, воздух был ещё чист. Но вскоре в воздухе почувствовалось что-то.

— Маски надеть!

Надели. У кого маски были в неисправности, выбросили их с машин и двинулись дальше.

Как я был рад, что я на автомобиле, а не на своём «чёрте». Так было неудобно в маске. При толчках маска сползала или наоборот поднималась вверх, мешала видеть. Машины начали останавливаться, перегонять друг друга. Потом освоились. Остановились на какой-то полянке вблизи от передовой линии. Вылезли, с трудом разглядывая обстановку.

Было похоже, что попали в передовой, только что созданный полевой лазарет. Все в масках. Стоят и санитарные автомобили красного креста. Люди в масках несут солдат: кого на носилках, кого просто за ноги и за руки. Первых принимает кто-то из медицинского персонала, вторых складывают в кучу. Этих гораздо больше. Лежали они все в неестественных позах, как бы замёрзшие. Это уже мёртвые, удушенные газом.



Вскоре нас начали нагружать этими мёртвыми. Они падали на дно грузовика, как дерево. С тем же стуком. Отвозили мы их куда-то подальше от передовых позиций. Там рылись могилки для мертвецов. Засыпали, ставили какие-то, видимо временные, крестики. Ходил священник, тоже в маске. Кажется, после второго рейса было приказано снять маски. Как хорошо дышалось без них, но в воздухе нам ещё чудился какой-то запах. Оказалось, что ветерочек, который сначала гнал газы в нашу сторону, утих, потом стал дуть слегка в сторону немцев.

Артиллерийская стрельба на фронте утихла, частили лишь пулемёты. К вечеру мы вернулись назад. Теперь никак не могу вспомнить — где это было: за Молодечном или когда мы отошли на восток и стояли южней городка Несвижа? Да это и не важно. Работой нашей автомобильной колонны начальство осталось довольно. Было сказано, что на колонну получим несколько георгиевских крестов и медалей. Я не дождался их присылки. Знаю, что их получили потом меньше, чем обещали. Знаю, кому их при-

судили. Я тогда уже был в Москве. Ведь моё полугодовое обязательство было мною исполнено – я уже был вольный и всё ещё невоеннообязанный.

В Москве я сразу же погрузился в науки. Было что догонять. Сдал экзамены по первой части математического анализа по Болотову, теоретическую механику по Жуковскому, физику. После Рождества начал догонять предметы второго курса.

Как-то папа, рассказывая, как теперь трудно приобрести необходимые технические приборы, как на пример указал на пусковые реостаты для электрических моторов постоянного тока. Вечером я был у Коли Торопова.

– А что если мы с тобой возьмёмся за это? – предложил я.

– Возьмёмся, – отвечал Коля.

– Я придумал и название фирмы, которая будет изготовлять реостаты: «Электротехническая мастерская студентов-техников „Н. Авенариус и Н. Торопов“». Нравится?

– Нравится, – Коля всегда соглашался с моими предложениями.

Я же всегда надеялся на его золотые руки. Для нашей фабрики нужно было шесть реостатов. Нет смысла так мало делать. Но папа предложил изготовить двадцать – соседняя Даниловская мануфактура в них тоже нуждалась.



На другой день я был у нашего профессора Угрюмова с просьбой указать, по каким формулам нужно делать расчёт электрического сопротивления реостата.

– А зачем вам? Я вас и не помню. Ведь вы ещё у меня курс общей электротехники не сдавали.

– Нет, не сдавал, – и я объяснил ему в чём дело.

Он одобрил наше решение, посмеялся над фирмой и дал нам «Справочник электротехника», показав какими формулами я должен пользоваться. Работа закипела. Но трудно было получить некоторые материалы, как например особую проволоку, заказать отливки из чугуна. Но и здесь папа помог, получив это через фабрику. Дробные (мелкие) работы исполнялись у Коли на его станке. Помогал и брат Коли Серёжа. Работа, которая требовала более солидных станков, исполнялась нами в мастерских фабрики по вечерам. Работа закипела, и к началу апреля 1917 года двадцать реостатов были готовы, испробованы и сданы. На учение, правда, оставалось мало времени, но и оно продвигалось.

А ведь как раз в это время Россия переживала критические моменты. Старый порядок, старое государственное устройство, просуществовавшее несколько столетий, переживало критические дни. Наступало время переоценки ценностей. На фронте мы читали, конечно, газеты, интересовались, что делается дома, как дела у наших союзников.

Были у нас два сослуживца: некто Иноземцев и один еврейчик, фамилию которого забыл. Они держались вместе, подолгу вели между собой дебаты, работа нашего отряда их особенно не интересовала. У меня тогда создалось впечатление, что поступили они в отряд, [чтобы уклониться] от передовых линий в пехоте. На нас они смотрели как на политических невежд. Подсовывая газеты, они всегда обращали наше внимание на резкую критику правительства со стороны оппозиции. О том, что в тылу не всё в порядке, мы конечно знали. Но мы считали себя не штатскими, а членами армии, были уверены, что тяжёлые времена армия уже пережила. Видели своими глазами, что дух армии бодрый, что она регулярно снабжается всем необходимым. Были мы уверены, что Антанта победит немцев, что эта победа не за горами. В дебаты



с ними мы не вступали, честно исполняли свои служебные обязанности, при случае всегда использовали возможности попасть на передовые линии, ближе познакомиться с жизнью там. Присмотревшись к ней в условиях хорошо укреплённых позиций, находили жизнь фронтовиков очень однотонной, скучноватой.

Отслужив шесть месяцев, вернувшись домой, я и там не попал в вихрь политической жизни. В училище осталось нас немного, и каждый налегал на учение. Разговоров даже в чертёжке было мало. Коля интересовался только техникой. Папа был завален работой на фабрике. Она работала на оборону, а требования фронта всё увеличивались. Только за вечерним чаем папа с Олей начинали обсуждать текущие события.

Газеты сообщали о увеличивающемся влиянии на правительство «старца» Распутина, постоянных переменах на ответственных министерских креслах, непостоянстве характера императора.

Папа нас останавливал, когда мы с Олей чересчур резко реагировали на очередные промахи верховной власти. Когда Милюков с думской трибуны после последних неудачных шагов, предпринятых императором, воскликнул:

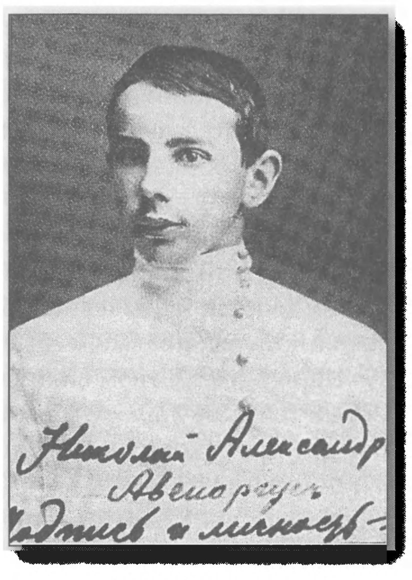
— Что это: глупость или измена?.

Папа страшно возмутился:

– На фронт его послать, болтуна. Пусть там роет окопы.

– Папа, – охлаждает его Оля, – пойми, у Милюкова единственный сын погиб на фронте.

Потом, конечно, помню наше общее ликование, когда Гришка Распутин был убит князем Юсуповым, Пуришкевичем и великим князем Дмитрием Павловичем. Папе только не нравилось, что Пуришкевич – черносотенец, член Союза русского народа, нанесшего столько вреда русскому народу, участвовал в этом.



*Коля Авенариус*

Из всех общественных деятелей того времени папе больше всего импонировал Родзянко – председатель Государственной думы. Папа часто держался его мнений.

В последние дни монархии мы с Колей были завалены работой над реостатами. Вечером в канун отречения императора от престола я по просьбе Оли поехал с ней в Большой театр. Шла опера «Князь Игорь». Половецкие танцы исполняла Гельцер, пел Собинов, оба – светила тогдашнего музыкального и театрального мира. Зрительный зал был переполнен шикарной публикой. У царской ложи стояли не шелохнувшись два красавца-гвардейца. В антрактах офицеры чином не ниже полковника, многие с боевыми орденами, стояли, увеличивая торжественность. В такой обстановке я был последний раз в Большом театре.

Когда на другой день мы узнали, что царь отрёкся от престола, я помчался в город. Конечно – к Коле, к нему было всего ближе. Был первый день «Февральской бескровной революции». В Москве не было слышно ни одного выстрела. Потом узнали, что был, правда, один – застрелился старый полковник. Колины сёстры прикололи к нашим шинелям маленькие красные бантики, и мы поспешили в центр города. Трамваи, конечно, не ходили, улицы во всю ширь были заполнены народом. Одни двинулись на Тверскую

к Губернаторскому дому, другие – в Кремль. Мы с Колей скоро вернулись к нему домой, а оттуда я к своим на фабрику.

Манифестации продолжались дня три. Потом появились небольшие группы людей с плакатами: «За работу, товарищи!». Мы с Колей и так давно работали. Срок сдачи реостатов приближался. Но читали и газеты. Образовалось Временное правительство. Князь Львов стоит во главе него. На трибунах Думы представители разных партий сменяют один другого. А партий много: кадеты, меньшевики, большевики, трудовики, социал-революционеры, правые, левые – всех и не упомнишь.

Царь с семейством сидит под домашним арестом во дворце. Создаётся трибунал, который будет судить царских министров. Всё это происходит в Петрограде. В Москве тихо – газеты берутся нарасхват.

Мы в срок сдаём реостаты, они испробованы и приняты. Деньги тоже получены. Особенно они пригодились Коле. У Тороповых шесть детей, а жалование у отца, учителя, небольшое. Нас меньше, и папа получает в три раза больше. Я за шесть месяцев службы на фронте как вольнонаёмный получал жалование

и в финансовых делах теперь был независим от папы.

Устали мы с Колей от работ и учения порядочно; решили, что в начале мая уедем отдыхать на Кавказ. К морю и горам. Дядя Володя, узнав о нашем решении, посоветовал нам поехать на Чёрное море, где поблизости от Туапсе, на самом берегу моря он купил большой участок земли, чтобы там поставить дачу. Папа тоже подумывал поставить там что-нибудь. Сам дядя Володя собирался заглянуть туда недельки на две с падчерицей Маней и пасынком Карлом. Его хороший знакомый приискал на лето небольшой домик, в котором мы могли поселиться и оттуда предпринимать путешествия по черноморскому побережью и горам.

Мы согласились и выехали из Москвы 9-го мая – день Николы Летнего. В этот день уж обыкновенно было в Москве тепло, а мы отъезжали со снегом. Дорога предстояла дальняя. В нашем купе, тоже на Кавказ, ехали две студентки. Вот, веселей будет – решили мы. Но они оказались такими неинтересными спутницами, что окрестив их «синими чулками», мы оставили их в покое, умостившись у окна. Коля, который из Москвы кроме дачи никуда не ездил, не отрывался от окна.

Да и я чем дальше от Москвы, чем ближе был юг, всё больше и больше восхищался окрестностями. Самое интересное нас

ждало, когда в конце второго дня переехали границу Кавказа. Горы, ущелья, речные поточки, большущий туннель недалеко от Туапсе. От Туапсе до деревушки Небуг, конца нашего путешествия, мы доехали на арбе, которую вёз ослик. Мы шли пешком, везлись лишь наши вещи. Приехали, расположились. Домик был маленький – две комнаты, но уютный, море в двух шагах.

Пораньше встали и айда к морю. Разделись, хотели влезть в воду, а вода холодная. И здесь, на юге, весна в том году была поздняя. Вернулись к шоссе. Пошли по какой-то узкой долинке выше. Хотели от маленького ручейка подняться на крутой берег. Невозможно. Пространство между неизвестными нам деревьями переплетено какими-то ужасно крепкими лианами. Запутались в них и вернулись опять к шоссе.

Решили разыскать дядин участок. Он должен был лежать рядом с дачей Фигнера – знаменитого тенора, теперь уж старика. Нашли эту дачку с его именем и названием «Крошка». Почему-то смеясь, мы с Колей переименовали её в «Окрошку». Прекрасный участок дядиной земли лежал между шоссе и морем. Берег здесь немного врезывался в море, – почти ровный участок с высокими соснами. С участка красивый вид на море. Идеальное место для постройки.



Вернулись в деревню Небуг. Нашли дядиного знакомого. Он был окресным шоссейным мастером. Интеллигентный, серьёзный человек. Вечером он нам обещал показать границы дядиного участка, а пока посоветовал пойти на почту. По его расчётам, жена начальника почты, милая женщина, могла взять нас на страву [питание].

Пошли. Милое семейство, и фамилию их нельзя забыть: Могильный. Условились, что по вечерам будем получать ужин в размере обеда. Должны предупредить, когда будем отлучаться. Могильный же нам посоветовал наши деньги, чтобы их не потерять, положить на книжку на почте, а по мере надобности выбирать.

Вечером осмотрели лучше дядин участок, поставив при граничных камнях ветки. Шоссейный мастер (имя не могу вспомнить) посоветовал нам, пока море не станет теплей, гулять по горам. Как первую прогулку рекомендовал взобраться на хребет горы, где ещё стоят несколько избушек – всё, что осталось от черкесского селения. Прошло почти шестьдесят лет, как здесь было последнее убежище славного вождя непокорных горцев Шамиля*.

* Ошибка автора.

На другой день мы с трудом, путаясь, всё же добрались туда. Встретили нас радушно, с восточным гостеприимством. Мужчины средних лет хорошо говорили по-русски. Древняя старушка и такой же старик не замечали нас – игнорировали, видно, жили ещё старой обидой. Чем жили эти люди, не знаю. Было там несколько коз, что-то вроде огорода. Угостили нас кислым козьим молоком и ячменными лепёшками. Сфотографировались вместе.

Потом мы ещё несколько раз были у них, уже с большой компанией. Я так подробно описал наши первые дни на Кавказе, потому что не только они, но и последующие дни пребывания там навсегда остались у меня в памяти. Видно, вправду это были беззаботные дни; в такие дни всё остаётся в памяти.

В первые дни мы познакомились с интересной личностью. Мужчина лет двадцати пяти Характерное лицо, больше всего обращали на себя внимание его глаза – пронзительные, как будто всегда за вами следящие. Звали его Иван Иванович Базильчук. Было ли это его настоящее имя – не знаю. Я потом несколько раз встречался с ним в других местах, и всегда неожиданно. Последний раз в Константинополе. По образованию он был садовод и винодел. В Туапсе была старая школа виноградарства и виноделия. На вопрос, что теперь делает, ответил, что ведёт хозяйства тех владельцев дач, садов и виноградников, которые появляются здесь на недельку летом. Заявил, что его занятие временное, но что теперь его как нельзя лучше устраивает. Прибавил, что через несколько дней к нему сюда приедут из Москвы друзья. Весь он был какой-то загадочный. Ему было, видимо, скучно, а он любил и умел поговорить на темы социальные и политические и тут же вовлёк нас с Колей в такой разговор.



Начал, конечно, о несправедливом разделении на земле ценностей. Взял за пример владельца шикарной здешней дачи, которого он-де хорошо знает, который по всей России имеет имения, предприятия, сам ничего не делает, только приятно проводит время. Тема старая, избитая. Но до чего ловко, логично он нас с Колей уводил в тупик, когда мы старались высказать своё мнение по этому вопросу. Говорил он добродушно, без запала, играя словами, незаметно подтрунивая над нами, но в дружеской форме. На вопрос, к какой политической партии он принадлежит, отвечал: к анархистам-индивидуалистам, и является сотрудником еже-

недельника, выходящего в Москве, «Анархия – мать порядка». Всегда он появлялся неожиданно и так же исчезал.

Потеплело, и мы начали проводить целые дни у моря. Какая роскошь бросаться под приближающиеся волны – некоторые перельются через тебя, а некоторые понесут к берегу. Ходили мы по побережью то к Туапсе, то в противоположную сторону.

Вскоре появились друзья Ивана Ивановича. Мужчина лет тридцати, воспитанный, милый, как мы позже узнали – молодой писатель. Дамочка или девица лет двадцати пяти, интересная, интеллигентная, милая, близкая к литературе и искусству. Две сестры Маруся и Катя, лет двадцати, из Москвы. Мне понравилась Маруся, а Коле Катя, и мы составили четверолистник, но держались вместе с остальными, проводя весело время и купаясь или бродя по окрестностям.

Иван Иванович также то появлялся, то исчезал. Жили они на одной пустующей даче. Хозяйство вели сёстры, вечерних часов не пропускали ни мы, ни Иван Иванович.

Узнал, что Маруся кончила гимназию в Коканде, живя у брата, военного врача. Теперь живёт у матери в Москве, что она пробует писать стихи, и что Иван Иванович их устраивает в газете «Анархия – мать порядка». Отрывок из её стихов остался у меня в памяти:



Летят облака,
За ними несутся и мысли.
На сердце уныло нависли
Печаль и тоска.
Летят облака.

Приехал и дядя Володя с Карлом и Маней. Приехали они под вечер из Крыма. Мане мы отвели маленькую комнату, а вчетвером устроились на тюфяках в большой. Уже засыпая, мы услышали перепуганный, зовущий на помощь голос Мани:

– Подо мной в тюфяке кто-то большущий ползает, наверное – змея!

Бросились к ней, зажгли лампу, вытащили в нашу комнату тюфяк. Действительно, там был кто-то большой, твёрдый и двигался. Высыпали набитое вечером в тюфяк свежее сено, а с ним выпала и большая черепаха. Мы с ними были уже хорошо знакомы.

Их размеры доходили в длину до 25 см, в ширину до 20 см. Из одной мы даже с Колей сварили вкусный суп. Посмеялись все; Маня была не из трусливых и бережно вынесла черепаху во двор.

Компания наша увеличилась. Дядя Володя чувствовал в ней себя хорошо. Иван Иванович раздобыл где-то лошадку и седло, и Маня, большая любительница верховой езды, учила Марусю этому искусству. Потом приехал старший брат Коли – Саша Торопов; и ему нашлось место в нашей компании. У меня был фотоаппарат, и мы с Колей сделали много фотографий, сохранившихся у Коли (после смерти Коли эти фотографии передала мне его вдова). Такого весёлого, беззаботного лета мне уж никогда не пришлось пережить.

Первыми уехали дядя Володя с Карлом и Маней. Их заменили петербуржцы – обыватели одной из соседних дач: бабушка, внучка и молодой художник. Это был большой чудак, очень некрасивый, но компанию не портил.

Лето было очень жаркое. Купались целыми днями. Нам с Колей и дня не хватало. Вечером все разойдутся, а мы закопаемся в тёплый песок, да и спим в нём до утра. В начале августа



все разъехались. Мы с Колей уехали последними. Отъезд из Москвы прекрасно помню, а вот приезд не запечатлелся.

Я не был в Москве целых два месяца, а какие перемены случились за это время! Особенно изменился папа: осунулся, куда-то делась его жизнерадостность, энергия.

– Фабрика уж не та, – жаловался он, – нет почти никакой дисциплины. Мы не исполняем в срок почти ни один заказ. Я уже не управляю фабрикой.

В июне партия большевиков, опираясь на Совет рабочих и солдатских депутатов, пыталась захватить власть в свои руки, но неудачно. Москва была переполнена солдатами, бежавшими с фронта. А сколько же их могло быть в Петрограде? Газеты пугали быстро меняющейся политической обстановкой. Беспомощного Львова сменил Керенский.

Мы с Олей, с которой я теперь обсуждал текущие события, никак не могли понять, как мог этот адвокатишка, любимец истерических женщин, занять кресло председателя министров Временного правительства, а потом ещё стать во главе военного министерства. Не понимали, как это могли снести командующие фронтами. Ведь шёл решающий год Первой мировой войны, ре-

шающий судьбу народов России на многие годы. До сих пор не могу понять, как армия, её высшие чины при полном крахе царской власти и затем при полном бессилии Временного правительства оставалась в стороне. В её рядах не нашлось ни одного волевого человека с государственным умом, решимостью и смелостью.

Папа по вечерам уже не полемизировал с Олей. Усталый, он шёл раньше спать. Его место занял я. Оля была на последнем курсе историко-филологического факультета, в её голове были уложены истории политических переворотов в Европе. Я прочитал по университетскому курсу историю французской революции. Но ни мне, ни Оле это не помогало разобраться в политическом хаосе, переживаемом тогда Россией. Пытались мы с Олей объяснить это тем, что от абсолютной монархии (конституция 1905 года была очень куцая и всё время нарушалась) мы, перешагнув через конституционную монархию, шарахнулись прямо в республику. Наверное, мы ещё находили и другие объяснения, но их я уже не помню. Я переходил на третий курс Высшего технического училища (слово «императорское» было заменено словом «высшее»), учение моё было запущено, было что догонять, и я с небывалой энергией засел за чертежи и учебники.



Летом наши никуда не ездили, даже в Бутово, которое опустело, так как Феррейны переехали все в Крым, в Судак. В сентябре начались занятия в училище, и я ежедневно ездил туда, задерживаясь в чертёжках до позднего вечера.

В конце октября, возвращаясь домой, услышал со стороны Коммерческого института* выстрелы. Люди бежали одни к институту, другие – в обратную сторону. Что-то началось в Москве, это меня не удивило. Дня два тому назад в Петрограде было свергнуто правительство Керенского, который бежал, как мы потом узнали, переодевшись в сестру милосердия.

Сообщение с Петроградом было прервано, включая и телеграф. Но на другой день дошли сведения, что в Царском Селе генерал Краснов организовал казацкие, офицерские и юнкерские отряды, которые двинулись на Петроград восстановить порядок. В Москве мнения разделились: многие думали, что это очередное восстание, которое будет подавлено так же, как июльское.

«Ну вот, и Москва заговорила», – подумал я, но будучи страшно усталым, не слез с трамвая, а поехал дальше. От трамвая пошёл

---

* У Серпуховской площади, в Стремянном переулке.

пешком на фабрику. По Москве, когда стемнело, ходить было опасно. Снимали пальто, шубы, отнимали деньги. Но я носил солдатскую шинель, небрежно, набекрень надетую папаху и вполне сходил за солдата, ушедшего с фронта. Скорей меня могли бояться, чем я.

Нам не хотелось верить, что теперь, когда через несколько месяцев должно [открыться] Учредительное собрание, выборы в которое почти закончились и которое решит будущее России, кто-то решится поднять восстание. Состав Учредительного собрания был предрешён: большинство голосов будет подано за социалистов-революционеров с их лозунгом «Земля и Воля». Не догадывались мы тогда, что теперь ещё было время поднять восстание и вырвать шансы у эсеров. Партия большевиков могла на выборах получить около 20%, но она была энергична, смела, имела, хотя и неудачный, но всё же опыт июльского восстания, за ней пошли бы опять рабочие и солдаты Петрограда, подогретые лозунгом «Мир хижинам — война дворцам!»

Рано [утром] телефонная связь с городом была прервана. Фабрика не работала; рабочие кучками ходили по двору и живо обсуждали события. Мама и папа просили меня не ходить в город, остаться дома, но я, обещавши им быть осторожным, надев военную шинель, студенческую фуражку, спустился через сад к Москве-реке, перелез через забор и по берегу реки пошёл к городу. Идти через фабричный двор мне не улыбалось. Могли спросить: «Куда, зачем?», — а то и вернуть.



Куда идти? Конечно, в училище, там я в чертёжках узнаю все новости. Дорога моя шла мимо центра, трамваи стояли. Кой-где постреливали. Часа через три я был в училище, в чертёжках. Довольно много народу. Конечно, никто не чертит. Студенты стоят группами. Обращают на себя внимание молодцеватые лётчики, окончившие пилотскую школу, в которую я так хотел попасть. Стоят молодые прапорщики и подпоручики. Но преобладают студенческие тужурки.

Ориентируюсь. Встречаю приятелей, от которых узнаю: в Москве вечером большевики подняли восстание, захватили артиллерийские склады. Ходынка в их руках. Организуется сопротивление. Юнкера заняли все кремлевские ворота. Основная задача не допустить большевиков в центр города. Называется имя полковника, который организует сопротивление. Из студентов,

готовых выступить с оружием в руках, организуются десятки. Во главе каждого десятка будет поставлен офицер. Общее руководство взяла на себя группа офицеров-лётчиков. Оружие получаем из Алексеевского военного училища, которое находится недалеко от нашего училища. Десятки будут перевозиться на места грузовиками автошколы, которую кончил и я. По всему было видно, что работа уже была налажена, винтовки и патроны были сложены внизу в раздевалке; там же были и пулемёты.

Через полчаса я был записан в десятков. Несколько партий уехали до моего прихода, и ожидалось возвращение автомобилей. Вот и автомобили вернулись. Один из шоферов был мне знаком по автошколе. Мы погрузились, сложив в кузов винтовки, патроны и два пулемёта. Кроме нас, студентов, были ещё три офицера: один как начальник и два, видно, его заместители. Поехали. Грузовичок с цельными шинами (на надувных шинах грузовики тогда ещё не ходили) подскакивал на дрянной мостовой, а мы лежали на его дне, прикрытые брезентом, ударялись один о другого. Ехали долго. Потом остановились. Дан был приказ вылезать...

Находились мы на перекрёстке каких-то незнакомых мне улиц. Дома двух- и трёхэтажные. Ожидали нас какие-то офицеры.  Из противоположного дома выглядывали какие-то военные и студенческие фуражки. Начальник-лётчик объяснил нам наши обязанности: не допустить неприятеля на перекрёсток. Пять человек с пулемётом, начальник и его заместитель останутся на улице. Остальные пять должны занять позиции на первом этаже дома при окне, выходящем на перекрёсток.

Квартира, в которую мы попали, принадлежала какому-то чиновнику среднего достатка. Он и его семья были предупреждены о нашем приходе и что-то таскали из комнат в подвал. Первый испуг у них упрошёл, и они были скорей дружелюбны, чем враждебны.

Так как было холодно, то каждые два часа находящиеся наружи будут меняться с находящимися в доме. Разместились. Заместителем начальника стал подпоручик, приехавший с нами. С наступлением темноты все выходят на улицу, кроме двух, по очереди остающихся в доме. Повторив приказ, начальник спросил:

– Ясно?

Всё было ясно. Под словом «неприятель» мы представляли вооружённых людей, стремящихся проникнуть на перекрёсток.

Не только я, но и другие из нашего отряда не ориентировались, где мы находимся. Большинство были не москвичи, жили в общежитии при училище. Мне казалось, что находимся недалеко от Никитских ворот. Район этот я очень мало знал. Понимал только, что центр города где-то за нашими спинами.

Моё первое дежурство было у окна. Мы выставили зимние рамы, поставили их к стене; открыли окна. Улица напротив была хорошо видна, для наблюдения за улицами слева и справа нужно было высовываться. Положили на подоконник винтовки, придвинули к окну стулья и начали приспосабливаться. Неприятель не показывался. Поблизости была слышна винтовочная и пулемётная стрельба. Где-то далеко стреляли тяжёлые орудия с длинными интервалами.

Мы зорко смотрели, перекидываясь словами. Хотелось есть, и, когда пришла наша очередь быть снаружи, спросили взводного — как будет с едой? Отвечал, что обещали привезти хотя бы хлеб.

Время шло, становилось даже скучно. Почему черти не лезут? А черти, кроме одиночек, которые прижимались к стенам и поворачивали назад, как только начинали соображать, что по ним кто-то стреляет, не показывались до темноты. А где-то близко строчил пулемёт. Было как-то даже обидно.



Привезли много хлеба и немного колбасы. Поели, начало темнеть. Освещения на улицах не было: темнота — на пять шагов ничего не видно. Спустились все вниз, встали за пулемётом. Стараемся не шуметь, чтобы по шуму шагов услышать приближающегося неприятеля. Ничего не слышно. Пулемётчик не выдержит и пустит короткую очередь вдоль противоположной улицы. Обыватели спрятались по домам. Неприятель или нашёл другую дорогу, или решил отдохнуть до рассвета.

Ночь осенняя долгая. Хорошо, что между нами нашлись любители поболтать. Потом из противоположного дома, в котором был также расположен такой же взвод, и из нашего выслали вперёд шагов на двадцать дозорных. Они примостились у стен домов с винтовками в руках и были готовы предупредить нас, если появится неприятель. Томительная длинная ночь прошла, а неприятель не показывался. Утром доели хлеб, что остался. Пришёл приказ сняться с теперешних позиций и перейти на новые, ближе к центру города. Охранное кольцо, видно, было решено сузить.

*Знаменка. У Александровского училища в октябре 1917 г.*

Тем временем обстрел центра города тяжёлой артиллерией продолжался, но не так интенсивно. Грузовики не пришли, и пришлось передвигаться на своих двоих. Остановились опять на каком-то перекрёстке, теперь уже более шумных улиц. Соображаю, что мы близко от бульварного кольца.



Без прежнего [плана] заняли новые позиции. Чувствуется усталость от бессонной ночи, да и есть захотелось. По перекрёстку шмыгают туда и сюда одиночные прохожие, которых мы не задерживаем. Угловые дома мы не заняли. У нас четыре пулемёта, и мы расположили их так, чтобы каждый глядел в одну из улиц. Мы стоим в центре с винтовками в руках.

По очереди ходим согреваться в какую-то мастерскую. Она не работает, и свободного места достаточно. Напряжённое состояние прошло, наступила какая-то апатия. Стояли мы там недолго, когда пришёл новый приказ: построиться и следовать за принесшим приказ офицером. Идём и останавливаемся у какого-то знакомого большого здания. Да ведь это Александровское военное училище! Подступы к училищу солидно охраняются рядом пулемётов, за которыми стоят офицеры и юнкера.

Нас вводят прямо в здание училища. Большой вестибюль, от которого идут лестницы. Масса людей: молодые офицеры, юнкера,

кадеты, много-много студентов. Мы держимся вместе своим взводом. В стороне группа старших офицеров что-то обсуждает.

Кто-то меня окликает: Карлуша Феррейн. Вот кого не ожидал здесь встретить. Оказалось, что он, как и я, вчера утром пошёл в университет (он был на втором курсе юридического факультета) и так же, как я, вошёл в студенческий десяток и тоже оборонял подступы к центру. О положении дел он знал не более меня.

Ждали мы довольно долго, прислушиваясь к разговорам, которые велись в отдельных группах. Потом какой-то солидный полковник сильным голосом сообщил нам приблизительно следующее:

— Выступление генерала Краснова не имело успеха; его отряды не прорвались в город и отступили. Совет рабочих и солдатских депутатов под ведением партии большевиков во главе с Лениным захватил власть, свергнув Временное правительство. В Москву прибыли ночью из Петрограда представители нового правительства и подписали перемирие с представителями сопротивляющейся Москвы. По одному из пунктов соглашения рядовые участники сопротивления сосредотачиваются в отдельных пунктах,



каким является и Александровское училище. После сдачи имеющегося при них огнестрельного оружия они могут беспрепятственно разойтись по домам.

Потом было приказано построиться по взводам и складывать оружие. Не было ясно, касается ли это револьверов, но я заметил, как наши офицеры прятали их подальше во внутренние карманы. А ещё через час начали выпускать из училища через двор задними воротами на улицу. Часа через два, уже совсем вечером, я добрался до фабрики старой дорогой по Москве-реке, а потом перелез через забор в наш сад.

Как хорошо было в наших тёплых, покойных комнатах! Наши, конечно, пережили много за два дня моего отсутствия в такое неспокойное время. Главное, я был жив и невредим. И страшно голоден.

На другой день Москва начала жить по-новому и с новым правительством.

## Москва.
## Ноябрь 1917 — июнь 1918

Первые дни правления нового правительства на Руси я провёл дома за учением. Забежал лишь только к Коле Торопову да к Марусе, которая жила недалеко от Коли.

Потом были похороны моих павших соратников. Были то главным образом юнкера, которые приняли и отразили первый удар, не допустив передовые отряды новой власти в Кремль. Бедные юнкера! В Петрограде, в Москве, в Киеве вы всегда были

*Похороны юнкеров. Вынос тел из храма Вознесения Господня у Никитских ворот (Большое Вознесение).*

первыми, кого использовали власть имущие, перед падением хватающиеся за соломинку.

Правда, Керенский на защиту своей персоны выставил «женский батальон смерти», быстро разгромленный и поруганный.

Тяжёлые воспоминания связаны у меня с похоронами московских юнкеров. Был холодный, дождливый осенний день. Манифестаций никаких не было. Большинство павших юнкеров были не москвичи – были со всей России.

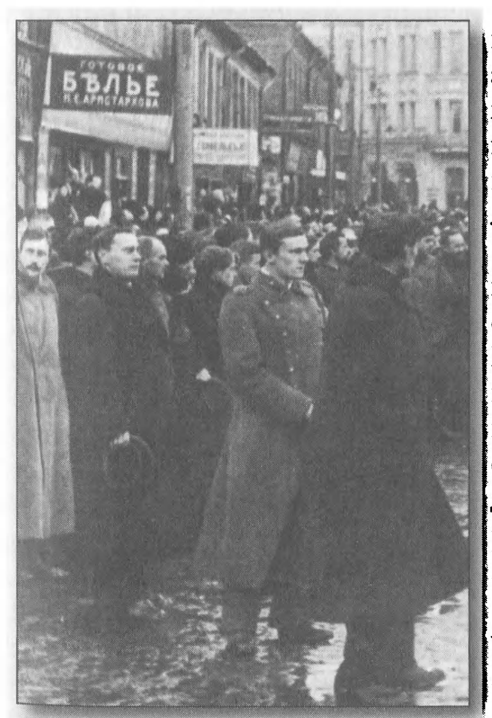
Я воспользуюсь песенкой Вертинского «На смерть юнкеров», которая ярко, правдиво и задушевно передаёт атмосферу этих похорон. Но сперва несколько слов о Вертинском и его песенках. В годах 1910–1915 песенки Вертинского, наряду с романсами Изы Кремер, были самыми популярными среди так называемой «золотой молодёжи» Москвы. Потом они проникли в широкие круги русской молодёжи и вспоминались, и исполнялись и в годы войны, и в годы революции, и в первые годы эмиграции. Как доказательство приведу пример. Большая чайная-столовка общежития № 8 в Константинополе в Галате в начале зимы 1920 года. Вечер. Чай уже перестали продавать. Нас, бездомных, человек сорок. Лежим – кто на столах, кто на лавках, а большинство прямо на грязном полу. Никто никого не гонит, никто ни на что не жалуется. Никого не тянет провести холодную, почти морозную ночь под мостом через Золотой Рог. Спать ещё рано. Переговариваемся. Вдруг раздаётся голос:



– Господа! Помогайте! Завтра обещал редакции (название выходящей в Константинополе газетки не помню) штук пятнадцать песенок Вертинского. Штук десять я помню, но и то боюсь переврать. Так помогайте!

И он начал читать, вернее петь, прилаживаясь к манере и интонации Вертинкого, какую-то его песенку. Все ожили и чуть ли не наперебой начали исправлять неточности, добавлять им пропущенное. Нашлись и такие, кто больше знал и сохранил в памяти эти своеобразные проявления лирических импровизаций Вертинского, знакомящих слушателя с отдельными событиями жизни, его взволновавшими, или с характерными переживаниями... И вот теперь, после прожитых шестидесяти лет, я знакомлю вас с этой песенкой и одновременно переживаю ещё раз похороны павших юнкеров. Да простит мне тень Вертинского, если я что переврал или пропустил:

Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.
Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искажённым лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом.
Закидали их ёлками, замесили их грязью
И пошли по домам, под шумок толковать,
Что пора положить бы конец безобразию,
Что и так уже скоро мы начнем голодать.
Но никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги – это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной весне!




*Похороны юнкеров.*

Вернусь к прерванным воспоминаниям. Тяжёлые артиллерийские снаряды, посланные с Ходынки через наши головы, надолго оставили следы на зданиях Кремля и близлежащих зданиях.



Больно было смотреть на старейшую в Москве часовню Иверской Божией Матери, угол которой был повреждён снарядом. Почти каждый день, едучи в Лефортово в училище, я не сводил глаз с нанесённых ей ран. Были и случайно раненные, и убитые снарядами.

В это время гостила у дяди Володи его кузина Леночка, дочь Василия Петровича Авенариуса. Она с японской войны посвятила свою

жизнь работе «сестрой милосердной». В Первой мировой войне она была начальницей поезда Красного креста имени старой императрицы Марии Фёдоровны. Поезд всегда был на фронте, и мне однажды удалось с тётей Леночкой встретиться недалеко от станции Хвоево. Прекрасно оборудованный, с лучшими хирургами поезд.

Тётя Леночка была дружна с женой генерала Брусилова, славного командующего Юго-Западным фронтом. То был самый выдающийся генерал из всех командующих армиями и фронтами. Узнав, что генерал с женой находятся проездом в Москве, тётя пошла их навестить. Застала лишь жену. Генерал, раненный в ногу осколком снаряда при обстреле Кремля, лежал в госпитале. Может, это ранение и было причиной того, что он остался в Москве, не ушёл на юг России, где вскоре после подписания сепаратного мира с Германией собрались виднейшие участники Первой мировой войны. Оставшись в Москве, он по выздоровлении вошёл в состав Красной армии и сыграл решающую роль в войне Красной армии с неуживчивой Польшей.*



Мне пришлось увидеть генерала много позднее в Праге. Во время Великого поста я был на богослужении в русской православной церкви на Градчанах. Храм был переполнен почти исключительно русской эмиграцией. Обращаю внимание на какое-то движение среди близко ко мне стоящих и слышу возглас:

– Дорогу красному генералу. Ему нет места между нами!

Расступились, дали с трудом дорогу. Идёт старичок в форме Красной армии с красными отворотами, голова опущена. За ним старушка, утирающая слёзы платком. Бедная старушка, много она видела почестей, поклонов, но ещё больше слёз. Единственный сын её, беспутный малый, был исключён из какого-то кавалерийского полка за нечистую карточную игру. Перешёл потом в Красную армию, где-то командовал красным кавалерийским полком. Был взят в плен и расстрелян. Инцидент в церкви неприятно на меня подействовал. Как он завязался, мне не удалось узнать.

При новом правительстве мы были несколько дней без газет. Потом появились. Ещё при Временном правительстве стала выхо-

* Ошибочное мнение автора.

дить газета Максима Горького «Речь». Горький, как старый друг Ленина, позволял себе во многих вопросах сохранять свои личные взгляды. В новом правительстве слово «министр» было заменено на «комиссар». Среди комиссаров, кроме Ленина и Троцкого, не было знакомых фамилий. Потом оказалось, что большинство фамилий комиссаров были псевдонимами, к которым мы ещё не привыкли, за ними скрывались еврейские фамилии. Газеты были полны лозунгов: «Мир без аннексий и контрибуций», «Самоопределение народов», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Вопрос о заключении сепаратного мира был не нов. Толки о нём распускались ещё при царе. Главной зачинщицей мирных переговоров называли бывшую императрицу Александру Фёдоровну, немку по происхождению, имевшую влияние на царя непосредственно и через Распутина. Толки эти сильно подрывали и так уже слабый авторитет слабовольного царя. Кому-то это было выгодно.

Как оказалось впоследствии, толки эти были вымыслом. Советский историк, исследовавший этот вопрос, В.С. Дякин отмечает: «Нет основания утверждать, что царское правительство принимало реальные шаги для заключения сепаратного мира».



Теперь для нового правительства заключение сепаратного мира стало реальной необходимостью. Армия разваливалась. Разваливать армию начал ещё во время Временного правительства военный министр Гучков своим приказом № 1, подорвавшим авторитет офицерского состава армии. Германия использовала все средства, чтобы разложить нашу армию, это был единственный верный способ победить Россию. Заготовленные в Германии прокламации: «Русские солдаты! Вашими неприятелями являются не немецкие солдаты, а ваши офицеры, которые гонят вас против ваших братьев – немецких солдат, чтобы вашей кровью могли заслужить награды и повышения», – забрасывались в русские окопы.

Газета «Окопная правда» и советы солдатских депутатов тоже разлагали армию. «Солдаты, спешите домой, там уже начали делить помещичьи земли», – этот призыв довершил развал армии. Как целое она перестала существовать. Отдельные ударные отряды, преимущественно из офицеров, да немногочисленные артиллерийские части ещё местами держали фронт. Немцы почти без потерь заходили всё глубже в исконные русские земли.

Надежды на всемирную революцию оказались иллюзорными.

«Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем», — а пока горели лишь русские помещичьи усадьбы. Поднять пролетариат всех стран не удалось.

Европа не брала пример с России, напрягая все силы для победы над немцами. Неслись слухи, что Америка, боясь мировой гегемонии Германии, войдёт вместо России в коалицию против Германии и уже готовится к ней. В каких тяжких условиях велись переговоры о сепаратном мире в Брест-Литовске.

Наконец на позорнейших для русских условиях была достигнута окончательная редакция мирного договора. Он должен был быть подписан верховным главнокомандующим уже на деле не существующей Русской армии. Им был в это время генерал Духонин. Он отказался поставить под этим позорным документом свою подпись. Его вызвали в Минск (он был где-то на фронте), и здесь на вокзале при выходе из вагона присланный новый верховный главнокомандующий прапорщик Крыленко застрелил Духонина из револьвера. Застрелив, сел в автомобиль, приготовленный для Духонина, и поехал в штаб верховного главнокомандующего, где приступил к исполнению



обязанностей, хотя — прапорщик — о них не имел представления. На этом месте он долго не удержался и стал генеральным прокурором России.

Похабный Брест-Литовский мир войдёт в историю вместе с именами его подписавших.

Так кончилась для России Первая мировая война. Миллионы лучших русских людей погибли или были изувечены на этой войне. О них никто не вспомнил, и если о них осталось какое-то воспоминание, так и то было уничтожено. Не так давно В.А. Геймовский, вернувшись из Ленинграда, с болью рассказывал мне:

— В Ленинграде я посетил здание бывшего Константиновского артиллерийского училища, которое окончил я и много раньше — мой старший брат Владимир. В этом здании и теперь артиллерийское училище. Всё мне показалось мало изменившимся, старым, знакомым, но вот мраморной доски, висевшей на видном месте при входе, на которой золотыми буквами были высечены имена офицеров, окончивших училище (начиная от его основания) и получивших высшие офицерские боевые ордена в минувших войнах, в числе которых был и мой брат Владимир Алексан-

дрович, теперь уж не было. Непонятно и оскорбительно. Почему наивысшие награды офицеров Советской армии связаны не с героями Советской армии, например Фрунзе, Чапаевым, а со старыми героями Русской армии: Суворовым, Кутузовым, и при этом память героев Первой мировой войны уничтожают?

«Град Петров, Петра творенье» запустел ещё до подписания Брест-Литовского мира. Оставаться там правительству стало опасно – немцы были не за горами. Вершителем судеб оставшихся жителей Петрограда был назначен Зиновьев-Апфельбаум. Нигде не было так тяжело с продуктами питания, как в Петербурге.

Вздохнули старые палаццо...
И, потоптавшись у колонн,
Пошел на Невский продаваться
Весь блеск прадедовских времен!..
Ах, Петербург, как странно-просто
Подходят дни твои к концу!..
Подайте Троицкому мосту,
Подайте Зимнему дворцу!..



Этими скорбными словами поэт*, имени которого уже не помню, изобразил Петроград 1918 года.

В Петрограде в середине 1918 года умер от истощения папин старший брат Иван Николаевич Авенариус. Он родился в Петербурге и всю жизнь, почти не выезжая, провёл в нём. По образованию археолог, холостяк, он, когда архивами перестали интересоваться как никому не нужными, а сотрудников даже не внесли в список трудящихся, остался добровольным хранителем их. Вспомню здесь, чтобы не забыть, уже упоминавшуюся мою тётю Леночку и папину родную сестру тётю Аню. В начале 1942 года обе семидесятилетние старушки умерли от истощения в осаждённом немцами Ленинграде. Подробности о их смерти я узнал от А.К. Авенариуса, единственного представителя фамилии Авенариус в Ленинграде.

И у нас в Москве появились талоны на хлеб и муку. С пропитанием становилось всё хуже и хуже. Если люди не отчаивались,

---

* Николай Яковлевич Агнивцев (1888–1932). Русский поэт и драматург Серебряного века.

то только потому, что считали все новые порядки временными: «Ведь это не удержится, два-три месяца – и всё рухнет». Так утешали себя и оптимисты, и пессимисты. На Сухаревке и на других базарах за золото или материю можно было [выменять] продукты. Раз и я решил рискнуть. Продавалось из-под полы. Мне удалось за пять рублей золотом купить небольшой мешочек муки (продали за десять фунтов) и благополучно под шинелью привезти домой. Я ликовал, но когда высыпали, то оказалось, что муки было немного, только сверху, остальное была извёстка.

Кухарки у нас уже не было: папа её устроил работницей на фабрике. Горничная Маня осталась. Поехала она домой посмотреть, что делается у неё в деревне. Дал я ей деньги и попросил купить мне домотканую деревенскую рубашку-косоворотку. Нравилась мне такая – её носили некоторые студенты-техники. Вернулась и привезла настоящую домотканую из белых, розовых и красных ниток. Под мышками, видно для увеличения крепости, были нашиты из того же материала, только немного темнее, специальные «подпазухники». Этой рубашке износу не было. В ней я пускался

в свои дальние, опасные путешествия, и дожила она до Таврии, где пропала с другими вещами при окружении нашей батареи.

Учился я в это время много, проводя время или на лекциях, или в чертёжках, или в училищных мастерских. По-прежнему дружил с Колей и видался с Марусей. Она поступила в Коммерческий институт. Там в это время читал лекции по богословию известный священник-академик. Боюсь переврать его фамилию, о которой в то время говорилось по всей Москве. Вообще лекции по богословию никто никогда в высших учебных заведениях не посещал. Но это было что-то другое. Цикл лекций «Достоевский – пророк русской революции» читался прекрасным оратором*, тема широкая, содержание лекции богатое, уносящее, захватывающее. Ошеломляющие выводы будоражили публику. Лекции были два раза в неделю, и я их никогда не пропускал. Маруся мне помогала попасть в институт.

Познакомил я Марусю с нашей семьей, в которой, как мне казалось, она чувствовала себя хорошо, но всё же не как у себя дома. Её детство и юность прошли в условиях, совсем отличных

---

* Вероятно, Д.С. Мережковским.

от моих. Прадед её был крепостным; дед после отмены крепостного права перебрался в город Владимир, как-то стал там на ноги и передал сыну (отцу Маруси) небольшое торговое заведение. Отец умер, когда дочки были ещё маленькими, а три сына учились в средней школе. Вдове как-то удалось всех троих довести до высших учебных заведений, в которых они уже пробивались сами.

Старший, окончив медицинский факультет и женившись, уехал на службу в Коканд и, чтобы помочь матери, взял с собой старшую из своих сестёр – Марусю. Она мало вспоминала о своей жизни у брата, о нём, о его семье; видно, не особенно радостно провела она своё детство и юность в Коканде. Окончив гимназию, она вернулась в Москву, где как-то изо дня в день перебивались её мать и сестра Катя.

Средний брат Михаил, окончивший Коммерческий институт, серьёзно работал по статистике. Был слабого здоровья – врождённый порок сердца. Он не стоял в стороне от политики и, когда я с ним познакомился, состоял уже года два в коммунистической партии. Он старался и меня завербовать в свою партию, способности пропагандиста у него были. Возражать я ему не возражал, но всеми фибрами своей души я был далёк от программы большевиков. Вспоминаю я его как человека безусловно честного, убеждённого партийца.



С младшим братом Маруси я познакомился, когда он приезжал в Москву сдавать государственные экзамены на медицинском факультете из Сухума, где работал в больнице. Он мне тоже нравился как человек здоровый, жизнерадостный, по убеждению – меньшевик, ярый противник большевиков. Что стало с ним, когда года через два большевики ликвидировали меньшевиков, разделавшись с ними так же жестоко, как с левыми эсерами и анархистами?

Встречал я у Маруси и упомянутого Ивана Ивановича Базильчука, который внезапно появлялся в Москве с Кавказа и так же внезапно исчезал. По-прежнему Маруся пописывала стишки, которые выходили на страницах газеты «Анархия – мать порядка». Мне и нашим это не нравилось.

Описывая семью Маруси, обстановку, в которой она росла, и тех, кто её теперь окружал, я начинаю понимать, почему мы с Марусей, чувствуя один к другому симпатию, зародившуюся на

Кавказе, не находили общего языка, который нас мог бы сблизить.

А жизнь в Москве становилась всё более удушливой. Улицы день ото дня – грязней. Всюду подсолнечная шелуха. Солдаты и их подружки с азартом щёлкают семечки и артистически сплёвывают шелуху чуть ли не в лицо мимоидущих. Дворников не видно. Большинство из них стали председателями домовых комитетов. Запомнилась сценка в трамвае, которым я почти ежедневно ездил в училище. На площадке, стараясь протиснуться к выходу, скромно одетый человек обращается к напирающему на него солдату:

– Господин, подвиньтесь, пожалуйста!

Солдат хватает его одной рукой за воротник, и, тыча ему кулак в нос, кричит:

– Не все здесь господа, есть и порядочные люди, – и отшвыривает от себя несчастного.

Кругом солдаты гогочут, а публика, как бы не видя происходящего, виновато молчит. Чувствуешь, как наступает царство хама.



На исходе зимы, катаясь на лыжах в Сокольниках с Марусей, мы попали в снежную бурю. Я отделался кашлем, Маруся слегла с воспалением лёгких.

# Поездка.
# Июль–август 1918

В середине июня 1918 года, я сидел в чертёжке Московского высшего технического училища, что-то чертил, а больше предавался размышлениям и воспоминаниям. Вспомнил я и неудавшееся и казавшееся теперь ненужным московское восстание в октябре прошлого года. Никак не мог понять, как это могло случиться, что в восстании участвовало так мало молодых офицеров. Ведь Москва была полна ими, ведь большинство из них представляло собой цвет русской молодёжи. Ведь когда теперь советская власть вызвала всех живущих в Москве офицеров явиться на регистрацию, грозя [укрывшимся] репрессиями, так в Лефортово их явилось около тридцати тысяч. Что ж, угроза расправы за неисполнение приказа так их напугала? Где были они в октябре? Ведь у красных были только единицы. Вспомнил я и ужасно обидные, но не далёкие от правды слова, приписываемые Троцкому: «Если выдать приказ, что завтра начнут пороть русскую интеллигенцию, так уж от раннего утра она станет в нескончаемую очередь, а некоторые будут услужливо забегать вперёд».



Потом, отбросив эти чёрные мысли, начал вспоминать море, Черноморское побережье. Какой восторг! Броситься теперь бы под приближающуюся волну. Она вынесет тебя себе на хребет, увидишь бескрайнее лазурное море и поплывёшь дальше. Так потянуло к морю!

Недалеко от меня сидел коллега К. Я никак не могу вспомнить его фамилию – Калачёв или Калашников? Или ни то, ни другое, а потому буду называть его просто коллега К. Я не был с ним близко знаком. Знал, что он участвовал вместе с другими нашими

студентами в московском восстании, что он москвич, сын видного не то инженера, не то промышленника. Я окликнул его, спросил, знаком ли он с черноморским побережьем, и не ожидая ответа начал перечислять все прекрасные уголки его: Геленджик, Владимирский перевал, Архипо-Осиповку, Небуг, Туапсе. Кончил я сожалением, как трудно, почти невозможно туда теперь добраться. Он прервал меня возражением, что это не так уж невозможно. Я обрадовался, попросил совета. Он обещал собрать сведения и при следующей встрече в чертёжке мне их сообщить.

Вернувшись из училища домой, я нашёл своих всё в том же мрачном настроении. Сестра Оля держала государственные экзамены, оканчивая историко-филологический факультет. Перспективы пугающие. Новая власть собирается интересоваться лишь историей рабочего класса. Буржуазные историки не только не нужны, но и вредны. А у Оли главный предмет история.

Отец оставался ещё заведующим химической фабрикой, но его действия всё больше ограничивали представители рабочих. Отец не ревновал к ним. Понимал и считался с ходом событий. Но люди, вмешивающиеся в руководство производством, в экономические и административные детали руководства, были не только совершенно неопытные, технически необразованные, но преимущественно молодые люди с демагогическими склонностями. Качество выпускаемых препаратов ухудшалось, количество уменьшалось.



Маму пугал всё увеличивающийся недостаток питания. Голода ещё не было, но он приближался. У нас ещё были кухарка и горничная, нужно было подумать и о них. Сегодня искали картошку, завтра — хоть какую-нибудь муку.

Через несколько дней мы опять встретились с коллегой К. в чертёжке. Он подсел ко мне и сообщил приблизительно следующее.

На побережье Чёрного моря в санатории московского центрального Союза кооперативов проживают две особы, в недалёком прошлом всеми уважаемые. Группа русских людей им оказывает помощь. Санаторий этот находится в Архипо-Осиповке. Денежные переводы и заказные посылки туда не принимаются. Необходимо, чтобы кто-нибудь, кому можно вполне доверять, взялся доставить этим особам удостоверение центрального Союза кооперативов, что за эти особы внесена известная сумма за расходы, связанные с их

пребыванием в санатории в течение следующего полугодия, и передать им десять тысяч в старых романовских пятисотках.

Добраться до Архипо-Осиповки можно до тех пор, пока не разгорелися бои между белым и красным казачеством, по маршруту: Москва–Саратов, Саратов–Царицын Волгой, Царицын–Тихорецкая поездом, и дальше до Новороссийска. Если бы Царицын был отрезан от Тихорецкой, надлежит ехать Волгой до Астрахани, а оттуда Каспийским морем к устью Терека, там пересечь Кавказ, способами, которые представятся, [чтобы] добраться до Туапсе.

Расходы на дорогу, десять тысяч рублей – частью в керенках, а частью в романовских, – будут переданы взявшему это поручение вместе с бумагой от Союза кооперативов. Взявшемуся за это щекотливое предприятие выдадут командировку от московского совета, на основании которой ему надлежащими властями будет выдано разрешение на выезд из Москвы в Новороссийск и обратно. Прибавил он, что меня он достаточно знает, чтобы рекомендовать меня кому нужно, и просил меня дать ему ответ не позже как через неделю.

За время между первым и вторым разговором с коллегой К. много раз я возвращался мысленно к Архипо-Осиповке. И вот почему. Маруся, с которой я катался на лыжах в Сокольниках и которая мне уж давно нравилась, на лыжной прогулке простудилась. Отнеслась к простуде легкомысленно, как обычно это делает молодёжь, а когда подверглась серьёзному медицинскому обследованию, то ей, а главное её старшему брату, было сказано, что ей грозит скоротечная чахотка. Лечить в Москве невозможно, воздух неподходящий, нет необходимого питания. Средний брат её, член партии большевиков, кажется, уже от 1916 года, очень скромный и серьёзный человек, налёг где нужно, и ему удалось устроить Марусю в поезд с больными красноармейцами, уезжавшими на лечение на Кавказ. Устроил как сопровождающую и её старушку-мать. Она уехала в начале апреля, снабдили её деньгами, а с вернувшимся санитарным поездом я получил письмо, что она устроена на лечение в Архипо-Осиповке.

За дни её болезни мы как-то сблизились. Прощаясь, я обещал хотя бы на недельку к ней приехать. В душе я чувствовал свою вину за её болезнь.

Не заикаясь дома ни словом о возможности своей поездки на Кавказ, я опять встретился с коллегой К. и дал своё согласие

и обещание выполнить поручение. Дня через два он вручил мне командировку от Московского городского совета в Новороссийск в комиссию по ликвидации имущества Кавказской армии. К ней было приложено прошение о выдаче для нужд московского транспорта нескольких магнет типа «Бош», подходящего к санитарным автомобилям американского производства.

Коллега К. прибавил, что с этими бумагами я должен явиться к товарищу не то Евдокимову, не то Ефремову в гостиницу «Метрополь». По переезде правительства в Москву эта гостиница была занята советскими служащими. Сообщил мне, в каком номере он поселился. На другой день рано я был там. Застал. Вид номера (на самом верхнем этаже) и вид его самого был аховый. Всюду валялись бутылки, стаканы, колбаса, хозяин выглядел как после порядочной выпивки. Но владел собой и, видно, был о моём приходе предупреждён. Он дал мне пропуск к нему в Кремль на другой день. В Кремль пропускали тогда по пропускам через Боровицкие ворота. Без особого удовольствия шёл я туда. От одних к другим, каждый проверял пропуск, я наконец добрался до товарища Е. Принял он у меня командировку, предложил подождать в коридоре и через часик вручил мне разрешение на выезд из Москвы в Новороссийск и обратно.



Опять я встретился с коллегой К., который, ознакомившись с пропуском, куда-то ушёл. Вернулся не скоро, передал мне подтверждение от центрального Союза кооперативов о денежном взносе за двух особ, проживающих в санатории, и деньги. Деньги и подтверждение я должен буду передать помощнику эконома санатория. Передать молча и ни о чём не спрашивать. Добавил, что всё это остаётся между нами, что он на днях куда-то уезжает и что скоро мы едва ли увидимся.

Осталось мне самое трудное. Когда-то давно я говорил дома, что собираюсь навестить Марусю, но не встретил ни у кого ни одобрения, ни согласия. Предстоял крупный разговор. Когда теперь я вспоминаю этот разговор, мне становится не по себе, хочется плакать, проклинать себя за свой эгоизм, бессердечность по отношению к семье, особенно к отцу. Молю простить меня за то горе, что я им причинил.

Путешествие было опасное. Конечно, я не мог ничего сказать о поручении, которое я на себя взял. Довод — обещание девушке, с которой фактически я не был ничем связан, — был для отца и ма-

тери совершенно недостаточным. В такое тяжёлое время семья должна быть вместе. Это я понимаю теперь, но к сожалению, не понимал в 21 год. Отец говорил, что он чувствует себя плохо, что вот-вот мне придётся встать во главе семьи. Я безжалостно отвечал, что он это преувеличивает, что это тоже не довод, чтобы я не исполнил своё обещание. Боже мой, какой я был негодный сын, самоуверенный молокосос, как мог я не ценить самых близких мне людей – отца, мать, сестру Олю.

Правда, после фронта я что-то зарабатывал, был, скажем, наполовину от них экономически независимым. Может быть, это мне вскружило голову, но рисковать своим здоровьем, если не жизнью, рисковать тем, что меня куда-нибудь засадят, оторвут от семьи в это тяжёлое для всех время, я не имел никакого морального права. Доводы для этого были недостаточны. Это был один из низких моих поступков, которые молодые люди понимают лишь в зрелые годы.

Разговор происходил в столовой. Я стоял на своём. Отец вышел в соседнюю гостиную и долго там ходил из угла в угол. Ведь я бы должен был понять, как ему тяжело. Ведь я должен был пойти к нему, обнять, успокоить, если не сдаться совсем, так сказать, что отложу поездку, всё подробно разузнаю. Отец, конечно, этого ждал. Наверно, я бы так и сделал, если бы затеял этот разговор раньше. Теперь я не видел другого выхода, как ехать. Мама и сестра ещё пытались меня отговорить, но бесполезно. Наконец папа вернулся в столовую.



– Ну кончим этот разговор. Поезжай. Передай привет Марусе, – и он ушёл к себе в кабинет.

Вспоминаю всё это, и мне так тяжело на сердце, так тяжело. Через полгода после этого разговора отец, не дожив 55 лет, умер от сердечного припадка. Особенно мне вспоминаются слова отца: «Передай привет Марусе». Отец не хотел остаться поражённым, а только уступившим.

Сборы в дорогу были коротки. Оделся: высокие сапоги, полувоенные рейтузы, домотканая деревенская рубашка-косоворотка, полувоенная фуражка, на которую прицепил вместо кокарды значок техника (перекрещенные французский ключ и молоток), и лёгонькую, уже потрёпанную кожаную тужурку из сибирской лайки накинул на плечи. Багаж: «Математический анализ» том второй, полотенце и кусок мыла. Деньги, разделённые

на четыре части, завернул во фланель и зашил под подкладку в кожаную тужурку, там же зашил и бумаги от Союза кооперативов. Пропуск и командировку заколол английской булавкой в боковом кармане тужурки – чтобы не украли. По словам коллеги К., дорогу через Тихорецкую можно одолеть за неделю, дорога через Астрахань займёт вдвое больше времени. Коллега откуда-то имел точные сведения.

Побывал на Павелецком вокзале, откуда шли поезда на Саратов, забежал к своему другу Коле Торопову и дал ему две написанные мной открытки на адрес отца, как бы с дороги. Одну он должен был бросить в почтовый железнодорожный вагон через пять дней, другую через десять. На них будет как место отправления означено число железнодорожного почтового вагона и ничего больше.

На вокзале узнал, что поезда на Саратов ходят каждый второй, а то и третий день. Рано утром я был уже на вокзале. Касса закрыта. От пассажиров узнаю, что надо записаться в очередь на билеты. Указали человека – записываюсь. Вдруг проталкивается другой человек, кричит:

– Записывайтесь у меня, его запись недействительна.



Начинается ругань. Записавшиеся у одного гражданина отстаивают своего, сторонники другого – своего. Уж начинают хватать один другого за ворот. На сцену появляется колоритная фигура. Матрос лет сорока. Морда красная, опухшая, видно, здорово выпивший, но твёрдо стоит на ногах. Он весь обвешан пулемётными лентами, сбоку висит маузер, за поясом тоже, из пулемётных лент торчит парабеллум. Я обращаюсь к матросу, прошу объяснить, который список действителен.

– Укажь список ты, – обращается он сначала к одному. – Ну, и ты дай свой список.

Те дают исписанные груды бумаг. Он расправляет их, складывает в одну пачку и потом рвёт своими огромными ручищами.

– Ни тот, ни другой не годится. Это говорю я, комендант этой станции. Бумагу тратите понапрасну, а теперь начнём по-моему. – И, обращаясь уже ко мне, продолжает. – Ты будешь записывать, но не на бумаге, а на ладонях. Я тебя научу. Эй, кто имеет чернильный карандаш? Давай его сюда.

Карандаш нашёлся.

– А теперь ты подойди, – он зовёт одного из составителей списков. – Ты получишь первое число. Давай руку. Да ладонью

вверх. Теперь плюнь на неё и разотри. Не понял? Плюнь и разотри, – и, когда тот наконец понял, что от него требуют, матрос чётко написал на ладони единицу. – А теперь ты, – зовёт он другого собирателя подписей.

С ним идёт быстрей. Он пишет двойку. За ним и я получил «3». Люди начинают протискиваться к нему, и всем им после команды «Плюнь и разотри» он пишет числа. А потом, обернувшись ко мне:

– Бери карандаш, будешь продолжать, а я пойду посплю. А чтобы никаких списков!

И он ушёл. Я продолжал в том же духе, пока какая-то хитрая голова из вновь строящейся очереди не закричала:

– Так каждый себе поставит число. Ты хоть распишись.

Он был прав, и вот кроме числа я ещё с росчерком ставил букву А. Разные были руки: видишь – красивая опрятная девичья рука, не знавшая тяжёлой работы, а одета под мещаночку, работницу. Так и с мужскими руками: рука интеллигента, а одет под мастерового. И так монотонно, уж усталым голосом повторяю: «Плюнь, разотри», не обращая внимание на то, кому говорю. Вдруг мелодичный голосок: 

– Можно мне намочить платочек, а им намочить руку?

Подымаю голову: симпатичное личико прилично одетой девушки, видно, наш брат – студентка. Развеселился.

– Ну конечно, бегите, намочите, а потом без очереди ко мне.

Смешны были бабёнки, старушки, которые обматывали «заклеймённую» руку тряпочкой или платочком со словами:

– Так-то верней. Не сотру!

Под вечер пришёл матрос. Сделал перерыв, позвал к себе, угостил тёплой водкой, колбасой. Всё приставал, чтобы я больше пил. А мне водка не шла в горло. Матрос выругался и пошёл искать другого компаньона. Потом я ещё подписывался, числовал, соснул где-то в уголку. Под утро пошёл слух, что составляется поезд. Потом и касса открылась, и публика устремилась к ней, соблюдая очередь. Но и так было много споров, появился матрос, разрешал спорные вопросы. Открылась касса и, получив билет одним из первых, я был уж в поезде. Хватило ли на всех билетов – я не знал.

Скучная дорога в переполненном и полуразбитом классном вагоне. Жара. Хорошо, что окна были в вагонах выбиты, так не было душно.

Никаких проверок документов и билетов в дороге не было. Пыльный Саратов. Свежесть почувствовали, когда подошли к Волге. Несколько пароходов стояли у пристаней.

Я Волгу любил, знал, вырос на ней. До шестнадцати лет жил на Волге, на верхнем плёсе Молога–Рыбинск. Почти каждый год мы ездили прокатиться по Волге. Иногда только до Нижнего Новгорода, а то и до Жигулей. Знал все пароходные общества, много-много пароходов. Почувствовал себя в своей тарелке. Быстро нашёл пароход, идущий вниз. Осмотрелся. Верхняя палуба парохода, где помещался первый и второй класс, была пуста. Зато нижняя палуба была полна. Кажется, все народности и все сословия России собрались на ней.

Первый раз в своей жизни я купил билет третьего класса и пробрался на корму парохода. Ветерок обдувал, жара не так чувствовалась. Всмотрелся – народу тьма, больше простонародие: крестьяне, крестьянки, конечно, солдаты, военнопленные всех наций, целая группа переселенцев на Алтай. Вышел на верхнюю палубу, заглянул в рубки первого и второго класса. Группа красных командиров играли в карты, отдельно – полувоенно одетые представители новой власти. Буфет не действует. Вернулся на корму. Глазами разыскивал своего двойника, путешественника с тайным посланием...



Недавно кончилось Ярославское восстание*, участники восстания расходились по всем уголкам России, многие из них пробирались, наверно, и на беспокойный Кавказ. Всматривался в лица, авось между этой разношерстной публикой найду товарища по Рыбинской гимназии. Не нашёл никого, но людей, выдающих себя не за того, кто он есть, чутьём отгадывал. Дело шло к вечеру, сложил свою кожаную тужурку, математический анализ, обёрнутый в полотенце, – под голову и, прислушиваясь к пению смешанного хора молодёжи, задремал, а потом крепко заснул. На другой день поздно вечером мы были в Царицыне. Узнать что-нибудь путное о поездах на Тихорецкую не удалось. Около пристани был парк. Лавочки ещё не все были заняты; насытившись на обильном пристанничном толчке, опять тем же образом: куртку под себя, анализ под голову, – спал свою четвёртую ночь.

Рассвет летом ранний.

---

* (28–30 июля 1918 года)

Бока болели, и я вскочил. Кое-какие поезда раз в день ходили на Тихорецкую. На базаре при вокзале не как в Москве – всего вдоволь. Куски жареного гуся, колбаска, яйца, масло и даже дыни и арбузы. И всё дешево. Товару больше, чем покупателей. Составляется поезд. Несколько вагонов для красноармейцев, несколько закрытых товарных, чем-то груженых вагонов и несколько открытых платформ для путешествующих. Касса отсутствует, т. е. закрыта. Цена билетов ещё старая и такая низкая, что не оплатится иметь кассира. Поедем, как будут ездить в будущем в стране коммунизма. Не видно никаких комиссаров, вообще никакого начальства. Тишь и благодать. Чувствую себя безмятежноблаженным.

Из всей дороги до Тихорецкой запомнились мне лишь верблюды небольшими караванами и с всадниками на горбу. По степи, тянувшейся с одной и другой стороны дороги, они двигались параллельно с нами, немного отставая от нас. Иногда мы останавливались около какой-нибудь сторожевой будки, и машинист звал добровольцев пилить старые шпалы, сложенные при полотне. Желающих находилось много, и мы опять двигались в путь. Да ещё не могу забыть огромных раков. Таких больших я раньше никогда не видал и таких вкусных. Они были куда больше моей ладони. Их, уваренных, красных, продавали на остановках мальчишки, положив на огромные лопухи. Раки и кусок хлеба – это был мой обед.



О Тихорецкой помню: большой грязный вокзал, много красноармейцев, бегают военные комиссары в длинных кавалерийских шинелях. Чувствуется нервозность. Пропала моя беззаботность. Стараюсь быть как можно меньше замеченным. Говорят, что ночью слышится орудийная стрельба. Я обрадовался, когда какой-то коротенький поездок повёз нас в Новороссийск.

Эта часть пути не оставила в памяти ничего – только приезд в Новороссийск, тоже вечером. Уже смеркалось. Вокзала не помню. Сошли мы с поезда не то на товарной станции, не то на запасных путях. Несколько пустых товарных составов стояло недалеко от моря. По пути в Новороссийск я узнал, что между Новороссийском и Геленджиком ходит небольшая моторная лодка. Геленджик же лежит на полпути от Новороссийска до Архипо-Осиповки.

В Новороссийске мне делать было нечего. Коллега К., выдавая мне командировку в ликвидировочную комиссию Кавказской

армии, сказал, что комиссия сама ликвидована, но об этом в Москве ещё не все знают.

В новороссийском порту, куда я попал, было очень оживлённо. На рейде можно было различить силуэты военных кораблей. Между ними и берегом шныряли корабельные шлюпы. Всюду толкались матросы, неряшливо и не по форме одетые, у многих из карманов высовывались наганы, маузеры. Они о чём-то громко спорили, что-то обсуждали, многие были сильно навеселе.

Решив, что я буду спать в одном из товарных вагонов, видя, что спать ещё рано, я пошёл за матросами, шедшими, по-видимому, в город. Попал, наконец, кажется, на центральную улицу. Улица полна народу, вернее, матросами. Они всюду.

Кабачки, ресторанчики, ночные притоны набиты ими. Вот проезжают парные извозчики, в пролётках сидят, обнявшись, пьяные матросы и их дамы. Некоторые матросы имели много денег; я видел в одном ресторанчике, пьяный матрос прямо разбрасывал деньги. Штатских почти не видно. Разве музыканты.

Я прислушивался, старался разобраться, что «возмутило их»,



почему они клянут один другого, призывая всех угодников, как умеют это делать только матросы. Ведь не только гнев — и боль слышалась в их пьяных выкриках. Это не личное сведение счётов, это что-то общематросское, общефлотское. Здесь решается или уже решилась судьба не только матросов как единиц, а судьба флота. Чувствую это по ярости, с которой одна группа матросов набрасывается на других, по отчаянности, с которой они взаимно проклинают [друг друга]. Каждый, кажется, решился на что-то, но ещё хочет доказать свою правоту другому. Чаще других слышатся такие выкрики: «Не отдам свой корабль немцам, не осрамлю наш Черноморский флот»; другие: «А знаешь ты, что матрос — авангард мировой революции, что наш вождь требует от нас этой жертвы!» Сколько боли и отчаянности слышалось в голосах одних, сколько холодной рассудительности, угроз лилось из уст других. В этой матросской массе мы, не флотские, терялись, и мне не приходило в голову задавать вопросы. Я долго ещё шатался между неистовой всё более хмелевшей матросской массой, и понемногу мне стало ясно.

Был получен приказ: Черноморскому флоту, ушедшему со своей постоянной стоянки из Севастополя в Новороссийск,

чтобы избежать захвата флота немцами, вернуться в Севастополь, оккупированный в то время, как и весь Крым, немцами. Одним из обязательств Брест-Литовского сепаратного мирного договора, подписаннаго советской властью, была передача флота немцам. Неисполнение этого обязательства для советской власти было чревато последствиями. Матросы были на 90% коммунисты. Командующий флотом, всеми любимый и уважаемый адмирал Колчак, выбросив за борт своё золотое оружие, никем не задержанный, сошёл с флагманского корабля и покинул Крым. Судьба многих и очень многих морских офицеров была незавидна. Многие были брошены в топки, многих выбросили за борт, привязав к ногам грузы. Многим удалось скрыться, очень немногие заслужили доверие новой власти, остались служить в Черноморском флоте. Эти немногие теперь, наверно, остались на своих кораблях и ожидали решения матросских масс...

Поздно ночью я вернулся в порт, открыл дверь незапертого товарного вагона и улёгся спать. Когда утром вышел на берег к причалам, жизнь в порту била ключом. На горизонте были видны силуэты уходящих или готовящихся к отходу кораблей. Их трубы дымилось. То уходит в Севастополь к немцам часть флота. А вот тут, на рейде, на якорях стоит другая часть флота. Матросы с этих кораблей решили их потопить. Между ними дредноут «Свобода России», кажется, при царской власти он именовался «Екатериной Великой» (но не ручаюсь за старое название). Другой дредноут «Воля» уходил в Севастополь. За «Свободой России» ещё много разных судов, имён [которых] не знал и тогда.



Окинув взглядом всё это, я пошёл искать моторную лодку на Геленджик. Нашёл её. Несколько пассажиров уже стояло около неё. Моторист ушёл в город что-то купить. Лодка могла вместить человек двадцать. Среди ожидающих стояли и те, кого я вчера видел на улицах Новороссийска – флотские. Одни из них в форме, хотя и без военных отличий, но всё сидит опрятно. Только вот узелки в руках – видно всё их несложное имущество. Другие, которые вчера ещё были матросами, изо всех сил не хотят казаться ими. Но здесь, в Новороссийске, им это плохо удаётся.

Мне запомнился бравый матрос, пожилой, с промасленными руками, по которым легко узнать, скажем, младшего корабельнаго механика или машиниста. На выцветшей ленте на матросской бескозырке надпись «Иоанн Златоуст». С ним рядом

молодой матрос, видно, с того же судна, а может быть, к тому же и земляк старшего матроса.

Хотя моторист ещё не вернулся, мы, ожидающие, чтобы потом не остаться без места, влезаем в лодку и занимаем места. Все молчим. Смотрим на море, не замечая прекрасного летнего утра. Даже норд-ост, без которого немыслим Новороссийск, сегодня не беспокоит нас.

Приходит моторист, покупаем билеты, видим, что моторист не хочет перегружать лодку, и не все желающие попадают в неё, и отчаливаем. Были мы в полукилометре от берега, когда заметили, что к нам приближается какое-то военное судно. Оно шло полным ходом. На палубе суетились люди.

– Это ведь контрминоносец «Керчь», – кричит кто-то из ехавших с нами матросов, – он будет топиться.

Так послышалось мне. Я пришёл в ужас, – как топиться, а люди на нём, что с ними? А миноносец был уже рядом с нами.

– Назад, в сторону! Хотите под мину попасть? – раздались с миноносца слова, сопровождавшиеся страшными ругательствами.



Наш моторист повернул, но «Керчь» тоже развернулась и, обдавая нас брызгами, помчалась в море. Она шла по направлению к дредноуту.

– Идёт топить «Свободу России», – сказал так понравившийся мне пожилой матрос, снял бескозырку и начал креститься, за ним стали креститься и другие.

– Смотрите, смотрите, сейчас пустит мину!

Я вперился глазами в миноносец, но ничего не увидел. Ведь я был близорук.

– Пустил одну, теперь пустил другую!

Я опять ничего не видел. Услышал донесшиеся до нас звуки выстрела с «Керчи», а затем – оглушительный взрыв, за ним другой. Дредноут окутался дымом. Дым понемногу расходится, дредноут кренится на один бок. Это по его мачтам видно, потом быстро переворачивается. Минуту ничего не происходит, потом выскакивает киль, слышатся опять взрывы. Это, видно, взрываются котлы, ещё момент, и дредноут, разломившись на две части, скрывается под водой.

– Поворачивай против волны, – кричит кто-то из матросов мотористу.

Вовремя: огромная волна, за ней другая надвигаются на нас. Но мы идём уже против неё и благополучно взлетаем на её верхушку. Порядочно кидало нас. Выкупались бы мы в море, кой-кто и утонул бы, не окликни матрос моториста. Затем море утихает, по его поверхности поплыли спасательные круги, скамейки, бидоны из-под масла, а мы плыли дальше. «Керчь» уходила топить другие крейсера и миноносцы. Правда, как я слыхал в Архипо-Осиповке, большинство остальных кораблей было потоплено открытием люков, просто потоплением, без использования мин.

Часа в два мы были в Геленджике. На пристани узнали, что почтовые линейки, перевозящие пассажиров из Геленджика до Владимирского перевала, уже ушли. Я переночевал у знакомого шоссейного техника. На другой день утром на месте, откуда отходили линейки (особый род экипажа), встретился опять с моряками. Узнал, что не исполнившим приказа морякам грозят репрессии со стороны советской власти, и они заметали свои следы.

А теперь маленькое отклонение от повествования. Вчера взял у сына совсем недавно вышедшую историческую хронологию. Я надеялся, что найду что-нибудь о новороссийской драме, и нашёл. Но вот в какой форме: «18.06.1918 по приказу советской власти была потоплена большая часть Черноморской флотилии, потому что были опасения, что она попадёт в руки немецких интервентов». Это дословный перевод, так пишется современная история.



Продолжаю повествование. Матросы почти все были переодеты. Набилось нас на линейку много, лошади шли почти всё время шагом. На дальнейший участок пути – Владимирский перевал–Архипо-Осиповка – линейки уже ушли.

Пришлось заночевать в греческой кофейне. Попутчики меня сторонились, избегали. А когда утром я проснулся, хозяйка сообщила, что мои компаньоны рано, чуть свет встали, наняли частных лошадей и уехали.

– А вот посмотри, что они мне оставили, – говорит хозяйка и показывает мне два револьвера, пачку патронов, старые матроски.

Видно, старались и от меня отделаться. Может быть, считали меня советским комиссаром. Эх, путаница в те времена была изрядная.

Остаток дороги я решил пройти пешком. По этой дороге я в прошлом ходил туда и обратно. Теперь, пройдя километров десять, в том месте, где уровень шоссе не превышал намного уровень моря, сошёл, выкупался, смыл дорожную грязь и пошёл дальше.

К вечеру был я в санатории Архипо-Осиповка. Там узнал, что Маруся живёт не в самом санатории, а в деревне, в полукилометре, только всё довольствие получает из санатория. (Санаторий был переполнен и взял в аренду несколько домиков.) Нашёл помощника эконома. Сказал, что имею к нему поручение из Москвы. Он не удивился, и я без дальнейших слов передал ему письмо от Союза кооперативов и деньги, заранее мной приготовленные. Он молча их взял, и так же молча я удалился. Потом мы с ним уже не встречались.

А я пошёл разыскивать Марусю. Ох, как я был рад, когда избавился от этих денег (сумма не была велика, но в старой романовской валюте, которая ценилась гораздо выше теперешней, т. е. ещё имеющей хождение валюты Временнаго правительства). Попадись я с ними на честного советского разведчика, не знаю, чем бы я отговорился. Всю дорогу приготовлял я себя к этой возможности, но что-нибудь толковое выдумать не мог. Говорю — честного, нечестный бы забрал деньги, меня бы пугнул.



Марусю я быстро нашёл. «Небольшой домик с красной крышей, а калитка окрашена ярко-зелёной краской», — так описали мне домик, где жила Маруся. Почему-то некоторые совершенно незначащие детали сохраняются в памяти. На скамейке у калитки сидела мать Маруси. Она завела меня на кухню. В Москве у неё остались другая дочка и сын. Ну, конечно, сначала о них всё должен был я рассказать, о Москве. Потом стала рассказывать она. Маруся стала наконец поправляться. Первое время с ней было очень плохо. Температура держится и теперь. У неё строгий режим: с постели не смеет вставать. Два часа до обеда и два часа под вечер могут её навещать знакомые, но не утомлять. Доктор молодой, но, видно, знающий, очень к Марусе внимателен, приходит каждый второй день. Есть у них здесь уже и знакомые. На некоторые дачи приехали хозяева, больше из Петрограда. Да и в деревне живут много больных и выздоравливающих.

Из разговора понял, что меня особенно не ждали. Старушка привыкла уж здесь, живёт только здоровьем дочери. Предложила

мне поесть, сказала, что будет лучше, если к Марусе я пойду завтра часов в девять. Она её предупредит. Что теперь дочке ничего не скажет о моём приезде, а пойдёт к соседям и найдёт комнату. Комнатка мне нашлась, и скоро я был в постели. Больше недели спал я на чём-то очень твёрдом, но теперь, несмотря на мягкую постель, я сразу заснуть не мог.

В дороге я совсем не представлял своей встречи с Марусей. Не знал о состоянии её здоровья. Когда я приходил к Марусе в больницу, то не смел оставаться у неё больше часу. Мать приняла меня очень радушно, но я почувствовал, что здесь начала складываться новая жизнь, ведь шёл уж четвёртый месяц их жизни здесь, смыслом которой было вернуть Марусе здоровье.

На другое утро Асклипиодота Ивановна пришла за мной. Асклипиодота – имя редко встречаемое, и я ещё в Москве с трудом его запомнил. Но раз запомнив, не забыл его до сих пор. Она подготовила Марусю.

Маруся изменилась за это время, потускнели глаза, на лице нездоровый румянец. Подала мне руку, не протестовала, когда я её руку не только пожал, но и поцеловал. Поблагодарила за память и забросала меня вопросами о своих в Москве, о моих, об общих знакомых. Потом не спеша стала говорить о своём здоровье, о своей болезни. Кризис уже миновал, но когда она будет здорова совершенно, об этом говорить ещё очень и очень рано, что много зависит от того, как она сама будет бороться с болезнью. Говорила она тихо, видно, стараясь не переутомляться. Потом перешла на здешнюю жизнь, к которой уже привыкла. Привыкла всё время лежать в постели, не вставать; рассказала, что у неё есть здесь несколько подруг и знакомых молодых людей, которые её навещают, не дают ей скучать. Потом, увидев, что она устала, заговорил я. Вскоре зашла какая-то дама, которая, узнав, что я приехал из далёкой России, закидала меня вопросами. Было время кончать аудиенцию, и мы с дамой ушли.



Я сразу же пошёл к морю. Плавал, плескался, заплывал далеко в море. Какой простор! На другой день я познакомился у Маруси с доктором, который её лечил. Звали его Георгий Николаевич Ансеров, брюнет, лет на десять старше меня, москвич. Я вкратце описал дорогу из Москвы. Он прервал меня, заметив, что я проскочил через станцию Тихорецкая одним из последних, что Новороссийск опять отрезан от России, что близ него идут бои между

белыми и красными. Сведения были не из приятных. Возникал вопрос, какой дорогой поеду обратно в Москву. Разговорились на эту тему, и доктор пояснил, что ещё остаётся дорога через весь Кавказ к Каспийскому морю, а там через Астрахань дальше. Дорога удлинялась в два раза. Нужно было спешить, чтобы её не отрезали. Тут же мы с Марусей решили, что я пробуду у нее ещё дней пять, а потом двинусь в обратный путь. Оставить своих в эти тяжёлые времена – об этом я не мог и думать. Последние дни я провёл не сидя у Маруси, а купаясь в море. Последний вечер беззаботно и весело провёл с местной молодёжью на пикнике. Как отличалась здешняя молодёжь от тогдашней московской! Она была ещё ничем не пришиблена, весёлая, беззаботная. Очень мне понравилась молоденькая брюнетка, только что окончившая гимназию. Ухаживал я за ней и танцевал целый вечер.

Марусина мама, казалось, была рада моему отъезду. Маруся простилась спокойно, прося, как только будет возможность, приехать. Доктор дал адрес своего брата Вадима, скрывающегося в Москве у сестры. Просил меня убедить брата пробраться к нему и дать ему все сведения о дороге. На прощание Маруся взяла из вазы голубой полевой цветочек и протянула его мне. Шёл я пешком, раздумывая обо всём. Потом остановился у придорожного кустика, погладил цветочек и засунул его между листьями куста. «С Богом, Маруся! Дай Бог тебе счастья!» Каким-то чутьём я почувствовал, что мы уж никогда не встретимся.



Перед отъездом я купил десять килограммов муки крупчатки, зашил её в мешок, наверх привязал математический анализ и послал это почтой до востребования в Туапсе. Надо было хоть что-нибудь привезти домой в Москву, где о такой муке забыли даже и думать.

Итак, налегке я шагаю по направлению к Туапсе. Заночевать решил в Небуге, где прошлый год мы с Колей провели у моря незабываемый месяц. Прекрасные дни, никогда больше такие не повторялись. Переночевал, а утром зашёл к знакомому почтмейстеру Могильному. Эта остановка могла стоить мне жизни. Прощаясь с почтмейстером, я взял от него письмо в Петроград, пообещав его опустить в почтовый ящик в Москве. Почта не действовала, это письмо ему дала одна дама, которой он был чем-то обязан и хотел отблагодарить. Засунул я его во внутренний карман куртки и зашагал по направлению к Туапсе, по дороге, по которой мы много раз с Колей шагали.

Дорогу длиной километров в двадцать я сделал за четыре часа, а в Туапсе сперва направился на вокзал узнать о поездах, а на почту намеревался пойти оттуда. На вокзале дежурный по станции сказал, что ходят смешанные товарно-пассажирские поезда Туапсе–Армавир, но час их отхода не установлен. Посоветовал остаться на вокзале и караулить. Остался. Вскоре подходит какой-то поезд. Дежурный ушёл к нему, я решил подождать, а потом пойти за мукой. Вид у поезда какой-то необыкновенный. Перед паровозом платформа, борта подняты, из-под которых видны мешки с песком, ряда в три вышиной. Паровоз тоже прикрыт мешками с песком, и красными буквами написано: «Головной отряд товарища Сиверса». За паровозом классный вагон, к которому направляется дежурный по станции. Перрон опустел – остался один я. Глазею на поезд вместо того, чтобы убраться тоже. От поезда отделяются два красноармейца и идут ко мне.

– А ну идём к товарищу командиру!

Я в недоумении.

– А ну пошевеливайся.

Я наконец понимаю, что это касается меня, и иду. Красноармейцы шагают один справа, другой слева, винтовки в руках. Я ещё не понимаю всю серьёзность положения, с тоской оглядываюсь на пустой перрон, со страхом – на классный вагон, куда меня ведут, на надпись на паровозе. С надеждой ищу глазами дежурного по станции, но он идёт от вагона в другую сторону. Через минуту я уж стою в классном вагоне, и меня конвоиры подталкивают к «начальнику».



Не помню совсем его внешность, лишь почувствовал сразу, что это мой враг.

– А ну докладывай, кто ты!

Объясняю, что я бывший студент, а в настоящее время шофёр московского санитарного транспорта, что теперь возвращаюсь из командировки. Лезу в карман за пропуском и командировкой. Вынимаю их из бумажника и тут вспоминаю, как приближаясь к Архипо-Осиповке и сокращая дорогу, подхожу к маленькой речонке. Мостика нет. Разуваюсь, сапоги, кожаную тужурку держу над головой. Воды-то всего – по колено, но что-то укололо меня в ногу. Я дрогнул, потерял равновесие, упал на колено в воду, а со мной и сапоги и куртка. Я их подхватил и через мгновение был на берегу; испугался за деньги, которые были в особом пакете. Они

не промокли, а вот бумажник, в котором были мелкие деньги и документы, промок. Выбросил его содержимое и начал сушить на солнышке. И здесь замечаю, что больше всего пострадал пропуск, особенно печать и подпись. На том и на другом распустилась краска, размазалась и стала фиолетовой из чёрной. Весь пропуск приобрёл какой-то подозрительный вид. О всём этом я тогда забыл и вспомнил, лишь когда подавал бумагу комиссару.

— Фальшивка! — заорал тот. — Обыскать его.

Ничего не находят, кроме письма, переданного мне в Небуге. Комиссар разрывает конверт, а там другой конверт. Рассматривает его и кричит:

— А это кто писал?

Смотрю, на конверте написано по-английски — лондонский адрес. Комиссар разрывает и этот конверт, смотрит и суёт его мне в лицо: меловая бумага с какими-то вензелями и дальше всё исписано по-английски. Я сам ошеломлён. Письмо вырывается у меня и летит на стол. Я не успел ничего ответить, когда вошедший, видно ординарец, кричит:

— Отходим, товарищ командир!.



— Отведите его в штаб, — кричит командир.

Я не помню, как очутился на платформе. «Отвести в штаб (или подробней — в штаб Духонина)» — был в те времена зловещий приказ, означающий вывести в расход. Кончался он обыкновенно тем, что идущий сзади конвоир замедлял шаг, рывком срывал с плеча винтовку и всаживал пулю в затылок «отправляемого в штаб». Всё это вмиг пролетело в моей голове, когда мы двинулись по тропинке вдоль железнодорожного полотна, один красноармеец впереди меня, а другой позади. Тропинка спускается вниз, входит в низкий кустарник. «Вот здесь», — мелькнуло у меня в голове. Но нет, идём дальше, отклоняемся от железной дороги, направляемся к знакомому мне ещё по прошлогодней прогулке по Туапсе зданию Виноградарского училища. Подходим к училищу. Стало легче. Ноги твёрже становятся на тропинку. Передают меня другой страже. Та записывает меня и передаёт мне небольшой кусок бумаги с числом.

— Вот твоё число! Выучи его наизусть, потеряешь бумажку — застрелим, к забору близко не подходи — застрелим. Располагайся там, где хочешь. Смотри, сколько вас там белых бандитов и шпионов.

И он указал мне на огороженную колючей проволокой часть фруктового сада. Под деревьями лежали, сидели, видно, такие же неудачники, как я. Прячу бумажку, подхожу, осматриваюсь. Да, здесь сосредоточено, пожалуй, человек двести. Сажусь, успокаиваюсь, но только чувствую страшную, страшную усталость.

К концу дня узнаю, где я. Это вновь оборудованная новая туапсинская тюрьма под открытым небом. Старая туапсинская тюрьма переполнена. Эта существует уж дней десять. Туапсе теперь фронтовая область. Грузия, провозгласившая себя самостоятельной республикой, решила расширить свою территорию. Присоединили к себе Сочи и собираются присоединить и Туапсе. Советская власть оказывает им сопротивление. Бои с переменным успехом идут километрах в двадцати от Туапсе.

Советская власть за своё недолгое существование в Туапсе нажила много врагов, лозунг которых: «Хоть с чёртом, но против большевиков». Фронт держат остатки бывшей русской армии, отходящей с прежнего турецкого фронта. Опасаясь восстания в городе и удара в спину Красной армии, советская власть задерживает всех, кого можно заподозрить в нелояльности к ней.

Создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволю- 
цией. Эта комиссия и решает судьбу всех задержанных. Днём идёт допрос, кой-кого освобождают, но очень мало. Зато по вечерам на прилегающих к саду виноградниках часто слышны выстрелы: это ликвидируют неугодных. На допрос вызывали по номерам, которые получал каждый задержанный. Вызывают утром. Под вечер вызывают с вещами. С первого допроса возвращаются почти все. Судьба вызванных на вечерний допрос покрыта мраком неизвестности: возможно, выпустили, возможно ликвидировали. На ранний допрос шли все добровольно, на вечерний многие старались не идти. Терялись в общей массе, их разыскивают, проверяя номера почти у всех. Многим удавалось ночью бежать; многих находили на рассвете убитыми у проволочного заграждения. Задержанных не кормят, но через красноармейцев за деньги можно купить еду и курево. О состоянии на фронте никто ничего не знал. Слышна была отдалённая канонада. Каждый считал, что чем ближе будет канонада к городу, тем больше мы, задержанные, имеем шансов окончить жизнь в винограднике.

Первая ночь была ужасная. Что только за ночь я не передумал. Как мне было жалко своей молодой жизни: мне был двадцать один

год, и вот жизнь должна оборваться. Да так глупо, лишь за мальчишескую легкомысленность, самоуверенность. А может быть, это будет мне наказанием за то, что я не прислушался к голосу отца, мамы, сестры, которых я так легкомысленно бросил. То мне было страшно жалко себя, то их, которые будут меня всё ждать и ждать и никогда не узнают, где сложил я свою молодую, глупую головушку. Я беззвучно плакал, всё лицо было мокро от слёз. Забылся я перед рассветом, зарывшись в мокрую от слёз тужурку. В своей жизни мне пришлось ещё раза два пережить такие ночи в ожидании смерти, но эта была самая ужасная, страшная.

На другое утро появились три молодца, вооружённые до зубов; вызвали построиться тех заключённых, которым были выданы карточки с числами, которые они перед тем огласили, говоря, что тот, кто не выйдет, будет и так найден и сразу же расстрелян. Проверив свою карточку, я убедился, что я не в числе вызванных, успокоился и продолжал знакомиться с товарищами по несчастью. Разношёрстый был народ, по-разному переживали положение, в котором очутились. Захотелось мне есть. У меня в голенище сапога кроме студенческого свидетельства были



и деньги. Через караульных солдат можно было кой-что купить съестного, так я купил и закусил. А потом начал опять прислушиваться к разговорчикам. Говорили, что кому-то ночью удалось убежать, что одного пристрелили ночью около забора. Вечером начали опять постреливать в винограднике. Ходили самые фантастические слухи.

Вторая ночь была не такая тяжёлая. Я уже не думал только о смерти, но начал думать и о предстоящем допросе. Выдумывал разные варианты вопросов и ответов. Ответы менял, отвергал те, которые минуту назад казались мне самыми удачными. Ночью опять тревожили, требовали показать номер, искали не вышедших на допрос заключённых. Измученный предыдущей ночью, я спал вторую ночь довольно хорошо.

Утром ждали, кого потребуют на допрос. Один из первых был я, т. е. мой номер. Я вышел, показал свой номер, и нас первых двух повели куда-то вглубь сада, выпустили из проволочного заграждения и подвели к какому-то небольшому зданию. Ждал с конвоем, пока не вывели допрашиваемого до меня. Подвели меня к двери. Сопровождающий меня молодец назвал мой номер. Ждали, пока кто-то изнутри не закричал: «Давай номер!»

Это был мой номер, и солдат втолкнул меня в полуоткрытую дверь. Там сидели два человека, они писали и не обращали на меня внимания. Сидевший ближе к дверям, с правой стороны, производил очень неприятное впечатление, неряшливо одетый в какую-то полувоенную форму. Морда злая, неинтеллигентная, неумытая, редкие, чёрные зубы. На столе перед ним лежал револьвер. Он подозвал меня к себе и сразу же набросился:

– Белогвардеец, шпион! Поймали тебя!

Не помню, как он меня величал. Просмотрев мои бумаги, он потребовал от меня объяснения, для чего я из Сочи пробрался в Туапсе. Я объяснил ему, что я московский студент, на службе шофёром у Московского совета, был в командировке в Новороссийске и теперь возвращаюсь в Москву.

– Врёшь, что делаешь в Туапсе? Шпионишь для грузин и их приятелей? Почему из Новороссийска не поехал в Москву?

Он не давал мне говорить. Он знал одно: я – белогвардейский офицер на службе у грузин и послан в Туапсе поднимать восстание. Он хотел знать, кто мне дал эти фальшивые документы. Он шёл на меня запугиванием, обещая меня сегодня же расстрелять. Уж очень он был груб, неграмотен. Его грубость, постоянное хватание за револьвер, обещание сейчас же меня застрелить, если я не скажу, не признаюсь в моей шпионской деятельности, если меня и пугали, то ещё больше злили и заставляли меня лишь повторять:



– Я не белый офицер, а студент; грузин сроду в жизни не видел; еду домой в Москву.

Опять подымалась рука с револьвером, и опять он его клал на стол. Но самое главное, я увидел, что на столе у него лишь командировочная бумага, а проклятого аглицкого письма нет. Берёт меня на испуг. В руках ничего не имеет. Письмо, видно, осталось у коменданта поезда. Я воспрянул духом, а он стал выдыхаться. Вот он вытащил часы, посмотрел на них и сказал, обращаясь к другому, у окна:

– Мне уж пора идти. Покончите с этим шпионом. – С этим он положил номер и командировку на стол к другому.

Я посмотрел на другого. Тип совсем другой: опрятно одет, приятное лицо с русой бородкой, полная противоположность тому азиату.

– Я слышал кое-что из ваших ответов. Вы говорили, что вы московский студент. Проверим это.

Он задал мне несколько вопросов: где я учусь, какие ещё высшие учебные заведения существуют в Москве, на каких улицах или в каких районах. Как-то мимоходом спросил:

— Хорошо ли ты знаешь Замоскворечье?

— Мы по переезде в Москву жили как раз там, и там я ходил в гимназию.

Потом он спросил, почему я, студент, нахожусь в командировке как шофёр. Я приврал, что не хватило денег и надо было подрабатывать. Он спрашивал таким дружественным голосом, что я сразу понял: это свой брат студент. И к тому же — московский. Решил с ним немного пооткровенничать. Говоря о получении командировки, прибавил, что я сам на неё напросился, потому что недалеко от Новороссийска в санатории лечится моя знакомая девушка, тоже московская студентка, что мне захотелось её видеть и по исполнении поручений побывал у неё, прозевал возможность ехать обратно через станицу Тихорецкую и теперь еду в Москву, делая огромный крюк. Он слушал, что-то обдумывал, потом опять вернулся к Замоскворечью, спросив — знаю ли я Пятницкую улицу. Знал я её хорошо — шла параллельно с Полянкой, на которой я жил два года. Об этом я ему и сказал.



— Ну, вижу, попали в кашу. Охотно вам помогу.

Взял мою командировку, написал что-то в углу её, а потом прочёл написанное:

— Проверен, возвращается из командировки, — и продолжал. — Когда приедете в Москву, зайдите на Пятницкую улицу. Там, недалеко от чугунного моста, на правой стороне есть булочная Савельева. Не спутайте с филипповской, такая тоже там есть. За кассой сидит блондинка, так спросите её, есть ли у неё брат Лёня. Если есть, скажите ей лишь, что Лёня жив и здоров, видели его недавно на Кавказе. Если скажет, что брата Лёню не имеет, так спросите, нет ли ещё другой кассирши и, если будет, найдите её.

Он написал ещё какую-то бумажку, сказал, чтобы я отдал приведшему меня молодцу. Прибавил, что меня по этой бумажке освободят и посоветовал нигде больше в Туапсе не задерживаться и не идти на вокзал:

—В Туапсе могут вас опять задержать, а потому идите по железной дороге до первой [станции], ещё лучше до второй, и там ждите поезда.

Не знаю и не помню, как я попрощался с ним, но уже через десять минут был за воротами «концлагеря», этого преддверия ада, из которого мне так легко удалось вырваться.

Как быстро меняется настроение! Я сразу ожил, опять был полон энергии. Пришибленности как не бывало. Но муку не забыл, наверно, где-то хорошо закусил, и опять бодро зашагал по дороге, идущей равнобережно с железной дорогой подальше от моря, от Туапсе, вглубь Кавказа.

Я был счастлив, ноги несли меня, как крылья. Жить было опять так хорошо! Мне помнится, что станция, на которой я уже без всяких приключений дожидался поезда, называлась Солдатской. Командировочное удостоверение я разорвал. Новая свежая печать на подмоченном разрешении на выезд и въезд в Москву – было самое важное. Добрался до Армавира и поехал к Минеральным Водам. Вот и Минеральные Воды. Отсюда рукой подать до Пятигорска, Ессентуки. Над всем этим возвышается всегда заснеженный Эльбрус. Его можно видеть и за 100 км со всех сторон.

На перроне вокзала в Минеральных Водах – курортная публика, если не фешенебельно, то во всяком случае культурно одетая. Шляпки, зонтики – всё, что в Москве исчезло.



Пятигорск–Лермонтов–Пятигорск – я никогда ещё там не был, а до него всего километров пятнадцать, ходит дачный поезд. Я долго не раздумывал. Мука сдана на хранение, я сижу между опрятной публикой открытого вагончика, гляжу на вершины гор, любуюсь ими, и мы уже в Пятигорске. К центру идёт обсаженная какими-то прекрасными деревьями аллея.

Иду по ней и вдруг слышу отдельную беспорядочную стрельбу. Стреляют где-то в центре Пятигорска. Стрельба меня остановила. Присел на скамейку, потом увидел бегущих красногвардейцев вперемешку со штатскими. Красноармейцы иногда останавливаются и стреляют туда, откуда бежали. Становлюсь за дерево, жду. Дорога пуста, потом – такой знакомый шум приближающейся конницы. С гиканием пронеслась группа казаков в черкесках, в одной руке сабля, в другой – карабин. Они несутся к вокзалу. Пронеслись. Опять тихо. Стрельба со стороны вокзала. Я опять сел на лавочку. Вытащил из кармана бумажку с новой печатью и засунул её за голенище. В карман положил лежавший до того времени за голенищем студенческий билет – вид на жительство, ещё старого

образца. Училище называлось Императорским, в рубрике «звание» было написано «сын потомственного дворянина». Почему-то я ещё не выменял этот билет на новый. Не всегда было можно им удостоверить личность.

Посидел ещё часик, курзалы Пятигорска перестали меня манить, и пошёл обратно к вокзалу. На вокзале тихо. Туда и сюда сновали казаки, молоденькие офицеры опять со старыми погонами, учащаяся молодёжь – студенты, гимназисты.

Узнал, что красные комиссары и красноармейцы удрали по направлению к Минеральным Водам. В Пятигорске генерал Шкуро поднял восстание. Наспех составляли поезд и собирали отряд для захвата Минеральных Вод. Генерала Шкуро я не видел, говорили, что он с отрядом терских казаков поскакал к Минеральным Водам.

Взял опять свою муку и поехал на открытой платформе со студенческой молодёжью, из которых многие имели винтовки. Красных там уже не было – бежали по направлению на Армавир. Мне было хорошо с новыми приятелями. Советовали они мне бросить муку и присоединиться к ним. Влекло меня это, но

вспомнил Москву и решил – сперва вернусь в Москву. Шкуро решил закрепиться, укрепить Минеральные Воды, а я, переночевав на вокзале, на другой день двинулся дальше, по направлению к Каспийскому морю, которое было ещё очень далеко.

Из дороги: Минеральные Воды–Моздок–Кизляр–пристань Брянская вспоминаю лишь некоторые эпизоды. Я один [среди] разнокалиберной публики, которая движется к Каспийскому морю. Никто нас не трогает, билетов мы не покупаем просто потому, что купить их не у кого. Властей не видно никаких. Местное население сидит по своим хуторам, передвигаясь на конях. Поезд останавливается, чтобы пополнить запас топлива и воды. Топливо добывается разными способами, всегда нелегальными. Мой мешочек с мукой цел, наверх его я привязал «Математический анализ». Он, видно, и привлёк ко мне попутчика, с которым мы ехали дня четыре. Он, пожалуй, вдвое старше меня. Учитель Владикавказского кадетского корпуса. Новая власть корпус разогнала. Кадетики разбрелись.

Мой попутчик, буду его звать полковник В., пробирается к себе домой, куда-то на Волгу. У него три чемодана, в них всё его имущество. Он уже десять дней в пути. Он запуган и, видно, от

природы трус, но воспитан, опрятен, честен, разговорчив. Ему давно не удавалось ни с кем отвести душу. Он вцепился в меня. Я стал его нянькой, а он непослушным ребёнком.

Когда мы добрались до Моздока, с поезда сняли мёртвых и умирающих. Холерные случаи. Паника. Ни глотка сырой воды, никаких фруктов. Есть как можно больше чесноку и пить красное вино. Вина здесь сколько хочешь, ведь кругом виноградники. Мой спутник поддался общей панике. В Моздоке ничего не пили, ничего не покупали. На первой остановке от Моздока жажда нас выгнала с поезда. Идём искать вино и чеснок. Сдали вещи на хранение в сторожевую будку и пошли в ближайший казачий хутор.

В первой же казачьей хибарке дюжий казак пригласил нас к себе и сразу же завёл в винный погреб. То из одного, то из другого бочонка хозяин наливал нам вино на пробу. Полковник был знаток и любитель. Я пил в своей жизни очень мало вина, пил потому, что страшно хотелось пить. Достали мы здесь и связку чеснока, на прощанье при расчёте хозяин дал на дорогу большую бутыль, и мы пошли обратно.

Но до поезда не дошли, его, наверно, там уже и не было, а мы свалились в молодом лесочке, недалеко от станции. Когда на другое утро проснулись, у меня страшно болела голова, полковник бодрился. Поехали дальше под вечер на другой день. Через день или два мы были в Кизляре, где кончалась железная дорога. От Кизляра до пристани Брянская, где останавливались пароходы, идущие в Астрахань, было километров шестьдесят. Это меня не пугало, ведь со своим мешочком я мог осилить их дня за два. Полковник хныкал. Узнали, что здесь по намеченному нами пути ходят повозки. Нас было сотни две. Хозяева повозок, посоветовавшись между собой, заявили, что берут лишь багаж, а пассажиры могут идти при повозках. Цены были немилосердные, но в них была, как оказалось, засчитана и вода для питья по дороге. Дорога идёт солончаковой степью, вода в колодцах солоноватая, непривычный не станет пить. Лошади и кони пьют, а люди пьют воду из близкого Терека.



Как-то сговорились, и целый караван повозок двинулся в дорогу. Я шёл, несмотря на жару, легко, полковник проклинал всё на свете. Спали где-то в песчаной степи, возчики продавали хлеб, баранки. На другой день путешествия со стороны Каспийского моря показались какие-то необыкновенные тучи. Что

это не грозовые тучи, а саранча, нас сразу предупредил хозяин лошадей.

– А ну, кто не боится лошадей, встаньте перед ними, закройте им глаза и ноздри. Держите за повод.

Нас несколько уж было у лошадей, через минуту стало темно, как бывает при затмении солнца. В шею, в уши, в спину стала ударяться саранча, запутываться в волосах. Лошади стояли смирно, видно, уже привыкли к таким нашествиям. Потом начало светать, появилось солнце, кругом всё было осыпано саранчой. Она похожа на небольших кузнечиков, но не такая подвижная. Мы начали стряхивать её с себя, вытаскивать из волос, скоро двинулись дальше. Шли как по только что выпавшему снегу, колёса оставляли глубокий след в массе саранчи на земле. Кустики, редкие деревья были без одного листочка, и травы не было видно. Всё поела саранча. По дороге нам пришлось миновать сидевших людей. Около них лежал мёртвый или умирающий член их семьи. С опаской мы быстро прошли мимо, полковник закрыл платком рот и сделал большой круг, чтобы обойти их.

Мы приближались к пристани Брянской. Ещё далеко до пер-

вых её хат стоит кордон из пеших и конных казаков. Никто не смеет вступить в хутор:

– Занесёте холеру. Вот видите, там на столбе развевается жёлтый флаг. Это чтобы пароходы не останавливались у пристани и не разносили холеру по целому свету.

Наши повозки казаки направляют к какому-то скоплению людей в полукилометре от дороги. Там целый лагерь злополучных путешественников: сидят, лежат, укрываясь чем попало от жарящего солнца. Узнали, что карантин объявили за три дня до нас. Пароходы проходят мимо. Воду и продукты приносят казачки из хутора, за всё берут лишь романовские деньги да серебро.

Оставив полковника с вещами, я пошёл оглядеться. К морю можно было пройти. Разделся и сразу же полез в воду. Но ведь это не море, это – лужа. Иду, иду, а воды всё по щиколотки. Отошёл, наверное, метров 200, а вода не достигла и колен. Лёг на дно, прикрытое водорослями. Противная, тёплая, солёно-пресолёная вода. Но всё ж приятно смыть дорожную пыль, вернее, грязь. Потом по водорослям бреду к берегу. Недалеко от берега встречаю группу людей. Они о чём-то договариваются. Оказывается, местный рыбак, казак, здоровый детина, набирает охотни-

ков на своё рыбачье судёнышко. Вечером едет в Астрахань, вернее, на астраханский шестиметровый рейд, находящийся в двадцати километрах от Астрахани, у которого останавливаются пароходы Каспийской флотилии, идущие в Астрахань. Можно взять с собой человек двадцать, цена двадцать пять рублей романовскими. Если будет попутный ветер, можно двести пятьдесят километров одолеть за полтора дня, а без ветра можем проваландаться в пути и три дня. Запас пресной воды на баркасе (так он называл своё судёнышко) на два дня на двадцать человек. Есть там и мешок подмоченных сухарей, которые по сходной цене может продать пассажирам. Деньги он требует вперёд, указывает на большую плоскодонную лодку, привязанную к колу довольно далеко от берега.

– На ней буду перевозить вас до баркаса, собираться здесь, через два часа стану перевозить.

У меня ещё есть последняя романовская двадцатипятирублёвка. Решаю ехать. Возвращаюсь в лагерь, нахожу полковника, сидящего опёртым на свои чемоданы, пьющего красное винцо и играющего с какими-то подозрительными компаньонами в карты. Уже захмелевшим голосом он отказывается ехать. Ему здесь хорошо, и здесь он будет ждать снятия карантина. Даёт мне адрес жены и просит послать ей из Москвы весточку, что он в дороге домой. Через час я был опять на берегу. Собралось больше двадцати путешественников.



В первой партии на плоскодонке, погоняя двумя шестами, добрались мы до стоящего на якоре баркаса. По дороге сдружился с шустрым молодым пареньком, и мы ещё до отъезда рыбака за второй партией купили по фуражке сухарей и, когда рыбак отвалил, начали устраиваться. В середине лодки был вделан какой-то ящик, плотно закрытый крышкой. Открыли её, внутри лежали сети, канаты, рыбная чешуя. Сообразили, что это ящик для пойманных рыб. Раскладываем поудобней сети и канаты, и, хотя мне приходится подобрать ноги под себя, в общем лучшего места не нашлось бы, а во время дороги я привык спать во всех позах. Лодку немного покачивало, и мы ещё до приезда второй партии, надвинув крышку, убаюканные, уснули. Спали мы долго и крепко, а проснувшись почувствовали, что лодка не то стоит, не то двигается очень медленно. Хотели поднять крышку и вылезти на свет Божий – это удалось с большим трудом.

На крышке сидели, и нам долго пришлось стучать и стараться приподнять крышку, пока сидевшие на ней поняли, что под крышкой кто-то есть. Баркас стоял. Пассажиры все мокрые сушили одежду. О том, что два пассажира в ящике, или не знали, или забыли.

– Так бы и пошли ко дну не проснувшись, – так было встречено наше появление.

– Что случилось, где мы? – отвечали мы.

И вот что мы узнали. Вскоре как баркас отчалил, подняли парус, свежий попутный ветер начал усиливаться и перешёл в ураган. Ливень, гром, молнии, огромные волны бросали баркас. Все рассказывающие были уверены, что пришёл их последний час.

– Вот у той несчастной, – и они показывали на плачущую женщину, – парнишку смыло волной. Ад кромешный.

Так характеризовали они пережитое ночью. Ох, как я пожалел, что всё это не пережил, не видел бешеных волн, не почувствовал, как баркас то вылетал на гребень волны, то падал в бездну. А я спокойно проспал в рыбном ящике. Ящик был в середине лодки, а там качает наименее. Ведь нас даже не тошнило. Да и теперь мне жалко, что я не ощутил бурю в море в небольшом баркасе. Много раз об этом читал, а непосредственных переживаний не имею. Баркас, двигаемый четырьмя вёслами, медленно плыл вперёд. Оказалось, что за ночь мы пролетели расстояние в дыести километров. Оставшиеся двадцать, постоянно меняясь у вёсел, мы одолели к вечеру.



Из поездки пароходом от 6-метрового рейда до Астрахани остались у меня лишь неприятные воспоминания о пассажирах-персах. Их было очень много. Не надо удивляться, ведь южная часть Каспийского моря омывает берега Персии. Эти персюки – народ крикливый, грязный и драчливый. Всё время они кричали один на другого на каком-то гортанном языке, дрались, кусая один другого даже в лицо под гогот соплеменников. С радостью я покинул пароход в Астрахани. На пристани и около – груды рыб. Рыбный запах, я бы сказал – вонь, преследует тебя всюду. Вот и всё.

Поезд – и на этот раз из разбитых классных вагонов – повёз меня в Саратов. У меня по дороге от Астрахани до Москвы несколько раз проверяли документы. Всё прошло благополучно. Но вот с мукой я имел три раза неприятности. Стойко за неё бо-

ролся. Первый бой из-за неё произошёл на какой-то узловой станции. Опасный участок этого пути (в смысле постоянных проверок, когда мы ехали у границ уральских казаков, башкирцев-сартов, которые волновались) я проехал с кучкой новобранцев-красноармейцев. Я выдавал себя за фронтового шофёра-механика, у меня был табак, и порядочно, у них – продовольствие, и они выдавали меня за члена отряда. На узловой станции они поехали в другом направлении, а я остался ждать своего поезда. Сидел на скамейке, а около меня лежал мешочек с мукой. Появился матрос-комендант, тип московского коменданта-матроса, но не пьяный.

– Что там, мука?

– Мука.

– Муку перевозить запрещено.

И, несмотря на моё сопротивление, взял силой мешок, подошёл к соседней открытой двери, открыл её и бросил мой мешок на груду там уже лежащих. Не взглянув на меня, пошёл дальше, видно, опять конфисковывать муку. Я сперва, видимо, остолбенел, а потом рассвирепел, подошёл к двери, которая была только закрыта, но не заперта, взял свой мешок и уселся с ним на старое место. Я сам, наверно, не соображал, что я делаю. Был страшно разгорячён. Появился опять матрос, увидел меня и рядом мешок, тоже рассвирепел. Схватился за револьвер:



– Застрелю!

– Стреляй, а спроси сперва, у кого отобрал муку, – сгоряча я ставил всё на карту. – Расписку мне дал? Документы почему не спросил?

– Так покажи.

Показываю бумагу с туапсинской печатью (она уже перекочевала из голенища в карман тужурки!) и тычу пальцем в печатку:

– Мука командировочная, не имеешь права отбирать!

– Ну, ладно, покричали и довольно, – кончает он как-то так наш разговор.

Мука спасена. На пути из Саратова в Москву я ещё раз чуть не потерял её. Были мы уж не так далеко от Москвы, когда наш поезд был остановлен в поле. Из вагонов никого не выпускали, зато в них влезали вооруженные красноармейцы. А ведь половина пассажиров, если не половина, так четверть, везла муку, припрятанную как кто умел. Одни везли её домой, купленную

за большие деньги где-то далеко, другие просто для спекуляции, но намучились с ней довольно и те и другие. Все прятали муку, где могли. Но красноармейцы тоже были опытные в этом деле. Быстро находили её и через заранее открытые окна выкидывали на полотно. Я сидел на своём мешочке, наверху которого была привязана книга. Меня столкнули с места, и мой мешок тоже полетел в окно. К ругательствам других присоединились и мои.

– Берём для рабочего класса Москвы. Кто против него? Не лезь, а то сам полетишь в окно, – кричал руководящий обыском.

Я стал у окошка и смотрел на громаду мешков, мой лежал на одной из куч. Грабёж кончился, красноармейцы повыскакивали из вагонов, поезд приготовился к отходу. К нему подходила какая-то группа людей, видно, старшее начальство. Я решился, выскочил из вагона, подбежал к ближайшему ко мне:

– Товарищ, у меня командировочную муку забрали.

– Так бери её обратно, – и он смеётся.

Мешок был спасен. Ещё один раз пытались у меня его забрать на вокзале в Москве. Но я понял значение выдуманного мной слова «командировочная» и нахально прошёл мимо обыскивающих.



Итак, я дома. Путешествовал немного больше месяца. Радостно меня встретили дома. Никаких упрёков. В один голос говорили, как я похудел, загорел, возмужал. Особенно счастлив был отец. Вернулся я здоровым, вовремя, как обещал, и видно: был в переделках и не пропал. Всего, конечно, я не рассказывал. За моё отсутствие положение в Москве, и в частности у нас, ещё более ухудшилось. На другой день нашёл булочную, кассиршу-блондинку. Была там масса народу. Хлеб давали по талонам. Передал, что просил её брат:

– Лёня жив и здоров.

– Где он? Что с ним?

Ответил, что видел его всего несколько минут на железной дороге на Кавказе, больше ничего не знаю. Публика меня толкала, и мне это было на руку. Была ли она его сестрой? Пожалуй, да.

Потом по телефону связался с братом доктора из санатории Архипо-Осиповки. На этом несколько задержусь.

Мы встретились с ним в ресторане какого-то вокзала. Он был немного старше меня. В прошлом студент-юрист, теперь – не

явившийся на регистрацию и потому скрывающийся прапорщик. Небольшого роста, энергичное смуглое лицо. Его, знающего хорошо немецкий язык, прикомандировали к штабу армии для допросов пленных немцев, а потом, тоже как переводчика – на Брест-Литовских мирных переговорах. Он мне рассказал, сколько всем участникам переговоров, и самым старшим, пришлось перенести унижения, пренебрежения со стороны немцев. Что ж, немцы имели на это моральное право. Брест-Литовский мир был похабный, позорный для русского люда.

– Мне, – говорил он, – хотелось плакать за русский народ, доживший до такого унижения.

Дождавшись перерыва в переговорах, он пробрался домой в Москву, а теперь был бы рад удрать из Москвы. Я рассказал ему точно маршрут дороги, по которой только что прошёл, предложил спешить, так как обстоятельства каждую минуту могли измениться. Мы встретились ещё раз. Я передал ему для Маруси учебник французского языка, в толстый переплёт которого я, старательно замаскировав, вложил деньги для Маруси, сказав, конечно, об этом ему. Фамилию его помню до сих пор. Звали его Вадим Ансеров. Он уехал.



Ещё несколько слов о Марусе – ведь она была как-никак одной из причин описанного путешествия. Я сам больше не попал на Кавказ. А через два года, уже в Турции, в Константинополе, продавал я на Галатском мосту* «пупсиков». Это маленькие целлулоидные фигурки голенького ребёнка высотой так сантиметра в два. Прекрасные, весёленькие, хорошо продавались. С ними, засунутыми между пальцами левой руки, я кричал:

– Пупсики-цупсики, он еки бучек (двенадцать с половиной).

Подошёл наш брат эмигрант.

– Вы не бывали на Кавказе в Архипо-Осиповке? – спросил он меня.

– Да, был года два тому назад.

Я узнал тоже его. Он жил близко от Маруси, лечился или скрывался – не помню, заходил к Марусе. Она, видно, ему нравилась, и он сразу же заговорил о ней. А может быть, я первый спросил. Узнал, что зимой умерла мать Маруси, сама же она выздоровела и вскоре вышла замуж за приехавшего из Москвы

---

* Мост через бухту Золотой Рог в Стамбуле.

брата доктора. Дальше о ней он ничего не знал, так как ушёл в армию. Мне стало немножечко грустно, но в то же время легче на душе.

Коллегу К. я больше не встречал, хотя посещал училище. Видно, тот уехал из Москвы. Думал я, и сейчас ещё думаю, описывая путешествие, какую роль я играл и кем был — обыкновенным курьером, а коллега К. организатором курьерской службы какой-то нелегальной организации? Была ли это организация политическая, военная или промышленников? Не знаю. Думаю всё ж, что это была организация промышленников, ведь коллега К. был близок к промышленникам.

Но это не важно. Важно, что такие организации были, что организаторы их не преследовали лишь свои личные цели. Нет. Русский человек, а особенно — русский мыслящий человек не мог не выступить с открытым протестом против непристойных слов «мы старый мир разрушим до основания». Старый мир создавали наши отцы, деды, прадеды. Они дали России и всему миру много великанов духа, чести, ума, великанов искусства во всех его проявлениях. Выступить против этих слов, бороться с разрушительным влиянием их должно было каждому сознательному русскому человеку.



Я и раньше рассказывал о здесь написанном.

Некоторые говорили:

— Вы любитель авантюристических переживаний.

Я сейчас задумываюсь над этими словами. Нет, это не совсем так. Авантюристы имеют всегда на первом месте себя, свои личные выгоды, хотя бы и в далёком будущем. Я их не имел. Нет.

Я был легкомысленным, был непоседлив — не любил только плыть по течению, искал чего-то своего, и часто очень неудачно. Но эгоистичным не был.

*В Братиславе, конец января 1978*

## Последние месяцы в Москве. Бегство

Конец августа 1918 года. Наконец был найден повод для удаления отца с фабрики. Когда один молодой рабочий беззаботно курил в помещении, где курить было запрещено, потому что там было много взрывчатого материала, отец выругал его и перевёл в другое отделение. Недели через две отец был вызван в трибунал по обвинению в оскорблении рабочего. Эти трибуналы были недавно введены, чтобы убедить рабочих в том, что диктатура пролетариата не только на бумаге, но и в жизнь проводится.



Трибунал заседал в Кремле, и на заседаниях присутствовали рабочие многих московских предприятий. За один день решали до двадцати случаев нарушения прав рабочего класса. Начиналось демагогическим выступлением прокурора, который клеймил буржуазию, призывая рабочих заставить её служить рабочему классу. Потом коротко, по отдельным предприятиям, читались случаи нарушения прав. Сообщалось имя потерпевшего, имя оскорбителя и слова, которые были при этом употреблены.

Я пришёл вместе с отцом и был удовлетворён тем, что отец, оскорбляя рабочего, употребил своё обыкновенное ругательство «Ах ты, чёртова кукла». Несколько раз это выражение я от отца слышал и всегда думал: откуда он его взял? Решил, что, наверное, в детстве ему оно понравилось. Сильных, нецензурных ругательств отец никогда не употреблял. Когда были прослушаны все случаи оскорбления рабочего класса, председатель трибунала обратился к присутствующим с вопросом: «Что с ними?» – Всеобщий крик: «Вон с ними!»

Потом трибунал удалился на совещание и через час возвратился. Читается приговор. Отца приговорили к лишению права занимать должность, при которой он приходил бы в соприкосновение с рабочими. То есть вон с фабрики. Всю эту процедуру отец очень тяжело перенёс. Он двадцать пять лет работал с рабочими. Его любили, уважали за мирный характер, доброту, доступность. Ко всему этому у отца тогда очень болело плечо. Недели за две перед тем отец упал и сломал ключицу. Плечо было в гипсе, ему надо было лежать, но он не хотел, чтобы рабочие думали, что он прячется, и приехал.

Через неделю отец был снят с должности управляющего фабрикой и переведён в центральное управление. Квартиру управляющего на заводе мы вынуждены были оставить. Взяли с собой лишь ценные вещи, бельё, верхнюю одежду и переехали к дяде Володе на Новую Басманную. Остальные вещи были перенесены в заводские склады. Всё это было быстро и ловко сделано рабочими фабрики. Уезжая, думали, что уезжаем ненадолго.

С переездом правительства из Петрограда в Москву свободных квартир стало мало. Квартиры реквизировались, никто не



знал, кто распоряжается ими. Дядина квартира была большая — десять комнат. Дядя Володя (мой любимый дядя, человек редкостного благородства, доброты, честности) женился на вдове своего двоюродного брата, получив в приданое четырёх подрастающих девиц и одного мальчика. Скоро и у дяди появилась маленькая Анечка. У дяди ещё жила сестра, тётя Аня, да старая гувернантка, воспитавшая детей его жены, а теперь заботившаяся об Анечке.

Тётя Лина, так звали жену дяди, год тому назад умерла от рака желудка, три дочки уже вышли замуж и жили отдельно. Анечке тогда было лет восемь, была она больным ребёнком, имела астму. Московский климат ей был вреден, и она большую часть года жила или за границей, или в Крыму с гувернанткой. Там в Судаке было именьице дядиных падчериц. После октябрьской революции там жили почти все бывшие обитатели квартиры на Басманной.

Переехал из Петрограда и Василий Петрович Авенариус*, брат дедушки. В Москве с продовольствием было лучше, и он поселился

* 1839–1923, известный в своё время беллетрист, автор многочисленных исторических романов.

на Басманной. Тогда как раз и мы переехали. Жили там ещё дядина кухарка и горничная, да с нами переехала наша горничная Маня. Переехали мама, папа и Оля, мне пришлось устраивать жизнь по-своему.

Пожалуй, год как существовала Чрезвычайная комиссия по борьбе с саботажем и контрреволюцией (ЧК), на каждом предприятии была её ячейка. Была она и на нашей фабрике. Нужно было ей проявить свою бдительность, так взялись за меня. Откуда-то узнали, что я участвовал в московском восстании. Доказательств имели мало, потому начали следить за мной. Узнал я это от рабочих. Надо было быть начеку. А тут подвернулась подходящая работа – заведующим студенческой столовкой. Брат Маруси, о котором я уж писал, устроил меня там. Студентов в Москве ещё было мало (каникулы), так конкуренция не была большая. За два дня я познакомился с работой и принял столовку. Она была близко к Серпуховской площади. Большой двухэтажный дом. Внизу кухня большущая, кладовые и две комнаты: одна большая, другая маленькая. В этой маленькой я и поселился. Прописываться в милиции не нужно было. Часа в три я бывал уже свободен и шёл на Басманную, где оставался до восьми-девяти вечера.



События шли своим чередом. Учредительное собрание, которое должно было решить государственное устройство бывшей Российской империи, было давно разогнано. Среди депутатов, съехавшихся со всех концов России, коммунистов было всего 15%, но власть в руках имели они. На первое же заседание Учредительного собрания явились вооружённые красноармейцы и матросы. Матрос Дыбенко* за ухо вытащил председателя заседания Виктора Чернова, левого социал-революционера, вон из залы, заработали приклады и по Учредительному собранию. Но это было за несколько месяцев перед описываемыми теперь событиями.

Нельзя забыть голод. Он стучался не только в двери изнеженной буржуазии, но и в дома рабочих, вообще всего населения Москвы. Нововведения всегда принимаются с недоверием, а революционные, часто необдуманные, одни другим противоречащие, не способствовали укреплению авторитета власти. На неё

---

* На самом деле анархист А. Железняков, который, командуя разгоном Учредительного собрания, ссылался на «инструкцию» наркомвоенмора П. Дыбенко.

смотрели как на что-то временное, недолговечное; полагали, что власть вот-вот сама откажется от своих опытов и от ведущей роли. Одним словом, все чего-то ждали, ничему не удивлялись, посмеивались в кулачок, поругивали, конечно не слишком громко, терпели. Те, кто на лето уехал из Москвы, не собирались возвращаться; те, у кого были родственники на Юге России, старались отослать туда хотя бы детей. На окраинах России, где процент рабочего класса был невелик, где власти не было на кого опереться, недовольство проявлялось открыто — восстаниями. Слухи о них доходили и до Москвы. Из наших московских родственников и знакомых осталось в Москве мало.

Моя работа в столовке мне нравилась. Был я всегда окружён студенческой молодёжью обоего пола. С персоналом я ладил, и кроме того, я всегда имел возможность у себя кого-нибудь приютить на ночлег и прикормить.

Столовка же понемногу превращалась из студенческой в общественную. Меню состояло из картофельного супа или жиденьких щей (конечно, без мяса), винегрета (из картошки и свёклы) — его брали нарасхват, картофельных котлет на подсолнечном



масле, картофельного пюре. Позабыл о капусте, которая в первый месяц моего пребывания в столовке была не редкость и подавалась во всех вариантах. Но потом исчезла. Перестали получать и подсолнечное масло, зато присылали перловую крупу, хлеб давали по небольшому ломтику. По воскресениям получали немного мяса для супа.

Внизу столовки была кухня. Был там повар, его помощник, кухарка и две судомойки. Наверху в зале работали шесть курсисток. Кассирша — пышная брюнетка (мы звали её «куколкой») и пять официанток. Двух из них хорошо помню: миловидная блондинка, неутомимая и всегда весёлая, безобразно много, но изящно курившая. Я прозвал её «папиросочкой» — вечно спрашивала:

— А нет ли у вас лишней папироски?

Ещё донская казачка «Лида-недотрога» — интересная серьёзная курсистка. Других помню слабо. Был и дворник. Обедающих было человек пятьсот. Столов было много, обедающие не задерживались.

В Замоскоречье был уж свой местный совет. Многих из старших служащих этого совета не удовлетворяла «картошка с картошкой». Были у них свои возможности. Обедали они отдельно внизу в моей

комнате. Откуда-то присылались: рыба, да не простая, а сибирская, солёное сливочное масло, консервированное молоко, кофе. Раз прислали целый мешок изюма. Про него все забыли, кроме меня. Обед для них варил сам повар отдельно. Я смотрел лишь, чтобы эти редкие продукты не особенно разворовывались, чтобы что-то оставалось для моих на Басманной и для моих приятелей. Отчётность велась отдельно – мной и поваром.

Подходишь вечером к столовке, так [часам к десяти], а по улице около неё уж ходят человека три-четыре. Это были мои новые знакомые по столовке студенты.

Недавно были ликвидированы левые социал-революционеры, одна из многочисленных партий на Руси. Храбрые ребята. Их гимн «Вы жертвою пали в борьбе роковой» был теперь строго запрещён, после разгона партии. Лет десять назад опять его вспомнили, поют при погребении товарищей.

Разгромлена была и партия анархистов. Первых прикончили, когда они, протестуя против подписания Брест-Литовского мира с немцами, убили первого немецкого посланника в Москве графа Мирбаха. За убийство одного немца заплатили жизнями многих-многих членов партии левых эсеров. Ну, анархисты [ещё были]. Буржуазные газеты были уже закрыты, а газета «Анархия – мать порядка» нет-нет да и выпустит номерок. 

Вот с некоторыми из студентов, членов этих партий, и свела меня судьба. Не все погибли, некоторым удалось бежать из Москвы, а некоторые не хотели покидать Москву, скрывались в ней. Надо им было где-то спать, кормиться. По очереди, часто меняясь, они вечерами меня ждали у столовки. Дворник получал своё и молчал, а я провожал их к себе, потом мы шли в кладовку. Там набирали миску щей (предварительно выбросив из котла плавающую крысу, с которыми в старом доме было невозможно бороться), потом ещё что-нибудь повкусней. В карман набирали изюму, всё это съедалось у меня в комнате. Кто-нибудь оставался спать на печке в кухне.

Хорошие были ребята. Двух из них как сейчас вижу перед глазами. Чем кончил Серёжа? А с Игорем Саблиным мы встречались потом.

По просьбе наших кельнерок-курсисток мы устраивали наверху столовки в зале вечеринки с пением, танцами и самогоном. Ведь молоды все мы были.

А у наших на Басманной я бывал часто по вечерам, уходя часов в девять. Приехал дядя Володя из Крыма. Он был когда-то страстный охотник и исходил с ружьём всю Европейскую Россию. Всюду были у него приятели. Это ему и помогало при его нелегальных переездах из Крыма в Москву. Так вот и теперь он приехал взять в Товариществе В.К. Феррейн, в котором он был одним из директоров, сколько можно из своих вложенных денег.

Узнали мы от него много о жизни за пределами Москвы. Привёз он нам письмо от папиного брата дяди Коли, который вернулся с военной службы на старое место в Сороках в Бессарабию. Писал, что он постарел, много пережил, но с новой энергией взялся за прерванную работу в Сороках. Ему было известно о тяжёлой жизни папы в Москве, о его сломанной ключице. Звал он нас к себе, вспоминая прошлое, хотел нам теперь помочь. Сообщал, что Оля могла бы устроиться учительницей в сорокской женской гимназии. На семейном совете, обсудив все за и против, поспорив и погорячившись, решили принять предложение дяди Коли. Написали дяде Коле письмо, которое дядя Володя обещал послать из Крыма. Поедут папа, мама, Оля.



Мне ехать с ними нельзя. Родители и сестра могли получить разрешение на выезд (голодных ртов будет меньше); мне как военнообязанному разрешение не дадут, и вообще лучше не попадаться властям на глаза. Я, имея уже опыт путешествий, должен был бы приехать за ними окольными путями.

Кажется, на другой или третий день, придя к нам, я нашёл квартиру в разгроме. Стены в двух комнатах были разворочены, валялись горшки от цветов, расколотые тумбочки, на которых стояли цветы, в некоторых комнатах местами сорванные обои. Мне рассказали, что были непрошеные гости с обыском.

Вот как всё было. Дядя Володя вернулся после обеда из правления. Удалось получить большую сумму из вложенных в предприятие денег.

А теперь маленькое разъяснение относительно новых законов о хранении драгоценностей и денег: больше тысячи рублей никто не имел права держать дома, золото только в форме обручальных колец. Наказание – конфискация, при больших суммах – расстрел. Банки были уже давно национализованы, но чтобы не создавать панику, разрешалось брать из них не более тысячи рублей.

Часов десять вечера, я уже ушёл, звонок. Появляются не-

сколько человек неприятной наружности, с ними два красноармейца с винтовками. Один красноармеец у парадных выходных дверей, другой при кухне у так называемого чёрного хода. Предъявляют ордер на обыск и запрещение выхода из квартиры. Всех собрали в столовой, дядя Володя, как хозяин квартиры, остаётся в их распоряжении.

Обыск продолжается до глубокой ночи. Перевернули всё вверх дном. Десять комнат, множество гардеробов, комодов, буфеты, шифоньерки, книжные шкафы, письменные столы. Шли из комнаты в комнату, начиная с дальней. Всё: бельё, одежда, книги выкидывалось на пол, просматривалось, отрывалась подкладка. Дядя Володя рассказывал, что больше всего их приводили в ярость пустые коробочки от драгоценностей, ювелирных изделий. Дядя Володя объяснял, что всё это когда-то принадлежало его падчерицам, они повыходили замуж, разъехались, а коробочки остались. Конечно не верили, искали, простукивали стены. Вот оно, – казалось нашли, ломали стену – оказывалось вентиляционный створ или что-нибудь в этом роде.

Другие занимались книгами, письменными столами. Лично обыскали лишь дядю Володю, но поверхностно. А наши сидели и пили чай, самовар несколько раз подогревался. Сахара не было, так пили с сахарином, только для того, чтобы скоротать время. Горничные бегали, охали, ругались:



– Ведь за неделю не уберём, что вы здесь наделали.

Их гнали на кухню. Настроение обыскивающих с минуты на минуту становилось хуже. Устали и всё зря. Папа начал бояться. У него в бумажнике было раза в три больше, чем разрешено. Василий Петрович (дядя) тоже. Ведь приехал из Петрограда с женой, надо было на что-то жить. Рассовали деньги куда-то в столовой. Гроза надвигалась. Потом двое, видно из старших обыскивающих комиссаров, вызвали дядю Володю в его спальню. Дядя пошёл. Боялся страшно – начнётся физическое воздействие. В спальне всё было перевернуто. На полу лежал дядин скромный портфель. Дядя, когда вернулся из правления, бросил портфель с деньгами на кровать. Кровать перевернули, портфель упал на пол. Видно, его никто не заметил. Теперь один из комиссаров поднял его, открыл. Полон пачками денег. Было там больше раз в сто, чем разрешалось. Дядя прощался с жизнью. Державший портфель ничего не сказал, переложил пачки денег

в свои карманы и, постояв немного, подумав и не сказав ни слова, вышел.

– Обыск окончен, отход.

Все ушли.

Дядя Володя, который уже надевал пальто и искал свою шляпу, никем не вызванный к «отходу», остался, на него никто уж не обратил внимания. Ясно. В правлении был кто-то, кто следил за перемещением денег, и сообщил куда нужно. Найти несколько тысяч – так не оберёшься хлопот: составлять протокол, тащить кого-то в милицию... Для этого существуют сошки поменьше. Большие охотились за большим. В таких случаях достаточно переложить денежки из одного кармана в другой, кому-то что-то пихнуть, и постепенно самому выходить в люди.

Дядя Володя к потере денег отнёсся очень спокойно. Видно и потому, что ожидал худшего, да и потому, что деньги для всех детей Николая Петровича Авенариуса не играли большой роли. На другой день, когда стало ясно, что вчерашний обыск никаких последствий иметь не будет, он уехал. Прощаясь, он почему-то был уверен, что в эту квартиру никогда не вернётся. Он попросил



меня только сохранить книги его отца, чемодан с вещами его кузины, оставшейся за границей, и хотел, чтобы я спрятал где-нибудь одно из его ружей. Но потом раздумал:

– Не надо, можешь попасть в кашу.

Попрощался и ушёл из дому. Долго плакали по нём и кухарка, и горничная:

– Лучшего человека, лучшего барина мы никогда не знали.

Через два года его без суда расстреляли в Судаке.

Отец продолжал хлопоты по получению пропуска на выезд, собирал сведения, как можно перевести на Украину или в Бессарабию деньги на полгода жизни. Да все тогда были уверены, что больше полгода новая власть не удержится.

Теперь опишу несколько встреч в последние месяцы в Москве, характерные для понимания тогдашней московской жизни. За несколько дней до обыска поселился у нас на Басманной по ордеру полковник генерального штаба Барановский, называю его полковником [исходя] из чина в русской старой армии. Блестящий офицер, видно сразу, что из культурной, интеллигентной семьи. Держался безупречно, но очень осторожно, не затрагивая никаких политических, экономических, не

говоря уж о военных, вопросов. Говорил о Петрограде, его театрах, концертных залах, музыке. Вспоминал о семье, видно было, что тоскует, но о причине, почему семья не может переехать в Москву, отвечал:

– Так сложились обстоятельства.

Рано уходил на службу, приходил поздно вечером. Встречались лишь за вечерним чаем, когда приходил в столовую. А тут как-то утром в воскресенье звонок. Горничная говорит, что пришёл какой-то мальчик, спрашивает Барановского. Его не было дома. Завели его в столовую. Мальчик воспитанный, но на всех смотрит с опаской. Потом как-то освоился, почувствовал к нашим доверие и рассказал:

– Мы с мамой и сестрой живём в Петрограде. Папу куда-то увезли. Мы живём как в тюрьме, мама с нами не может выйти из дому, только сама или мы одни. На днях получили от папы сообщение, что он в Москве, и адрес его сообщили, но просят не писать. Мама плачет, не верит и вот решила послать меня. Целую ночь я ехал.

Дождался он отца. Вечером горничная отвезла его на вокзал. Уехал счастливый. С отцом мы не поднимали о нём разговор. Поняли, что Троцкий (тогда он был министром обороны) организует генеральный штаб. Генштабисты разбежались, а кого поймаешь – тому верить нельзя. Заставить работать за совесть, а не за страх можно, взяв в залог семью.



А вот другой случай. Сестра папиной мачехи приютила сиротку мальчика Ваню. Отец, вдовец, был убит в начале войны. Мария Петровна (так звали сестру мачехи) отдала его в московский кадетский корпус, а каникулы он проводил у неё. Жила она где-то на границе с Польшей.

Этим летом было Ване тринадцать лет, и жили они в летнем лагере, который был недалеко от фабрики, где жили мы, поэтому он иногда приходил к нам. Раз, ещё мы жили на фабрике, пришёл и рассказывает, что их корпус распустили, детям приказано ехать к родителям. К Марии Петровне он не поедет, потому что там, где она живёт, – Польская республика, а поляков и в корпусе никто не любил, и папа их не любил. Потом ещё раз пришёл, уже какимто другим, страшно самостоятельным, развязным. Хорошо поел, видно – голодный, взял хлеба для товарищей. Воспитанного, подтянутого кадетика как не бывало. Потом нашёл нас у дяди

Володи на Басманной. Видно, что пришёл поесть. О себе ничего не говорил, кроме того, что имеет приятелей, которые помогают один другому. Пришёл ещё раз, поел, а когда ушёл, горничная Дуняша говорит:

– Знаете, что Ваня сделал? Барышни Мани меховое пальто унёс, да и шапку баринову.

Больше мы его не видели. Он стал одним из первых беспризорных, численность которых к пятилетию советской власти доходила до полумиллиона.

Вспомню ещё капитана Зотова. В журнале «Нива» за 1905 год была фотография подростка в полной военной форме с надписью: «Георгиевский кавалер четырнадцатилетний ефрейтор Зотов» – и перечислены его геройские заслуги.

На Японской войне в составе Красного креста [служила] тётя Леночка, папина двоюродная сестра, дочь В.П. Авенариуса. Она заинтересовалась судьбой мальчика, по окончании войны взяла его с собой в Петербург. Мальчик был сиротой. Тётя Леночка приготовила его для поступления в какой-то (не помню) класс кадетского корпуса. Затем в двадцать лет поступил он в Павловское



военное училище и перед Первой мировой войной был произведён в офицеры.

Бесславный конец войны, братание с немцами. Зотов был один из первых, кто пробрался за генералом Корниловым на юг России и помогал ему организовывать армию. Потом исторический Ледяной поход, затем генерал Корнилов пал под Екатеринодаром. Генерал Корнилов был сам сыном сибирского казака и, конечно, благоволил Зотову, герою Японской войны. Вскружило ли это голову капитану Зотову?

Он появился на Басманной, кажется, в тот день, как приехал дядя Володя. Я первый раз его видел. Был в штатском, костюм как с чужого плеча. Лицо малоинтеллигентное, потрёпанное, речь грубая. Много не рассказывал, лишь что при Деникине, который сменил Корнилова на посту главнокомандующего Добровольческой армией, нет тех молодцов, что были с Корниловым, что ему стало скучно и он ушёл из армии.

Дядя Володя угостил его водкой, вином. Зотов ожил. Начал говорить, что лишь теперь он начал жить, что у него есть всё, чего душа хочет. С армией покончено. В Красную армию он не пойдёт, будет жить в своё удовольствие. Несколько раз выходил

в переднюю и минуты через три возвращался. Я и папа тоже сидели, прислушиваясь к разговору.

Конец человеку. Кокаинист. Потом я встречал много несчастных морфинистов, кокаинистов; бедный Зотов был первый, которого мне пришлось увидеть. Жизнь бедняги протекала без семейного тепла, уюта, радостей. Война, казармы, окопы, кровь. Оставалась одно ему – забыться.

Чувствую, что я заболтался, но если вспомнил капитана Зотова, то как же могу обойти молчанием Алёшу Хомутова? Ещё недавно, когда я рассказывал происшествия из своих отроческих лет, малый Саша* спрашивал:

– А Алёша тоже был тогда с тобой?

Если он его не забывал, то как я его могу забыть? А забыл я его тогда, в начале лета 1918 года, не нашёл времени поклониться его могилке на Братском кладбище в Москве.

От девяти лет до шестнадцати были мы с Алёшей неразлучные приятели. Правда, он учился в военной кадетке в Ярославле, а я в рыбинской гимназии, но рождественские, пасхальные и летние каникулы мы были неразлучны. Он во всём превосходил меня. В учении, ловкости, детских и юношеских выдумках. Как он сидел на коне – легко, непринуждённо! Всё ему удавалось, и он никогда этим не кичился, за что его все любили – весёлого, приветливого.



Когда началась Первая мировая война, мы жили уже в Москве. Алёша перешёл в последний класс кадетки. Ему, как и мне, было семнадцать лет. Артиллерийская бригада, стоявшая в Ярославле, сразу же пошла на фронт. Алёша, не знаю, с разрешения ли отца или просто – удрал, пошёл на фронт с ней. Почти через год он, с солдатским георгиевским крестом, приехал в Ярославль и сдал выпускные экзамены за кадетку. Офицеры бригады его хорошо приготовили.

Потом был произведён в офицеры. Пробыл он в своей бригаде, всеми уважаемый и любимый, до бесславного конца войны. Последний главнокомандующий русской армией генерал Духонин не согласился участвовать в мирных переговорах с немцами. На его место был назначен прапорщик Крыленко, который выстрелом из револьвера убил Духонина на могилёвском (место нахождения ставки) вокзале. Фронт до этого ещё как-то, местами

---

* Маленький сын автора.

держался. Артиллеристы, сгруппировав около своих батарей [силы], ещё не поддавшиеся революционной пропаганде, держали позиции. Но вскоре перестала существовать и часть, в которой был Алёша. Он поехал домой в Мологу к отцу. Уже был недалеко от Москвы. Вагоны переполнены разнузданной солдатнёй. В солдатской шинели без погон, с верным вестовым, стараясь не обратить на себя внимание, ехал Алёша. Полез за чем-то во внутренний карман шинели, расстегнул её, и солдаты увидели небольшой беленький крестик на георгиевской ленте – офицерский орден Св. Георгия. Получали этот орден лишь выдающиеся офицеры за неоднократное проявление геройства в бою.

– А, золотопогонник! Долой его!

«Золотопогонник!» – сколько тысяч русских офицеров, носивших до революции золотые погоны, были растерзаны или просто убиты за них. Те, кто убивал, или их дети снова носили такие через неполных двадцать пять лет...

Солдатская масса накинулась на Алёшу. Он защищался. С пробитым черепом, искалеченного, вестовой довёз Алешу в Москву до госпиталя. Вызвал отца Алёши, но тот не застал сына в живых.



Приехал на погребение, а с кладбища зашёл к нам. Плача, рассказал всё. Меня не было дома. Оля пошла с ним на Братское кладбище, положила цветочки. Александр Александрович уехал домой. Повторяю, я, незаслуженный друг славного Алёши, не нашёл время пойти на его могилку. Потом, когда Оля с мамой жили в Румынии, я навестил их, Оля вспомнила это и говорила, что она долго, долго не могла простить мне это.

Вернёмся опять на Новую Басманную. Как-то я остался ночевать в дядиной квартире: от неё было ближе к моему училищу, а я сдавал какие-то зачёты. Встал пораньше, спускаюсь вниз. При дверях стоит пулемёт. Пространство около дверей и лифта заполнено красноармейцами. Взволнованный швейцар указывает на бумажки, которые он расклеивает на стенах. Читаю. Вот их приблизительное содержание: «Дом такое-то число и т. д. реквизируется для Генерального штаба. В течение сорока восьми часов все квартиры должны быть освобождены. Разрешается взять с собой: три смены белья носильного, две смены белья постельного, верхнюю одежду: пальто...» – в количестве не помню каком, но только в очень ограниченном. Потом что-то о посуде, и что мне врезалось в память: один стул на каждого и один стол на че-

тверых... Выход из дома в эти сорок восемь часов разрешается лишь после осмотра выходящего часовыми.

Дом этот был построен неким французом-капиталистом лет десять тому назад. Квартиры все шикарные, по пять комнат. Дядя Володя для своей многочисленной семьи снял две квартиры, и ещё перед вселением они были переделаны в одну с одной кухней и одним входом и т. д. Было в доме три подъезда, и, значит, таких тридцать шикарных квартир. Жили, конечно, люди с достатком – буржуи. С ними стесняться, конечно, не приходилось. Ну и началась же кутерьма!

Дядя Василий Петрович с женой на другой день уехали в Петроград, а с ними и тётя Аня. Она получала какую-то крошечную пенсию и в Петрограде прожила полжизни. Оставались мы. Наши надеялись дней через десять получить пропуск на Украину.

Обстановки с собой мы никакой с фабрики не взяли. Золото и золотые изделия папа с дядей Володей запаяли в железные коробки, наполненные вазелином, и закопали где-то в присутствии их двоюродного брата. Нашего там было мало, всё больше принадлежало умершей жене дяди Володи и её детям от первого брака. Её первый муж был миллионер, но это никогда не интересовало дядю. 

Правда, было у нас на Басманной много серебра. Недавно была отпразднована серебряная свадьба отца и мамы, и по обычаю дарили серебряные вещи. Мама имела ещё своё приданое, а здесь прибавилось много-много. Одних столовых ложек дюжин десять. Да и верхней одежды и белья было гораздо больше, чем они могли с собой взять в дорогу. Бросать не хотелось. Да и жить эти десять дней где-то нужно было.

Вопрос о предоставлении жилища конфискующих не интересовал. Жилищные комитеты только что рождались. Моя крёстная сестра Люда Блатова (мать её – жена городского головы – моя крёстная мать, и мы, дети, считали себя наравне с кровными родственниками) снимала комнатку, а так как занятия в университете ещё не начались, уехала обратно в Мологу.

Эту комнатку нашёл ей я, так что легко было договориться с хозяйкой, чтобы, до приезда Люды, мы могли переносить туда наши вещи. Первые полдня часовые у выходной двери, может быть, и были строгие, но потом всё уладилось. Уладили наши горничные. Молоденькие, смазливые, да сунут ещё в карман передника пузырёк с разведённым спиртом (а спирт у нас был), и всё

можно вынести. Всё это переносилось в упомянутую комнатку. Мама с Олей ещё до срока всё уладили. А жители нашего дома где-то выхлопотали отсрочку ещё на двадцать четыре часа.

Начали выселять наших утром. Руководитель, латыш (в то время латыши играли огромную роль в таких вещах), конечно, в полувоенной форме и с парабеллумом через плечо, прошёлся через все комнаты. Папы уж не было. Я познакомил латыша с общей обстановкой. Про нас сказал, что мы здесь случайные квартиранты, про хозяина сказал, что он с семейством ещё на даче, представил и горничную, и кухарку как представителей хозяина квартиры. Его ничего не интересовало. Главное, что все должны за полчаса оставить квартиру.

Но здесь накинулась на него кухарка. Она, мол, не пойдёт, останется, и новые хозяева будут в ней нуждаться. Латыш, видно, опытный в этих делах, удовлетворил требование пролетариата, передав в их пользование кухню, комнатку при ней, а так как там был так называемый чёрный ход, то, заперев вход в квартиру со стороны чёрного хода, изолировал себя от дерзкого элемента.



Комната полковника тоже была заперта, осмотру не подлежала. При этих переговорах я заметил, что латыш уж порядочно выпивши. Оставив его с красноармейцами, я поспешил в комнату, где были сложены наши вещи, предупредить маму, что уже идут к нам. И вижу: мама держит в руках серебряную сахарницу – позабыли о ней, и теперь мама не знает, куда её засунуть, в какой чемодан. Я не нашёл ничего лучшего, как сунуть сахарницу в боковой карман кожаной тужурки, которую я всегда в щекотливые минуты тогдашней жизни одевал. А латыш с красноармейцами уже входят в комнату. Я показываю ему наши четыре чемодана. Предлагаю ему их открыть, что-то ещё ему толкую о том, что я даже рад переменить квартиру на более для нас подходящую. Он отказывается от пересмотра вещей и приказывает красноармейцам, чтобы налепили ярлыки с пометкой «просмотрены». У него хорошее настроение, называет меня товарищем (помогла кожаная тужурка) и хочет подтвердить своё ко мне расположение, слегка обнимает меня.

– Ты что там имеешь в кармане? Бомбу? Эй, схватить и обыскать его! – кричит красноармейцам, а сам берётся за парабеллум.

В следующее мгновение сахарница появляется в руках красноармейца, который передаёт её латышу. Тот изумлён. Лицо краснеет от злости, меня ещё держат красноармейцы.

– Так ты украл! – и страшные нецензурные ругательства. – Воруешь вещи, которые подлежат конфискации!

Не знаю, чем бы это кончилось для меня. Помог папа. Уходя утром, он сказал:

– Если будет плохо, так помни, в ванной комнате, за вешалкой, я оставил литр чистого спирта. Он может пригодиться.

Спасительная мысль пришла в последний момент:

– Товарищ комиссар! Я не украл, ведь и мне нужна какая-нибудь сахарница. Давайте меняться. Я вам бутылку чистого спирта, а вы мне сахарницу.

– Где? Покажи.

Мы идём в ванную, и я даю ему бутылку. Пробка не была сильно запихнута, комиссар нюхает, потом пьёт. За несколько минут мы уже внизу. Красноармейцы вынесли наши чемоданы. Сахарница у меня в кармане. Сейчас вспоминаю, какие мурашки пошли у меня по спине. Может мне помогло в тот момент и то, что я тогда был болен «шпанелькой»* (так называли тогда род гриппа, захватившего в конце войны почти всю Европу). Я переносил её на ногах. Может быть, под влиянием высокой температуры мой мозг действовал быстрее обыкновенного.



Последние дни наших в Москве были очень тяжёлые. Папа уходил в правление, мама шла к тёте Наташе (подруга мамы), Оля в библиотеку. Вечером я приходил в их комнатушку, приносил что-нибудь утолить голод, они как-то укладывались спать, а я уходил в столовку.

Наконец пропуск был получен, деньги папе тоже удалось перевести на Украину. Не помню, с какого вокзала они уезжали. Никто не пришёл провожать их, кроме И. Г. Романова. Это был папин старый хороший знакомый по Мологе. Был он крупный лесопромышленник (крупный – по мологским понятиям). В маленьких захолустных городках, каким была и Молога, «буржуям» при новых порядках приходилось ещё хуже – они были на виду. Старший его сын, офицер , участвовал в Ярославском восстании и вынужден был бежать. Пришли к нему в дом, всё перевернули, ничего не нашли, били.

---

* Другое распространённое название того времени «испанка».

– Деньги я дома не держал, всё вкладывал в дело. Приходили два раза, били. Ночью бежал из дому. Куда? Нужно подальше, где меня не знают. Младший в Нижнем Новгороде, учится в политехникуме. Его не хочу пугать. Деньги имею, жена припрятала у сестры. Решил поехать в Москву, с вами, Александр Николаевич, посоветоваться. Москва – большой город.

Дня за три до отъезда наших он нашёл папу в правлении.

Тяжело было мне смотреть на отъезжающих. В классных вагонах места не нашлось, так ехали в товарном вагоне. Поставили чемоданы, как-то на них расселись. Мама и Оля плакали. Они родились в Москве, и тяжело было у них на сердце. Папа руку ещё носил на перевязи.

Остался я один. Нужно мне было тоже готовиться к отъезду. В первый же день не повезло. Пошёл я в центральное бюро по продаже железнодорожных билетов. Там на стенах были всегда развешаны подробные карты. Там же мог я узнать и об отходе поездов. Было там порядочно народу. Узнал, что мне было нужно, хочу уходить, а двери закрыты. Осмотрелся и вижу, что помещение переполнено. Кто-то при дверях лаконически объясняет:



– Не торопитесь, вот придут автомобили, и вас перевезут на Лубянку (там помещалась ЧК). Там уж узнают, кто, куда и зачем хотел уезжать из Москвы.

Пришли грузовые автомобили, и нас перевезли на Лубянку. Разместили в двух-трёх комнатах, и, сидя на полу, мы ждали утра. Я недолго был испуган. Потом сообразил, что отговорка у меня есть хорошая. Заведующий столовой, картофеля не хватает, нужно позаботиться о привозе его из окрестностей. Но всё ж ночь была неприятная. Никто, кажется, не спал. Утром мне удалось протолкаться к следователям одному из первых. Он выслушал, спросил телефон столовки, и я был свободен.

Надо было позаботиться о вещах, оставленных в комнате. Книги дяди Володи решил перевезти в гимназию, которую я закончил. Серебро почти всё было перенесено на квартиру к моему приятелю Коле Торопову. Два наших чемодана согласилась взять мамина подруга тётя Наташа. Остальные четыре или пять чемоданов моих кузин и тётки взяли родители Коли Торопова. У них было шестеро детей, он и она были школьные учителя.

На другой день после обеда мы с Колей пошли к хозяйке, где жили мои родные до отъезда. Она перепуганная, сердитая.

– Вчера вечером был новый председатель домового комитета, солдат, большевик. Кричал, что он всё видит, что я укрывала буржуев. Осмотрел комнату, спрашивал – чьи чемоданы. Уберите их поскорей.

Гимназия была близко, нашлась тележка. Чемоданы с книгами были тяжёлые, вынесли, повезли. Отошли немного, а нас догоняет солдат:

– Стой, несите обратно.

Объясняем, что это книги – может сам посмотреть. Ничего не помогает. Вытащил револьвер.

– Я член народной милиции и вправе стрелять, если не вернётесь.

С милицией мне нельзя было иметь дело. Послушались, вернулись. Сговорились, что завтра я приду с ним поговорить. На другой день один из обедавших у меня членов замоскворецкого совета, студент-грузин, показывает мне бумагу:

– Это вас касается.

Читаю, что я должен явиться сегодня в свою комнату и дать показания о находящихся там вещах. Видно, солдат был проворный, нашёл через кого передать мне повестку. Студент приятельски посмеивается. Но я знаю этих грузин. В Коммерческом институте их половина, ни одной барышне прохода не дадут, чтобы не сказать что-нибудь скабрёзное. 

В назначенный срок я был на злополучной квартире. Пришли двое. Имели ордер на осмотр вещей. Открываем чемоданы один за другим. Ничего особенного. Хорошее бельё, меха, драгоценностей нет. Но в одном чемодане тётки дамский револьвер. Один из просматривающих кладёт его себе в карман, не произнеся ни слова. Потом тому же понравился белый башлык, накидывает себе на плечи и спрашивает товарища:

– Что, идёт?

– Неплохо, – отвечает тот.

Потом суют по карманам [ещё] какие-то вещи. Осмотр окончен. Дверь в комнату запирается и запечатывается. Меня отпускают; смеясь, идут и поют:

– Я не советский, я не кадетский, я просто русский человек.

Так потом три или четыре дня подряд я должен был являться в эту проклятую комнату, встречать «девочек», пришедших ко мне с ордером «Выдать подательнице вещи по её усмотрению».

С ними приходил один из грузин. Перерывали всё, нахальничали до того, что хотели «этот костюм, а к нему меховой воротник от этого костюма». Грузин их сдерживал. Это были новые секретарши новых комиссаров.

Ох, как мне было тяжело. Приехала Люда Блатова, увидела, побежала к товарищу Луначарскому, комиссару народного просвещения. Получила от него приказ выдать ей её вещи. Вещей-то её не было, но она хотела что-то спасти из вещей Оли или кузины Тавочки, чемодан которой тоже был там. Вещи в чемоданах были перепутаны, но она храбро хватала что было получше, говоря:

– Это моё, это... – и унесла один чемодан.

Нужно было уезжать. Всё кипело во мне. Вечерами в столовке с приятелями обсуждали, какой дорогой уезжать, где лучше попытаться перейти границу с Украиной. Нашлись и два попутчика: один – Игорь Саблин, этого чудесного малого, идеалиста-анархиста, я уж вспоминал. Другой был ещё мальчик, ученик средней технической школы, которого посылал домой брат.



У наших кельнерш нашлась подруга, которая обещала достать билеты до Курска. Это было хорошо, ведь билеты выдавались лишь при предъявлении разрешения на выезд из Москвы. Плана перехода через границу у меня не было. Если бы было лето, если было бы ещё тепло и длинный день, то мы бы попытались последние, скажем, тридцать вёрст до границы пройти ночью, лесами, переночевав где-нибудь. Но уже начались морозы, полётывал снежок. Игорь не одобрял эту возможность перехода границы. Обдумал я тогда для себя два варианта. Перейти границу в пограничном пункте, выдавая себя за немецкого военнопленного, или в дороге к границе следить за мешочниками (на них у меня глаз был намётан) и вылезти на станции вместе и незаметно присоединиться к ним.

Помню ещё покушение на Ленина, это было сделано в то время, когда я служил в столовке. На митинге на одном из московских заводов, вернее после митинга, член партии левых социал-революционеров еврейка Каплан (кажется, Вера) выстрелами из пистолета калибра 6.35 (небольшой размер) ранила Ленина в шею и руку, когда он собирался сесть в автомобиль. Ей не удалось скрыться. При допросе в Кремле она умерла, не выдав товарищей, ей помогавших.

Перед тем в Петрограде был убит видный член партии большевиков Урицкий. Партия решила ответить на террор террором. Через три дня после покушения были расклеены списки (на листах размером двух газетных страниц) лиц, находившихся в московских тюрьмах и теперь расстрелянных. Было их пятьсот человек. Такой список висел на воротах в столовку, и я мог внимательно его прочитать.

В числе расстрелянных был хорошо мне известный наш очень далёкий родственник Михайлов (имя уж не помню). Студент нашего училища, он как прапорщик запаса сразу же попал на фронт. Был взят в плен и с одной из последних групп военнопленных за несколько дней до покушения на Ленина вернулся в Москву. Приехал одетый в то же, в чём попал в плен – в военной шинели с погонами с одной звёздочкой. С поезда в этой форме так и брёл домой. Офицер, не снявший погон. Провокация. Его схватили и в тюрьму. И он, бедняга, попал в число расстрелянных.

С его братом я случайно встретился позже в Турции. Он рассказывал, с каким нетерпением ждали прапорщика домой, ведь два года он томился в плену, потом узнали, что он в тюрьме, но и в голову никому не могло придти, что так кончится. Я вспоминаю этот трагический случай, чтобы подчеркнуть, что террор в Москве в последние дни нашей жизни в ней усилился. 

Ну, а теперь к моему отъезду. Сборы опять небольшие. Утром, когда нам принесли железнодорожные билеты, я сдал столовку моему заместителю. О своём уходе из столовки я сообщил раньше в правление столовок. Оделся приблизительно так же, как при своём первом путешествии, лишь поверх надел солдатскую шинель. Наша студенческая фуражка (студентов-техников), если оторвать от неё козырек, по своей материи и цвету почти ничем не отличалась от фуражек-бескозырок немецких солдат. Нужно только снять значок и козырёк сделать легко отнимающимся от фуражки и обратно. С помощью куска картона и нашей кухарки, работавшей в столовке, я сделал [всё это] шикарно. Ещё раньше я принёс с Басманной чью-то никелированную кружку военного образца с огромным немецким одноглавым орлом. Её я решил повесить на ремне поверх шинели в нужном случае. Смену белья засунул в мешок из-под муки. Ну и всё. Деньги, тысячи три, рассовал где только можно. На вокзал пошли меня проводить Коля Торопов, Люда Блатова и Валя Кирсанов.

Последнего я ещё не вспоминал в своих записках. Валя был моим другом, когда мне было пять–девять лет. Я долго его разыскивал.

Года два тому назад нашёл, но не его, а только его жену, он умер за год перед тем в Москве.

Поцеловались в последний раз, и поехал я со своими спутниками. На этот раз мы ехали в переполненном классном вагоне. В Курск приехали утром усталые: всю дорогу стояли. На вокзале разошлись, договорясь вечерком там опять встретиться. Мы двинулись с мальчиком вместе. Сперва пошли на рынок, поели с удовольствием гусятины, запили молочком. Какая разница: Москва и Курск! В Москве куска мяса не увидишь на базаре, а здесь гусятина. Причины: недостаток транспорта, это одно, и боязнь конфискации, насилия – другое.

Мальчик был с Украины, из района Елисаветграда. Ему могли легко дать пропуск в украинском представительстве Курска. Пошёл и я с ним, решив попытать счастья. Да не вышло. Мальчик получил сразу, говорил свободно по-украински. Я выдал себя за уроженца Бессарабии, показал свой студенческий вид на жительство. Но там стояло: родился в городе Мологе. Защищался тем, что я там только родился, а жил всё время в Бессарабии. Но когда мне предложили что-нибудь сказать по-молдавски, я спасовал.



– Не мешайте нам тут, идите, а то передадим вас местной милиции.

Пришлось уйти. Пошёл на вокзал. Народу тьма. Узнал, что до границы километров двести пятьдесят, что поезд туда ходит каждый день под вечер. Начал рассматривать путешественников. Изучал военнопленных немцев. Ещё в Москве я хотел на брюки пришить желтую полоску, которую видел у пленных немцев. Достал такую, но потом раздумал – испугался. Если поймают, так за такой маскарад, пожалуй, и расстреляют. Начал заговаривать с немцами. Спрашивал: откуда, из какого лагеря? Одни называли лагерь и его число, и в каком месте он был; старался запомнить ответы и интонацию голоса. Другие отвечали:

– Хозяин работал.

И это намотал на ус. Понял, почему у одних есть жёлтая нашивка на брюках, а у других нет. Имели её те, кто был из военного лагеря. Мешочников отыскивал в толпе, находил. Обыкновенно – крепкие парни, наполовину по-городскому, наполовину по-дере-

венски одетые. В разговоры не вступали, держались по два, по три. Так я время не терял даром, а там пришёл первым мальчик (скорей бы его можно было назвать подростком, было ему лет пятнадцать). У него всё было в порядке: и конфеты домой в подарок купил.

Потом и Игорь появился. Стояли мы в толпе, Игорь начал рассказывать, что нашёл своих (понимай: анархистов), что [они] помогут, но нужно подождать дня два-три.Ещё что-то начал говорить, и тут кто-то схватил его за шиворот сзади, а другой меня. Я вырвался и смешался с толпой, забираясь как можно дальше. Через полчаса мы встретились с подростком. Он сказал, что Игоря увели. Выходило так, что за ним следили.

Ещё в Москве я дал Игорю адрес папиной кузины в Киеве. Если бы нас разъединили, там мы могли бы снова встретиться. Я в Киев не попал, но через два года я встретился в Константинополе с сыном папиной кузины, и он мне рассказал, что к ним осенью приходил и расспрашивал обо мне приятный молодой человек – один глаз у него был искусственный. Этот глаз его часто спасал. Наверное, и теперь его спас.

Подросток от меня скоро отделился. Нашёл новых попутчиков.



Скоро подали поезд. Бросились все как угорелые. Я как-то замешкался, и в вагоны (товарные, но закрытые) мне не удалось втиснуться. Удалось вскочить на подножку и ухватиться за засов. Не знаю, сколько времени мы ехали до первой остановки, но я весь оцепенел от холода. Силы меня уже совсем оставляли, я не чувствовал ни рук, ни ног. Морозный ветер. Кошмар. Выдержал, не свалился под откос.

На остановке открылись двери, и меня втащили в вагон. Вагон был набит до отказу. Все лежали вповалку. Ох, как хорошо было притиснуться к тёплому соседу. Кто-то из запасливых пассажиров зажёг огарочек свечки. Так он и горел в уголке. Все или сидели, или лежали. Заметил, что в вагоне больше людей в полушубках, из них большая половина мешочников. Хочу протиснуться к ним ближе, но не пускают; к дверям никому неохота садиться – дует.

Дремлем и едем дальше. Заметил лишь, что кто-то считает остановки, спорят между собой, где мы теперь. Видно, не раз тут ездили. Из дремоты меня выбивает звук выстрелов, крики. Стоим. Двери не отсовываем, но их снаружи кто-то силой открывает. Влезают человека четыре, красноармейцы. В руках два фонаря.

– Проверка, граждане, документов, указывайте, куда и зачем едете.

Два остаются стоять при дверях, которые наполовину задвигают, два других с фонарём в руках продираются вглубь вагона.

– Ну давай, скоро.

Ругань и с той, и с другой стороны. Речь русская, украинской меньше, слышна и иностранная, немецкая, коверканные русские слова. Кому-то дают тумака, подталкивают к выходу.

– Эй, принимай этих двух да выталкивай вон. Ничего, ничего, там разберутся.

Нас, лежащих у двери, пока не трогают. Я ложусь ничком, притворяясь спящим. Ругаю себя, что не упел фуражку переделать, козырек отцепить. Долго это продолжается. Пожалуй, треть пассажиров повыкидывали, прикладами повыталкивали, ругань неимоверная.

– Эй, вы там, проверьте тех, что при вас.

Стоящие при дверях красноармейцы зажигают свой фонарь. Уж несколько раз его зажигали, да ветер гасил. Толкают моих соседей ногами, те, как и я, притворяются спящими. Но хороший пинок их поднимает. Эти проверяют не так ретиво, как первые. Сами замёрзли при дверях, фонарь им часто задувает ветер, да и сноровки у них нет.



Подняли они меня, кажись, последним. Медленно, выгадывая каждую минуту, вытаскиваю студенческий билет. А сам молю Бога, чтобы фонарь погас. Не гаснет, то совсем вот ветер его затушит, то ярко загорится. Даю развернутый билет. Лицо у солдата красное, озябшее, не злое, уже не молодой, но настоящая «деревенщина». А ведь у меня на свидетельстве двухглавый орел. Так и не переменил ещё. Рассматривает билет.

– Как зовут?

– Николай.

По складам читает:

– Ни-ко-лай.

Видно доволен, что прочитал.

– Скубент, – улыбнулся и возвращает мне билет (солдаты нас всегда называли скубентами).

– Ну, кончаем, – кричат те, видно, старшие.

Уходят.

Засовываем дверь; в вагоне свободнее. Я ложусь подальше от дверей. Страшная душевная слабость меня одолевает, и я засыпаю.

Будит меня опять суматоха в вагоне. Он уже почти пустой. Выскакиваю и я из него. Двое передо мной наклоняются и лезут под вагон. Я за ними, ещё раз лезем под вагоны. Поднимаемся, где-то близко стреляют, скатываемся с железнодорожной насыпи, натыкаемся на проволочное заграждение. А пульки посвистывают. Лезем обратно под вагоны там, где были. Начинает рассветать. Видим, что и с этой стороны проволочные заграждения. Соображаю, что мы на границе: кругом окружены колючей проволокой. Иду за другими к паровозу. Какие-то временные деревянные постройки, окружённые проволочным заграждением. Ворота открыты, стоит при них часовой. Вхожу. Стоит перед постройками очередь, небольшая, человек 200. Соображаю, что это – таможня. Немного подтягиваюсь, сбиваю с шинели снег, нащупываю фуражку. Козырёк и значок техника на месте. Оглядываюсь. Люди стоят в очереди с чемоданами, корзинками, узлами, у некоторых дети. В помещение пускают по очереди. Ожидающие держат в руках бумаги. Волнуются. Нахожу между публикой и моего украинца-подростка. Прошу его, чтобы забежал вперёд в помещение, а я останусь с его вещами в очереди. Согласен. Мальчик пронырливый, вскоре выходит. Рассказывает, что сначала проверяют документы, если что не нравится, задерживают и сдают красноармейцам, а те их куда-то уводят. Потом проверяют вещи, всё смотрят. Некоторых направляют на личный досмотр, женщин отдельно, мужчин отдельно.



Вижу, что мне здесь делать нечего. Но где ж остальная масса, ведь нас было в поезде больше тысячи. Значит, где-то в другом месте. Отхожу в сторону, подальше от посторонних глаз. Переделываю фуражку, вытаскиваю кружку, опоясываюсь поверх шинели кожаным поясом, вешаю кружку. Пачкаю руку, немножко лицо грязным снегом. Мешок не беру в руки, а вешаю на спину.

Иду к воротам и, ломая язык, говорю часовому :

– Камараден, хир цивил, во ист детуш?

Часовой ругается, отворяет ворота и указывает на другие ворота. Там огороженное пространство, раз в десять большее; стоит масса разнородных мужчин, часть в очередях, часть группами;

меня без слова пускает часовой. Перехожу от группы к группе, от очереди к очереди.

Очередей две. В начале очереди стоят четыре «товарища», по два. Между ними проход, который ведёт к дверцам, которыми можно выйти из проволочного заграждения. Одна из них женщина. Вид у «товарищей» – студенты-жидки, некоторые имеют университетские фуражки . Одеты по-городскому, и видно, что мёрзнут.

Другая очередь такая же. Не решаюсь сразу стать в одну из них и изучаю. Прихожу к заключению, что половина ожидающих, бесспорно, военнопленные всех наций, направляющиеся или из России, или в южную часть России с Запада. Остальную публику так скоро не разгадаешь. Боюсь, чтобы не остаться последним, становлюсь. Тогда стал рассматривать передо мной стоящих. Во всяком случае, не военнопленные; одеты по-дорожному. Заметил раньше, что никто не приготовляет бумаг. Стою и отдаю себя во власть Божию. Ещё раньше в вагоне слышал такой разговор:

– Еду второй раз, теперь уж я опытный. Первый раз поймали.



Я говорю – военнопленный, а они как начали наперекрёст: откуда, где был взят в плен, когда, в каком лагере был? Я и заврался. Много нас было таких, потом разделили. Которые были офицерики и к белым, наловили их, куда-то увели, а из нас, мешочников, партию сколотили и на постройку каналов направили. Да я сбежал.

Мелькнула у меня нехорошая мысль. Ведь место рождения у меня Ярославская губерния. А о Ярославском восстании кто не слыхал. Жарко мне стало. Но уже до меня очередь дошла, вернее – до парней, что передо мной стояли. Разговор приблизительно такой, какой я только что передал. Кончился он словами пареньков:

– Да мы, товарищи, за сахаром.

Их отвели в сторону. Делаю безразличное лицо, смотрю на жидков и медленно иду между ними.

Ни один меня не остановил. Также не спеша иду к воротам.

Вышел на нейтральную полосу, которая была километров десяти шириной. Мы шли перелесками, полями, покрытыми неглубоким мокрым снегом. Как-то незаметно пролетел короткий ноябрьский день. Тысячной толпой мы подошли к низкорослому леску. Там столпились пришедшие раньше. Дальше опасно,

стреляют. Действительно, где-то совсем близко раздаются ружейные выстрелы. Решили послать разведку. Привязали на палку что-то белое, и человека три пошли вперёд, крича по-русски и немецки:

– Не стреляйте.

Через час, а может быть и раньше, вернулись; немцы, которые в то время оккупировали Украину, предупреждали, что от захода солнца до рассвета граница закрыта. Приходилось подчиняться немцам на этой исконно российской земле; таковы были результаты Брест-Литовского мира.

Короткий день, но какая длинная ночь! Это была бесконечная ночь. Не то снег, не то дождичек падал с неба. Сапоги промочены. На мокрую землю не сядешь. Бегали, толкались, боролись, подбодряли друг друга шуточками, и чуть начало светать, пошли к границе. Её фактически не было. Просто в кустарнике прочищена полоса, а десяток немецких солдат с пулемётами её охраняли. Никто не останавливал, никто ничего не спрашивал. Ещё километров пять – и мы на вокзале маленького стародавнего Белгорода.

На вокзале немецкие жандармы. Долой маскарад! При помощи мешка чищусь. Масса прибывших устремляется на базар, ну и я. Сутки во рту ничего не было, но на базаре это легко догоняем. Возвращаемся на вокзал. Узнаём новости. На Украине образовалась «украинская директория», немцы уходят. Всюду мелкие стычки. Сообщение с Киевом прервано. В том направлении пойдут лишь немецкие эшелоны. Можно ехать только по направлению на Харьков, до которого около 100 км. 

На вокзале появляется много немецких офицеров. Не люблю я их. Высокомерные, надутые, отпечатывают каждый шаг своими начищенными сапогами, у некоторых монокли. И вдруг слышится полковая музыка. Подходят музыканты. Немцы, оставляя город, делают это с жестом своего непоколебимого величия.

Меня больше волнует, что не могу уехать в Киев, где мог получить последние сведения о наших. Уехали ли они в Бессарабию?

Подаётся поезд на Харьков. Несколько классных вагонов для чистой публики и несколько товарных для прочих. Беру билет в классный вагон. Как в старое время – кондукторы, чистота. Без приключений мы к вечеру в Харькове. По дороге из расспросов кондуктора узнал, что от Харькова до Киева тоже не доберёшься.

– И на Одессу поезда не ходят. Там шерапатят «махновцы». Попытайтесь поехать на Екатеринослав, а оттуда на Елисаветград, – советовал кондуктор.

Приехали в Харьков. Вышел из вагона и слышу:

– Поезд на Екатеринослав сейчас отходит.

Стоит рядом. Я к нему. Кондуктор грубовато отталкивает меня от классного вагона:

– Товарищ, ваши вагоны в конце поезда.

Вспоминаю, – на мне солдатская шинель.

– Вот что, служилый! Отведите меня в свободное купе первого или второго класса, купите мне билет и вот вам на расходы. Я уж давно не спал, – и протянул ему двадцатипятирублёвку.

– Слушаюсь, ваше благородие.

Я пошёл за ним в вагон. Не знаю, какого класса было купе – первого или второго, – но мягкие опрятные диваны. Сидели там ещё какие-то две жидоподобные особы. Кондуктор выписал билет, пожелал доброй ночи и ушёл.

В купе было тепло. Я разложил на диване шинель, сапоги не стал снимать, а положил под ноги мешок и, наверно, через пять



минут уже спал. Ведь от самой Москвы я спал урывками. Спал я часов десять, почти до самого Екатеринослава. Проснулся, сел, не сразу соображая, где я. Напротив сидели вчерашние пассажиры и со страхом смотрели на меня. Начал разговор, объяснил, что еду из Москвы, был страшно усталый.

– Ну что вы с нами сделали! Как вы нас напугали! Мы всю ночь ждали, когда вы начнёте нас душить.

Наперебой они объясняли в чём дело:

– На участке между Харьковом и Екатеринославом грабят пассажирские поезда махновские банды. Они подкупляют кондукторов и машиниста. Несколько бандитов сядут в поезд. Потом где-нибудь на середине дороги один из бандитов потянет тормоз, поезд остановится в поле. В минуту он уже полон бандитов, а за двадцать минут он опять уже набирает пары. Пассажиры начисто ограблены, сопротивляющиеся избиты.

Кончив повествование, бедняги начали из всех щелей дивана вытаскивать разные припрятанные от меня вещи. Даже вставные золотые зубы были где-то запрятаны. Извиняться мне не приходилось. Наша семья не была никогда юдофобская. В Мологе их совсем не было, в Москве – мало. Никакой неприязни к людям

еврейской национальности не имел. Во время революции евреи были самыми активными революционерами, но только внешне. В душе оставались страшными материалистами, дрожавшими за свою собственность и с огромными аппетитами на чужую. Посочувствовал я им, и в Екатеринославе мы расстались.

О дальнейшей дороге у меня остались отрывочные воспоминания. В Киев сообщения не было. Был отрезан и Крым, в Одессу нельзя было добраться. Подался я на запад, на Елисаветград. Туда как-то добрался.

По дороге потерял подростка-украинца. Мы сошлись в Екатеринославе, ехали вместе. Он уже был почти дома, когда на какой-то станции вошли две прямо опереточные фигуры. Два рослых парня в полной парадной форме времён Тараса Бульбы. Никогда мне не приходилось видеть «оселедец». Только на картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». А тут увидел. Оба молодца имели чисто обритые головы, и только на макушке был оставлен пучок шириной сантиметр и десять сантиметров длиной. Мы лежали на верхних полках вагона 3-го класса, когда они вошли и стали проверять документы. Были это представители власти гетмана Скоропадского или они были от Украинской Директории – не знаю. Но дурной мальчишка, когда они подали нам обратно документы и повернулись к нам спиной, скорчил гримасу и, подмигивая мне, почти дотрагиваясь головы одного из запорожцев, делал вид, что хочет дернуть его за оселедец. Это увидел третий запорожец, которого мы не видели. Ну, малого и стащили с полки со словами:



– Що, не бачив запорожца? – и увели.

Я не боялся за его судьбу, он был почти дома, говорил хорошо по-украински. Ну, может, получит пару оплеух.

Потом, пересаживаясь, ехал я ещё два дня на запад, когда на какой-то станции было заявлено, что поезда дальше не идут. Народу в поезде и так уж было немного. Это была какая-то второстепенная железнодорожная ветка. Небольшая станция, без буфета. Люди ходят туда и сюда и не знают, что делать. На каждой железнодорожной станции в те времена висели карты, и подробные, со всеми путями: и железнодорожными, и шоссейными. Начал и я знакомиться с ней, разбираться, куда забросила меня судьба.

Стоял там паренёк, на вид сын зажиточного хлебороба. Долго, внимательно что-то мерил пальцами, никак не мог сообразить, как

нужно пользоваться масштабом. Помог я ему. Разговорились. Оказылось, что нам по дороге: мне до станции на Днестре километров двести пятьдесят, а ему до его села половина этого.

Ситуация с поездами безнадёжная, и решили мы идти пешком. У него небольшая котомка, а у меня и того меньше. Решили и сразу же пошли. Не помню теперь ни его лица, ни его фамилии, ни названия его села. Могу сказать только, что более приятного, толкового спутника я бы не мог иметь. Вёл он не спеша. Думали, что до его села дойдём за три дня, дошли за четыре.

Останавливались в сёлах. Он сразу же находил зажиточного мужика, и нас принимали как старых знакомых. Это была глухая сторона. Мы избегали железных дорог, шли просёлками. Отрезанные от мира люди были рады идущим издалека. Да и в моём спутнике они сразу признавали своего человека. Накормят нас, напоят и спать уложат. Платили мы за всё, благо брали дёшево. К вечеру на четвёртый день мы дошли до села моего спутника. Там обрадовались возвращению сына, а на другой день шагал я сам.

Узнал, что переправиться через Днестр, который отделяет Украину от Бессарабии, можно только в Рыбнице, что до железной дороги, идущей в Рыбницу, тридцать километров, а ходят ли по ней поезда – не знали. К вечеру я был уже на какой-то станции. Зашёл в корчму. Хозяин корчмы – проворный жидочек – дал мне точные сведения. Поезда ходят и не ходят. Всё время меняется правительство: то махновцы, то гетман, то директория. Нужно сидеть на станции и терпеливо ждать.



Поужинал и переночевал у жидка и утром был на станции. Станция маленькая, кроме начальника никого нет. Начальнику скучно, рад поболтать, повторил, что говорил жидочек. Сижу и жду. Около обеда звонок с соседней станции: вышел поезд с новым начальством. Повесив телефон, начальник говорит, что с соседней станции вышел поезд с начальством и солдатами.

– Может быть, вам удастся с ними поехать.

Скоро пришёл поезд из нескольких вагонов. Здорово похож на тот злополучный поезд в Туапсе. На переднем открытом вагоне пулемёты и солдатики. Начальник станции спешит надеть красную фуражку и выходит к поезду, из которого выскочили несколько вооружённых людей и направились к нему.

Я стою недалеко. Узнаю, что власть от сего часа переходит в руки атамана... (имя не помню), что все служащие железной до-

роги должны исполнять приказания лишь атамана. Начальник равнодушно выслушивает и только спрашивает, кто и когда жалование будет выплачивать. Ему что-то обещают, а я смиренно объясняю представителю новой власти, что вот уже две недели не могу попасть домой, и он милостиво разрешает мне взобраться на пулемётную платформу и ехать с ними. К ночи, отмахав километров сто двадцать и завоевав без какого-либо сопротивления шесть железнодорожных станций, мы у железнодорожного моста через Днестр в Рыбнице.

Я оставляю поезд и спешу найти, где бы можно было поесть и переночевать. Светится только в корчме, ничем не отличающейся от той, в которой я провёл предыдущую ночь. Здесь узнаю, что румыны, которые несколько месяцев [как] заняли Бессарабию, не уходят и не собираются уходить. На другой стороне уже не Советская Россия, не Украина, но Великая Румыния.

Железнодорожный мост через Днестр цел. Каждое утро румыны пропускают через него массу людей, не спрашивая документов, осматривая только тех, у которых большой багаж. Пароходы по Днестру не ходят, так что попасть в город Сороки – цель моего путешествия – можно поездом до Флорешт, а оттуда на лошадях в Сороки.



Итак, я у цели. Но я не уверен, что наши в Сороках. По дороге из Москвы в Сороки к дяде Коле они должны были остановиться в Киеве и там окончательно решить. О их решении я должен был узнать в Киеве, но в Киев я попасть не мог. Но если я так близко от Сорок, то решаю, что еду туда, а если их там не найду, сразу же вернусь: или поступлю в Добровольческую армию, или сперва постараюсь попасть в Крым.

## Бессарабия

Утром был около моста.

С этой стороны не было никакой стражи, кто хотел, тот и вступал на мост. На середине моста стояли румынские солдаты и смотрели, не несёт ли кто оружие. На другой стороне стояла группа румынских марионеточных офицеров и солдаты. Я сказал «марионеточных» – другого подходящего слова не нашёл. Все офицеры напомажены, брови подведены, губы накрашены,

одеты в шинели разных цветов, с тонкой талией. На ногах, при ужасной грязи, лаковые туфельки.

Мы идём гуськом, по одному. Кто мы? – турки, румыны, итальянцы, сербы, болгары, немцы, австрийцы, конечно, и русские. Все участники Первой мировой войны теперь постепенно возвращаются домой.

Я опять спрятал козырёк фуражки, делаю из себя немца. Опять никого не останавливают, лишь тех, у которых большие мешки на плечах. Я прошёл румынское начальство, был от них шагах в тридцати, как слышу, что какой-то румынский солдат нас догоняет. Догнал, хватает за плечо; я не понимаю, что он говорит, но в то же время чувствую, что он требует, чтобы я вернулся. Возвращаюсь к группе офицеров, думая: почему именно меня? Шинель подпоясана ремнём, на нём висит никелированная кружка с немецким орлом. Один из офицеров указывает мне на кружку, и из его слов на разных языках понимаю лишь одно «Кауфе». Не знаю, от злости ли на него или радости, что так всё обернулось, я бросаю ему:

– Их бин дейтиш официер унд кеине кауфман.

Он открывает рот и прикладывает руку к козырьку (перед немцами они сохранили решпект), я тоже поднимаю руку к фуражке,

поворачиваюсь и бегом догоняю свою партию. Вагоны приготовлены, и мы часа через два уже на станции Флорешты.

У нас в Москве, учась в высших учебных заведениях, жили две дочки дяди Коли, сколько раз слышал я от них об этой станции Флорешты. Знал, что со станции до Сорок тридцать километров и что на станции всегда много извозчиков-евреев. Нахожу одного из них:

– В Сороки, к доктору Авенариусу.

– Мы очень любим доктора. Но, панич, имеете пропуск в Сороки? По дороге в каждом селе румынские жандармы будут требовать пропуск.

Говорю, что не имею. Извозчик исчезает, говоря, что для доктора Авенариуса всё сделает. Потом возвращается с другим и объясняет, что его товарищ едет тоже в Сороки и везёт румынского офицера с женой.

– Панич! Вы сядете на козлы рядом со мной, и ни один жандарм нас не остановит.

Через три часа, высадив румынского офицера, он подвёз меня к дому, где жил дядя Коля.

В окнах был свет. Все сидели за ужином – и семья дяди Коли, 
и наши. Радость, объятия, расспросы, рассказы. Узнал я, что наши живут здесь уж недели три. На границе их порядочно обобрали, нашли спрятанные у мамы деньги, у Оли золотые часики, но всё ж они благополучно доехали до Киева. В Киеве был ещё относительный порядок. Семья тёти Сони приняла их так радушно, как самых близких родственников. Папа захворал там испанкой в тяжёлой форме, муж тёти Сони Александр Сергеевич Своехотов, доктор медицины и приват-доцент университета, был очень внимателен. Деньги, переведённые из Москвы, в Киев ещё не пришли.

Я сейчас сделаю некоторое отступление и посвящу несколько строк семье Своехотовых. Прекраснейшая семья. Младший сын и младшая дочь – Саша и Сонечка – весёлые, обаятельные, красивые певцы и музыканты, любимцы семьи. Старший сын Миша и старшая дочка Наташа – в другом роде. Более скромные, тихие, серьёзные, но такие же отзывчивые и приветливые. У Миши был какой-то сердечный недостаток, и он не был взят на войну, младший Саша окончил инженерное военное училище в конце войны, когда в Киеве каждые полгода

сменялось правительство, когда молодёжь должна была выбрать, с кем она идёт.

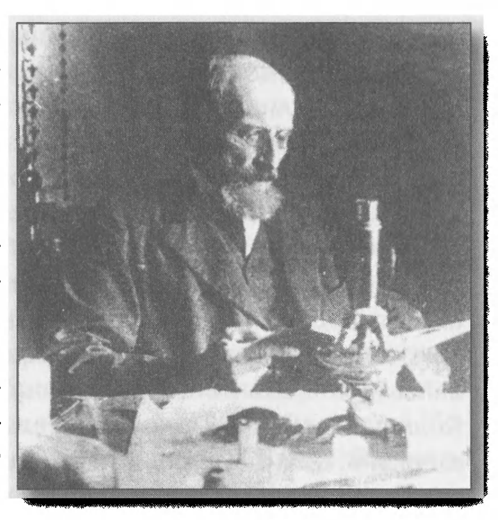
Саша поступил в Добровольческую армию. Последний раз я встретился с ним в Константинополе. Оттуда он уехал в Нью-Йорк, поступил в большой оркестр как пианист и иногда мне посылал открытки из разных частей света, куда попадал с оркестром. Потом осел в Нью-Йорке. Все остальные остались в Киеве. Во время войны прервалась связь с Сашей и после войны долго не возобновлялась. Так как в Киеве жил ещё брат Александра Сергеевича, то, когда к нам приехал кто-то из Киева, я попросил их узнать адрес кого-нибудь из Своехотовых. В Киеве не нашлось ни одного. Позднее моя канадская родственница, а именно дочка дяди Коли, сообщила мне о печальной судьбе прекрасной семьи Своехотовых. Соня и Наташа вышли замуж. Миша оставался ещё холостым, когда в 1933 году арестовали его и мужа Сони. За что? Оба так и не вернулись домой, погибли в концлагерях. Наташа с дочкой погибли при бомбардировке Киева немцами. О муже Наташи не знаю ничего. Соня с дочкой пробрались из разрушенного Киева на Запад, списались



с Сашей, и он их вывез в Нью-Йорк. И Саша, и Соня недавно умерли там. О дочке Сони ничего не известно. Милые, хорошие Своехотовы...

Продолжаю своё повествование. Румыны, хотя и подписали договор с советской властью об уходе из Бессарабии, но не думали его исполнять. Советская власть была слишком слаба, чтобы даже с такой маленькой, тогда ещё бедной, невооружённой Румынией справиться, и оставила [русских] жителей даже без моральной поддержки. Всем жителям было предложено принять румынское подданство. Вернее, все жители, не подавшие заявление об отказе принятия румынского подданства, становились румынскими гражданами. Население Бессарабии наполовину было молдавское, наполовину русское. В городах было больше русских, в деревне наоборот. Дядя Коля отказался принять румынское подданство и был отстранён от службы земского доктора. Под влиянием общественного мнения ему как раз перед моим приездом была разрешена частная практика. В Сороках было семейств двадцать отказавшихся от подданства. Между ними поляк доктор Свирский (друг дяди Коли), поляк Яновчик, агроном, чех Гуцел, русский немец инженер Манштейн, крупный

землевладелец Олейников (старой дворянской фамилии). Все не принявшие подданство были взяты на учёт, и мужчины от семнадцати до сорока лет были обязаны раз в неделю являться в сигуранцу* и выслушивать румынские ругательства. Всем им дали одно прозвище «большевик». Папа по приезде был тоже вызван и, конечно, тоже отказался от чести быть румынским гражданином. Мне на второй или третий день тоже пришлось идти и выслушивать ругательства.



*Николай Николаевич Авенариус (1865–1928) (дядя Коля).*



Дядя Коля был всегда бессребреником. Когда он был на службе (т. е. занимал как-то медицинскую должность), он не признавал никаких денежных или натуральных вознаграждений кроме жалования. А был опытный врач, следивший за иностранной и туземной медицинской литературой, любивший свою работу. Когда его приглашали как консультанта в тяжёлых случаях, он гонорар просил отдать бедным. Жена его тётя Варя понимала и одобряла его. Понятно, что жили они скромно, пользуясь в городе исключительным уважением.

Теперь надо было начать жить с частной практики. Рано утром он принимал дома, перед обедом шёл по пациентам. Поспав часок после обеда, продолжал обход больных. Возвращаясь, он выворачивал карманы и выбрасывал оттуда смятые румынские и русские бумажные деньги и всегда сконфуженно на них смотрел. Мы знали, что посещая еврейскую бедноту (а в Сороках её было много), он не только не брал, но и оставлял деньги на лекарство.

В первые же дни я познакомился и с «большевиками» — русской молодёжью, не принявшей румынское подданство. Репрессии против нас — объединяли. Но осматриваться мне пришлось

* Тайная полиция в королевстве Румыния, существовавшая с 1921 по 1944 годы.

недолго. Кажется, на седьмой день моего приезда (это было 4 декабря), на именины тёти Вари, я почувствовал страшную головную боль, свалился. Тогда уж начал свирепствовать сыпной тиф. Где-то по дороге меня укусила заражённая тифом вша. Моё огромное счастье, что я успел добраться к дяде Коле. Задержись я где-то в дороге, не жил бы я и не вспоминал прошедшее. Тиф тогда ещё только входил в силу. Я был изнурён дорогой. На другой же день болезни я потерял сознание и оставался без него двенадцать дней. При этом был я очень буйный. Срывался с постели и хотел куда-то бежать. Около меня всегда сидели или мама, или папа. Молодёжь не подпускалась. Помогали, конечно, и дядя Коля, и тётя Варя. Самая решительная была, говорят, наша горничная Маня (она с нашими добралась до Сорок) – сильная деревенская девушка, услышав шум и возню в моей комнате, она бежала туда и быстро справлялась со мной. Так продолжалось до кризиса. Запасы камфары, которую дядя Коля всегда имел наготове для впрыскивания (с лекарствами было туго), меня несколько раз спасали. На седьмой вечер дядя Коля смерил пульс, температуру, и сказал:



– Будет жить.

Был вечер. Мама осталась сидеть у меня, папа пошёл в соседнюю комнату отдохнуть. Я спал спокойно, не рвался. Мама могла полулёжа в кресле дремать. Утром, ещё до рассвета, пошла разбудить папу. Пришла его очередь дежурить. Вошла в спальню. Папа лежал на спине какой-то странный. Около кровати лежала читанная книга. Мама подошла, хотела его разбудить. Папа был мёртв.

...Папа очень редко хворал, я даже не помню его лежащим в постели, не уходящим ежедневно на службу. Но вот за месяц до начала Первой мировой войны он решил поехать на одесские лиманы. Хотел избавиться от надоевших ревматических болей в ногах. Пробыл там недели три и вернулся в плохом настроении, что у него редко случалось.

Маме пожаловался, что после горячих ванн и грязевых обкладов сердце у него начало шалить. Доктор при санатории запретил ему (поздно!) пользоваться ваннами, предупредив, что сердце у него не совсем в порядке. Папа много пил кофе, много курил, много работал, но всегда считал себя совершенно здоровым человеком.

Начавшаяся через неделю после возвращения папы война отвлекла его внимание от сказанного в Одессе. Весь он отдался служебным обязанностям, заботам, связанным с войной. Был по-прежнему энергичен, но уж не так жизнерадостен. Потом в начале революции он упал и сломал себе ключицу. Перед тем как вправить сломанную ключицу доктора, исследовав его сердце, отказались от наркоза, и отец терпеливо перенёс все боли без него. Маме доктора сказали, что с сердцем у папы неважно.

А тут начались тяжёлые переживания, связанные с приходом новой власти. Удержать фабричное производство от полного развала стоило папе много сил и нервов. При переезде из Москвы в Бессарабию наши остановились в Киеве у папиной кузины Сонечки Своехотовой. Тогда свирепствовала по всей Европе, включая и Россию, «испанка». Захворал ей и папа. Муж тёти Сони, известный киевский врач, поставил папу на ноги и сказал маме, что [он озабочен] состоянием папиного сердца.

Но папа в Киеве ожил. Там была ещё нормальная жизнь – без классовой вражды, без ярлыков «дворянин, буржуй». В таком приподнятом настроении приехал папа в Сороки к дяде Коле.  Удручало его положение Коли, отказавшегося от принятия румынского подданства, и последствия этого. Сам папа тоже наотрез отказался принять его. Всё это опять взволновало его. Потом счастливо добрался до Сорок и я. Вся семья была в сборе. Папа ожил. Но через неделю я с трудом боролся с сыпным тифом. Две недели был на границе жизни и смерти. Потом настали критические часы и минуты. Дядя Коля вздохнул:

– Теперь Коля пойдёт на поправку.

Вечером мама сменила папу у моей постели. Папа пошёл отдохнуть, что-то читал. Книга выпала у него из рук. Смерть застала его во сне. По постельному белью, по одеялу не было видно, чтобы папа перед смертью метался. Мама из соседней комнаты, дверь в которую была открыта, ничего не слышала. Когда пришло время папиного дежурства, мама подошла к папе; папа спокойно лежал как всегда на спине, но уж слишком спокойно. Мама думала, что он в обмороке, и бросилась к дяде Коле. Через минуту он был при папе. Старый опытный врач, он сразу понял, что папа мёртв. Мама не хотела верить, требовала вскрыть вену. Дядя исполнил желание мамы. Сомнений не было. Это было 18

декабря 1918 года. Папе скоро должно было исполниться пятьдесят пять лет. Теперь без всяких колебаний могу сказать, что смерть для папы была «избавительницей». Последние мысли его были, конечно: «Ну вот, теперь всё хорошо, Коля выздоровеет».

Но что папу ожидало, если бы его сердце не было таким бесконечно усталым? Деньги, которые папе удалось переслать из Москвы в Киев (почти все сбережения за последние годы, которые можно было бы обменять на леи), не дошли до Киева. На них можно было бы прожить скромно года два. Ехать за ними в Киев было невозможно, граница между Бессарабией и Россией наглухо закрыта. На всё, что нашим в двух чемоданах удалось провезти через границу, что не было отобрано, можно было прожить, постепенно продавая, два-три месяца.

Дяде Коле в виде исключения разрешили врачебную практику в наибеднейшем районе Сорок, населённом бедняками евреями-ремесленниками. На это можно было как-то прожить дяде, тёте и трём взрослым детям.

Жизнь в оккупированном городе остановилась. Найти какую-нибудь работу, кроме тяжёлой подённой, было нельзя. Как отказавшийся принять румынское подданство (таких в Сороках оказалось человек тридцать), отец получил аттестат «большевик» и должен был каждую неделю являться на проверку в сигуранцу. Жить без работы отец вообще не мог, а жить и отрывать у дядиной семьи кусок хлеба было выше папиных сил и приносило бы ему невероятные страдания.



Правда, в 1905 году дядя Коля, молодой железнодорожный врач, был замешан в революционном движении и, по ликвидации его, был лишён места. Без средств с тремя детьми они приехали к нам в Мологу, жили у нас месяца четыре, пока дядя не получил место врача в Сороках. Но ведь это было совсем иное. У нас была большая квартира, папины финансы не чувствовали увеличения семьи вдвое. Мы были рады, нам было веселей с ними. Те времена нельзя сравнивать с теперешними. Тётя Варя, бесконечно добрая женщина, и дядя никогда бы не дали почувствовать, что мы им в тягость. Но это был факт, мы сами это видели. Повторяю, папа бы страшно страдал в ситуации, в которой мы очутились.

Теперь ещё несколько последних слов — воспоминаний о папе. Столовая. Папа только что закончил играть с дядей в пре-

ферансе. Тётя Варя собирает ужин: кукурузная каша «мамалыга» с солёными огурцами. Папа ходит из угла в угол по комнате. Правой рукой поддерживает левую, которая ещё на перевязи. Не знаю, держал ли он так руку, потому что она болела, или касался груди, где беспокойно билось сердце. Вид у него был такой больной, такой усталый. Я спрашиваю:

– Болит?

– Немного, пройдёт.

У меня самого страшно болит голова – первый признак начинающегося сыпного тифа. Я ложусь на кушетку и забываюсь. Дядя и Котик (кузен) переносят меня в соседнюю комнату. Теряю сознание...

Сознание вернулось ко мне дня через два после похорон папы. Мама сидела при мне. Пришёл дядя Коля. Пошутил, что я проспал целых три недели. Я жаловался на боль в левой ноге.

– И это пройдёт. Закупорка вен от высокой температуры.

У мамы измученный вид. Она с трудом удерживает слёзы. Я капризен. Недоволен этим. Почему мама плачет, когда со мной так хорошо всё кончилось? Хочу видеть папу. Мама молчит. Дядя Коля говорит, что папа уехал в Черновцы, что там надеется получить место. Приедет, наверно, недели через две-три. Мама, плача, уходит из комнаты. Появляются Оля, Тавочка, Аня, Котя, все поздравляют меня с выздоровлением. Дядя их вскоре всех удаляет. Я утомлён и засыпаю.



Потом попеременно кто-нибудь сидит около меня, когда я не сплю. Больше всех мама. Читала мне, как теперь помню, Короленко «Историю моего современника». Читает, а потом заплачет и уйдёт. Приходит Оля, успокаивает меня, объясняет, что у мамы растрёпаны нервы. Я ещё очень слаб, со всем соглашаюсь. Через неделю начинаю подниматься, сидеть в постели. Левая нога почти не действует. А через две недели с костылём подмышкой вышел первый раз в столовую. Помогли мне сесть. После обеда я спрашиваю дядю Колю:

– Когда вернётся папа?

Дядя Коля встаёт и дрожащим голосом говорит:

– Коля, мы тебя обманывали. Ты был ещё очень слаб, чтобы знать правду. Папа твой умер, когда ты был в без сознания.

Я вскакиваю, хочу куда-то бежать, нога не слушается, и я падаю. Дядя и Котя переносят меня в мою комнату. Помню

только, что я долго-долго беспомощно плакал. Около меня сидели мама и Оля и так же беспомощно плакали. Когда я немного успокоился, то попросил рассказать, как и почему умер папа, кто его хоронил, где его могила. Похоронил папу православный священник (папа был лютеранин, но в Сороках не было пастора). Гроб на кладбище несли по очереди Котины товарищи. Было много народу, ведь дядя Коля был очень любим в городе. Мама продала папину шубу, заказала дубовый крест. Когда земля оттает и я смогу ходить, мы все втроём пойдём на папину могилку.

Мне было очень тяжело, но что это в сравнении с маминым горем. По моим воспоминаниям вы знаете, что мама выросла без материнской ласки, в очень благоприятных с внешней стороны условиях, но между чужими людьми. Отец её навещал раза два в месяц, но матери не было. Любила она искренно только тётю Наташу (дочь профессора Зернова, в семье которого мама воспитывалась). Потом пришёл папа и заменил ей всех.

В его детстве было что-то общее с детством мамы. У моего дедушки было семеро детей от первого брака. Бабушка (Августа Ивановна фон Рибен) была женщина болезненная, забот же



с детьми имела по горло. У дедушки, кроме братьев, была и сестра Соня (папина тётя Соня, не смешивайте с папиной кузиной Соней). Эта тётя Соня вышла замуж за миллионера Владимира Карловича Феррейна.

Он принадлежал к московским немцам. Это была особая категория москвичей. Уже с времён Ивана Грозного начали появляться на Руси немцы, специалисты как в ремесле военном, так и общежитейском. В царствование Алексея Михайловича переселился в Москву из какого-то немецкого княжества предок В.К. Феррейна, открывший близ Никольских ворот аптеку.

При Петре Великом иммиграция немцев в Москву ещё больше усилилась. Жили немецкие выходцы в Москве обособленно, не роднились с москвичами, держались своей лютеранской веры, играли в московской торговле и промыслах видную роль. Видным представителем этой немецко-московской группы был во второй половине XIX столетия и Владимир Карлович. Свободно владел русским языком, но домашней речью оставался немецкий, знал французский и английский, был любителем и знатоком музыки, я бы сказал – и русским патриотом: по крайней мере, Москву считал своей единственной родиной. Вот он

и женился на Софии Петровне Авенариус, которая была лингвистом и большим музыкантом. Когда папе было девять лет, умерла дочка Софии Петровны. Остался сын, ровесник папы, мальчик довольно нелюдимый, болезненный. И вот, чтобы их сын не рос в одиночестве, они выпросили у дедушки и бабушки моего отца. Дедушка и бабушка согласились, и папа из Варшавы, где в то время жил дедушка, переехал в Москву. Здесь сказалась полная разница характеров двух однолеток (они родились в один день). Папа был жизнерадостный, открытый, немного легкомысленный мальчик; его двоюродный брат Саша Феррейн был во всём полная противоположность.

На летние каникулы папа возвращался в семью и так не терял с ней контакт. Папа никогда не вспоминал свои детские годы в Москве. Напротив, о каникулах в Варшаве рассказывал много. В Москве папа окончил Петропавловскую гимназию с главным предметом «немецкий язык», освоил хорошо французский.

Праздники проводил в имении тёти под Москвой. Дядя научил его верховой езде, привил любовь к цветам. К тёте и дяде на всю жизнь у него остались и уважение, и любовь. С кузеном не сблизился. С последних каникул он уж не вернулся в Москву. 

Оля переживала смерть папы очень тяжело. Оля унаследовала от папы много душевных качеств. Оба были очень привязаны один к другому. Мне же пришлось с десятилетнего возраста жить отдельно от семьи. В Мологе была только женская гимназия, а мужская была в соседнем городе Рыбинске. Когда Волга не была подо льдом и ходили пароходы, я, как и остальные мологские мальчики-гимназисты, ездил домой каждую субботу. Но зимой было хуже. За всю зиму удавалось побывать дома три-четыре раза. Это имело свои последствия. Той тесной близости, которая была между Олей и родителями, у меня не было. Сблизились мы опять, когда мы переехали в Москву и я ходил в московскую гимназию, а жил в семье. Мне было тогда шестнадцать лет.

Теперь мама не отходила от Оли и Оля от мамы, переживая вместе свалившееся горе. В феврале [1919] я начал выходить из дома с палочкой, и мы втроём поплакали на могилке отца.

Ну, жить надо было, нужно было искать хоть какую-нибудь работу. Нашлась работа и для меня – репетировать отстающих в школе детей. Румынский язык ещё только начинал входить

в школу, так что я мог обойтись и русским. Мама давала уроки французского языка. Оля и Аня делали тянучки (конфеты) и продавали их в кондитерскую.

Хождение по урокам помогало ногам. Только первые десятки шагов были болезненны, потом кровь разбегалась по сосудам, и нога хотя и ныла, но идти было можно.

Потом мы с Котей освоили новую профессию – пиление и рубку дров. Сделали переносные козлы, наточили большую пилу, два топора и по утрам выходили на площадь, ждали заказчиков. Их было достаточно, но и конкурентов тоже было много. Заработок был слабый. А если попадётся суковатое дерево, то приходилось при рубке повозиться с ним. Весной начинались работы на виноградниках. Тяжёлая работа. Образовалась у нас своя дружина. Нанимал обыкновенно какой-нибудь еврей-арендатор. Поставит нас в ряд. По бокам и в середине поставит профессионалов-копачей. Отмерит каждому два метра и кричит:

– Начинай. Линию не ломать.

А ну, удержись на линии за копачом. Ладони в первые дни все в кровавых мозолях, которые лопались. Пальцы не разогнёшь,



спина болит, руки висят как плети, когда идёшь с работы.

Но через недельку привыкли и после работы шли на бульвар поухаживать за знакомыми девчатами. По вечерам собирались в доме у кого-нибудь из товарищей или у знакомой девушки. При свете мангала (чашечка с подсолнечным маслом и пробки с пропущенным фитилём) по очереди читали, пели, судачили, смеялись.

Сороки были на военном положении, по улицам можно было ходить летом до девяти, зимой – до семи часов вечера. Ходили патрули, ловили. Но между нашей компанией было много хлопцев, которые знали все переулочки, сады, где какой забор. Засидевшись, мы часов в одиннадцать группами благополучно добирались домой. Ведь мы были молоды, нужно было куда-то тратить энергию, хотелось жить. Много времени уходило на обсуждение планов – как же быть дальше. Нам, беспаспортным, было о чём призадуматься. Из города без разрешения даже в соседнюю деревню нельзя было пойти. Омерзительно было являться на проверку в сигуранцу. Придёшь, стоишь, никто не обращает на тебя внимания. Видишь, что это делается нарочно. Скажешь на ломаном румынском языке:

– Вот, на проверку явился.

[В ответ] страшная площадная ругань.

– Молчать, ждать.

Так и стоишь час и больше. Женщины и девушки были от явок освобождены. Меня и теперь пробирает дрожь от этих воспоминаний. Сороки были на границе. Днестр, а на другой стороне Россия. С обеих сторон граница охранялась очень строго, к берегу Днестра не подходи. Стреляли без предупреждения. Во всех и те и другие видели шпионов. При поимке те и другие страшно избивали, отнимали почти всю одежду, румыны сажали в тюрьму, русские куда-то увозили. Почтового сообщения с Россией не существовало.

Мы получили одно письмо из Германии от тёти Наташи. Сын её опасно заболел, нашлись связи, и ей с сыном было разрешено выехать на лечение за границу. В залоге остался муж и дочка. Письмо было очень печальное. Писала, что сын немного поправился, что через несколько дней она должна с ним возвращаться в ад. Не представляла, как долго муж выдержит лгать, притворяться, кланяться (он был видный московский юрист). Завидовала нам, своего адреса не сообщила. Подписалась чужим именем.



Кончалось лето. Нужно нам было до зимы на что-то решиться. Летом как-то помогали дяде Коле, а что зимой? В это время в России происходили большие события. С разрушением старого «до основания» и построением нового туманного мира многие были не согласны. Об этих событиях мы знали по румынским газетам, освещавших их на свой лад. По их данным ситуация рисовалась так: новая большевистская власть едва держится. С севера её теснит генерал Юденич, с западу Борис Савинков, с востока адмирал Колчак, с юга генерал Деникин. Правда, удалось создать Красную армию, привлечь в неё тем или иным способом старый генеральный штаб, героя Первой мировой войны генерала Брусилова. В их руках был весь военный арсенал и почти вся военная промышленность. Крестьяне, получив безвозмездно всю помещичью землю, были к власти в большинстве лояльны. Рабочие считали новую власть своей. Но ошибки, которые большевики делали одну за другой, жестокость, с которой приводили в исполнение необдуманные нововведения, масса негодяев, которые из личных выгод затесались в партию, по всей великой русской земле вызывали неудовольствие и восстания.

Всё это давало и нам, загнанным в тупик русским в Бессарабии, какие-то надежды. Брала страшная злость, что какие-то «руманешти» издеваются здесь над русскими, насильно их румынизируют. А новая русская власть, власть могучей страны молчаливо на это смотрит. А тут пошли слухи, которые скоро и оправдались, что в Атаках (местечке на Днестре против города Могилёва-Подольского) открылся пограничный пункт, где при наличии определённых документов дают русским подданным разрешение на выезд и въезд.

Несколько бездомных русских зашевелились, в том числе и мы трое. Когда слухи подтвердились, подали мы прошение на выезд из Бессарабии. Довольно быстро его получили. Собрали немногочисленные вещи, что ещё сохранились, и стали приготовляться в дальнюю дорогу. Хотели добраться хотя бы до Киева, ведь оставалась ещё какая-то надежда на деньги, которые могли лежать в банке. Как ни иллюзорно это было, но хоть что-то. А ведь у Оли был диплом об окончании историко-филологического отделения Московского университета. Она мечтала поступить учительницей в какую-нибудь гимназию. В Бессарабии диплом не имел никакой цены. За себя я не боялся, ведь я достаточно просидел за рулём военного автомобиля, чтобы мог на первое время заработать на хлеб насущный. До Атак можно было добраться лишь на лошадях, т. к. судоходство на Днестре было совершенно остановлено.



Узнали мы, что ловкие крестьяне из пограничных сёл образовали почти правильную переправу переселенцев в ту и другую сторону. Кажется, раз в неделю обоз с переселенцами прибывал в Сороки, часть его двигалась дальше к железной дороге, а часть, забрав желающих выехать из Бессарабии, отправлялась обратно. Узнали день прихода и в сопровождении всей дядиной семьи, все нагруженные узелками и чемоданчиками, направились на место, куда должен был прибыть обоз. Было решено, что я останусь с вещами при обозе, а мама и Оля придут ко времени его отхода в обратный путь.

Настроение у всех было плохое. Дядя Коля продолжал отговаривать, уверяя, что как-нибудь да переживём. Кроме нас троих с нами собралась ехать наша бывшая прислуга Маня и Галочка Лапо. Это была киевлянка, приехавшая в Сороки в отпуск к подруге и здесь застрявшая при внезапном закрытии границ. Она

была однолетка со мной, мне нравилась и в Сороках вошла в нашу кампанию. Позже я сыграл в её жизни некоторую роль, и мы с ней переписывались, а в прошлом году моё письмо к ней вернулось из Румынии с пометкой «умерла».

Но вот пришли подводы с выходцами из России. Их было человек двадцать. Они хотели что-то узнать от нас, а мы от них. Обратили мы внимание на два семейства, видно, по дороге сблизившиеся. По обращению их друг с другом, по разговорам было видно, что принадлежат к интеллигентным русским семьям, но внешний вид их был ужасен. Женщины, мужчины, дети – в лохмотьях. Когда из наших вопросов они поняли, что мы собираемся туда, откуда они едут, их удивление и ужас были беспредельны.

– Хотите ехать в Могилёв, оттуда в Киев? – безумие, полное незнание того, что творится теперь на Волыни, Подолии, на Украине. Мы из Житомира. Голод, преследования со стороны новой власти, вернее, полное безвластье царит там. Каждый месяц иная власть, иной произвол. Не можем [описать] всех этих петлюровцев, гетманцев, махновцев, карательных экспедиций, гоняющихся одни за белыми, другие за красными, еврейские погромы. Мы не евреи, русские, православные, имеем родственников в Бессарабии и решили здесь искать спасение. От Житомира до Могилёва километров триста; не надеясь на какое-либо правильное железнодорожное сообщение, мы всё же были убеждены, что за какие-нибудь десять дней доберёмся до Могилёва, а там переправимся через Днестр и будем в Бессарабии. До Могилёва мы добирались два месяца. Месяц умирали с голоду в Могилёве. К трудностям в дороге были мы приготовлены, взяли с собой только необходимое и ценное, что можно было в дороге продать или на что-нибудь выменять. Мы потеряли всё это, в дороге нас лишили всего этого. Мы потеряли больше этого, мы потеряли несколько членов наших семейств. Их скосил тиф, испанка, мы их даже не могли по-православному похоронить. При железнодорожных станциях, при перекрёстках шоссе, у лагерей отправившихся искать убежища людей, около могил не выдержавших испытаний – всюду снуют большие и малые банды или отдельные бандиты и отнимают всё, что имеет хоть какую-нибудь ценность. Искать защиты не у кого. Власти нет.

Рассказывая, они плакали, и с ними плакали мама, тётя Варя и девчата.

– Никуда не поедете, – заявил дядя Коля, – идём домой.

И мы вернулись домой к дяде Коле.

На другой день я получил временную работу, дней на десять. Поступил сторожем на кооперативные огороды, находившиеся километрах в пятнадцати от Сорок. Взял основательную буханку хлеба, бутылку подсолнечного масла, соль, какой-то котелок, спички, табачок и пошёл, нашёл эти огороды. Большое они занимали, ничем не огороженное пространство. Никаких строений, даже шалаша. Зато остаток скирды старой соломы. Есть где укрыться от дождя. Масса помидоров, баклажанов, горох, фасоль, дыни, арбузы. Молдаванская деревушка где-то не так далеко. Мне ещё в Сороках объяснили, что не надо стеречь от мелких воришек, мальчишек. В деревнях всего этого вдоволь. Надо только дать понять, что эти огороды не забыты, что кто-то их охраняет.

Днём я то прогуливался по огородам, то пугал птиц, то спал. По ночам разводил костёр и тоже спал. Никаких нашествий не было, даже не помню, чтобы кто-нибудь появлялся поблизости.

Варил я борщ чисто вегетарианский, поджаривал молодую картошку, объедался помидорами, огурцами и дынями. Дней через пять приехали несколько подвод с членами огороднического кооператива, старые и малые, привезли мне хлеб, масло, забрали всё, что созрело, и уехали.

Через неделю снова приехали, и я с ними уехал в Сороки. Там меня ждала новость: Оля за время моего отсутствия по совету одного врача побывала в одной из многочисленных в Бессарабии еврейских колоний. Названия колонии не помню. Еврейские колонии – это центры торговой и ремесленной жизни определённого района. Население на 90% евреи, – торговцы и ремесленники. Там есть доктор, почта, какое-то начальство. Там все дни, кроме субботы, окрестные крестьяне (молдаване и русские) могут всё купить и всё продать. Оля там выяснила, что она могла бы давать уроки музыки (клавир), а мама уроки французского языка. Квартира бы нашлась, и заработков хватало на скромную жизнь их двоих.

К моему возвращению из огородов было решено, что через неделю они туда переселятся. Не без трудов, но мне удалось убедить их в правильности моего решения, которое я принял, коротая

дни на огородах, а именно – самому (без мамы и Оли) воспользоваться разрешением покинуть Бессарабию и перебраться на юг России. Если будет возможность – попасть в Киев, или поехать в Крым, где в Судаке живёт дядя Володя и внук и внучка В.К. Ферейна. Мне было двадцать два года. Я совсем оправился от последствий тифа, был здоров, вынослив, имел опыт путешествий в современных российских условиях. Оставаться парией в Бессарабии я больше не хотел; просить румынское подданство не приходило в голову. Мне удалось получить согласие мамы и Оли, и я начал приготовляться к новому путешествию.

Я уехал из Сорок на несколько дней раньше отъезда мамы и Оли в еврейскую колонию. Узнав, что сорокский помещик Аксентович отправляет в имение сестры, лежащее напротив Могилёва, подводы с пустыми винными бочками, я получил от него разрешение пристроиться к этому обозу.

Через два дня я был против Могилёва. Но здесь ожидала меня первая неудача. Дня за два перед тем румыны закрыли пропускной пункт в Россию, так как открылся новый пункт километрах в пятнадцати ниже по Днестру, против узловой станции Резина, т. е. там, где год тому назад я перешёл границу из России в Бессарабию.



Не стоило из-за этого падать духом. Денег, правда, у меня было очень мало, но я знал, что на румынских дорогах того времени не было смысла покупать билет. Гораздо удобнее и дешевле было просто сговориться с кондуктором. Поезда тогда ходили когда хотели, смешанные, на десять товарных один классный вагон. В одном из них я и добрался до нового пограничного пункта. В прошлом году был ещё мост, по которому я перешёл границу. Теперь средний пролёт моста был взорван, и переправа производилась на лодках.

Приехал я под вечер. У переправы вижу двоих: мужчину в полувоенной форме и какую-то не то барышню не то молодую даму с громадой чемоданов, корзинок и узелков. (У меня не остались в памяти ни имена, ни отчества, ни фамилии, поэтому буду называть их: наша дамочка и мой спутник). Познакомился с мужчиной. Тот назвался бывшим военным корреспондентом при русской армии, застрял в Румынии. Интересный мужчина, лет тридцати, внушающее доверие лицо. От него я узнал, что дамочка тоже собирается переехать на русскую сторону Днестра.

Багаж ей перенесли железнодорожники, и теперь она, так же как и он, сидит и ждёт румынских пограничных властей.

Она дочь бессарабского помещика. Недавно вышла замуж за бывшего русского, а теперь польского офицера. Муж её теперь в Одессе и ждет её, чтобы вместе уехать в Польшу. Эти чемоданы и корзинки с её приданым, в узелках провиант на дорогу. Оказалось, что она уж разговаривала с комендантом пункта, и тот обещал ей ещё сегодня переправить на другой берег.

Верим, что комендант исполнит своё обещание, данное такой интересной и, по всему, – из богатой семьи, молодой даме. За полчаса мы все трое стали приятелями, договорились о взаимоотношениях. Мы – двое мужчин, будем охранять её и её багаж, переносить его, она, беззащитная женщина, будет заботиться о нашем питании: жареных уток, кур, домашних колбас дочки помещика хватит на всех.

Вскоре появился в сопровождении нескольких пограничников молоденький смазливый румынский офицер. Напомаженный, напудренный, как все румынские офицеры того времени. Он мило раскланялся с нашей дамочкой, заговорил с ней по-ру-

мынски. Она ответила по-молдавски – ведь старожилы-бессарабцы кое-как владели этим языком. Она рекомендовала нас румынскому офицеру. Мы предъявили наши пропуска. Всё было улажено за несколько минут. Солдаты и мы подхватили чемоданы и корзинки, перенесли их на небольшую, видно, комендантскую лодку. Два пограничника сели на весла, и вскоре мы были на другом берегу Днестра.

Там нас никто не ждал, никто нами не интересовался, никто не спрашивал документов, паспортов. Берег был пуст. Уже темнело. Местность мне была знакома по прошлогоднему переходу границы, и мы, меняясь, перенесли все вещи в корчму, находившуюся в полукилометре от берега. В корчме развязала наша дамочка узелки и накормила нас вкуснейшими вещами, которых и вкус я давно забыл.

Было уж совсем темно, в корчме грязно и неуютно. Решили перебраться на железнодорожную станцию. К багажу мы приспособились, и в два приёма всё было перенесено. Станция была почти пуста. Появились железнодорожники, от которых мы узнали, что поезда по направлению к Одессе ходят, но без всякого расписания. Правда, состоят из товарных вагонов, но ехать на

них можно. О движении по направлению к Киеву им ничего не известно. Об этом можно будет узнать или на станции Раздельной, или в Одессе. Решили, что поедем втроём в Одессу. Касса была закрыта, кассира не было.

– Все ездят без билетов, – успокоил нас железнодорожник.

Мы удобно разместили в углу наш багаж, уселись на него и мирно беседовали. Мой спутник был прекрасный рассказчик, культурный, интересный собеседник, безукоризненно воспитанный. Дамочке он нравился (ведь он кроме того был и интересный мужчина), но, чтобы это скрыть, она одинаково дружественна и внимательна была и ко мне. Когда с перрона раздавался какой-нибудь шум, один из нас шёл узнать, что случилось. Проходил локомобиль – или сам по себе, или с одним-двумя вагонами. Опять тихо. Железнодорожники успокаивали, что об отправке какого-либо поезда ещё ничего не известно.

Но вот появляется какая-то группа – неряшливо, разнородно одетые в военную солдатскую форму с залихватски, набекрень надетыми кубанками. Можно бы догадаться, что это какой-то заплутавший осколок кубанской воинской части. Подошли к нам, спросили:



– Кто такие?

Мой спутник встал и громко, по-воински чётко ответил:

– Я – военный корреспондент штаба Южной армии, а это – мои сотрудники.

Спрашивающий откозырял, и компания, наполовину подвыпившая, удалилась на перрон.

Вскоре на их место явилась другая группа людей, совсем иного типа. Мужчины и женщины средних лет, разнообразно, но прилично одетые, с чемоданчиками и узелками в руках, громко и возбужденно что-то говорили на еврейском жаргоне. Подошли с вопросами к нам. Мы лаконично ответили, что ждём поезда в Одессу.

– Мы едем тоже в Одессу. Поедем вместе, у нас для вас место найдётся. Мы вам скажем, когда нужно будет приготовиться.

Мы поблагодарили, но в дальнейшие разговоры не вступали.

Итак, сидим. Они галдят в одном углу, мы мирно беседуем в другом. Потом с перрона появляются два или три из наших знакомых в кубанках. Покрутились около группы евреев и исчезли. Евреи заволновались, двое убежали куда-то, вскоре вернулись.

Опять громко на еврейском жаргоне что-то обсуждают. Потом стали куда-то собираться. Один подошёл к нам:

– Здесь опасно оставаться, мы пойдём в корчму, железнодорожники нас известят, когда поезд будет готов. Уходите и вы.

Мы ответили, что ещё немного подождём и, наверное, тоже придём. Их волнение передалось дамочке. Она начала просить, чтобы и мы ушли. Пришлось согласиться. Но предварительно мы договорились с одним из служащих, что он разрешит нам наши вещи поместить в комнату кассира и даст нам от неё ключ. Перед хорошенькой дамочкой и её кошельком все двери открывались. Через полчаса мы были опять в корчме. Тускло горел какой-то огонёк. Корчма была переполнена жидками. Они галдели. Душно, воняет чесноком. Сесть не на что. Хотелось пить. Получили что-то похожее за зельтерскую, но ужасно противную. Чем дальше, тем хуже мы начинаем себя чувствовать в корчме. Евреи своим крикливым жаргоном отравляют душу.

Я решил пойти посмотреть, что творится на станции; там было тихо, по-прежнему жалкая лампочка освещала пустое помещение для ожидающих. Вернулся, рассказал – и вот наша дамочка решает за всех:



– Вернёмся на вокзал.

Ну и вернулись, взяли свой багаж и опять удобно разместились. Немного, кажется, вздремнули, когда еврейскмй галдеж нас разбудил. Компания евреев с воплями, слезами, проклятиями наполнила помещение.

– Нас ограбили, нас в третий раз ограбили. У меня вырвали сумочку с последним, что осталось! – кричат, мешая жаргон с русской речью.

Увидев нас, кричат на нас:

– Почему вы ушли и не предупредили нас? Кто сказал, что мы там?

Скоро мы поняли, что «кубанки» уже давно гнались за ними и здесь их нагнали. Слухи о жидовских погромах в районе Проскурова (центра еврейской финансовой знати) долетали до Бессарабии. После взятия Киева Добровольческой армией она вытеснила советские войска из Правобережной Украины. Потом эти войска оттянули на центральный фронт, но часть разнузданных казачьих частей смешалась с шайками разбитых петлюровцев и занялась грабежом и насилием.

Досталось больше всех евреям. При своей сплочённости им удалось захватить земные блага и даже увеличить их. Но пришла и на них беда. Теперь нам было их жалко, мы сочувствовали им, но вспоминая пережитое нашей семьёй, семьями наших родственников и друзей, вспоминая всё, что мы уже имели за собой, чувствовали какую-то разницу между нашими переживаниями и видимым теперь .

Материальные потери чаще всего не были так чувствительны, как незаслуженные оскорбления, незаслуженная, искусственно разжигаемая ненависть. Главные разрушители старого мира, члены нового правительства были на 60% евреи. Не думаю, что в описываемое время я вспоминал всё это, но ужасно омерзительно было переживать, что виновниками только что совершённых насилий были наши, русские, защитники нашей родины, казаки, которыми мы так гордились ещё недавно.

Куда же девались виновники этого грабежа? На станции о них ничего не было известно. Железнодорожники, которые временами проходили через помещение, ничего не знали, ничего не видели.

Понемногу жалобы постепенно утихли. Евреи чаще куда-то уходят, опять появляются, что-то сообщают своим. На рассвете слышится движение вагонов по рельсам. Следим за евреями, они волнуются.

К нам подходит тот железнодорожник, что давал нашей дамочке ключ от комнаты кассира, и сообщает, что поезд на Одессу уже составляется. Тогда мы тоже начинаем приготовляться. Это, видно, заметила и еврейская группа. Один из них подходит к нам и говорит, что мы должны ехать с ними, у них много места свободного. Мы киваем головами и ждём, что будет дальше. Евреи начали брать в руки свой багаж. Нам хуже, у нас его много. Тогда решаем, не обращая ни на кого внимания, переносить багаж на перрон. Так и сделали.

Не совсем напротив перрона стоит товарный поезд, над паровозом клубится дым. На перроне появляется еврейская группа. Направляются к товарным вагонам, кивая нам, чтобы следовали за ними. Я остаюсь с частью багажа, мой спутник с дамочкой, оба нагруженные чемоданами, спешат за еврейской группой. Мой спутник возвращается, и мы с последними вещами спешим к вагонам. У одного из них стоит железнодорожник, торопит нас

скорей лезть в вагон. Влезаем, вагонная дверь закрывается, слышим, как щёлкает запор.

– Повезут как контрабанду, – шутит мой спутник.

– Никаких разговорчиков, ни слова, будьте как мёртвые, – рассерженно раздаётся из еврейской группы.

В вагоне почти совсем темно. Свет проникает лишь из щелей задвижной двери. Но когда глаза привыкают, видны силуэты людей. Молча, на ощупь, раскладываем свои вещи и усаживаемся. Вагон трогается, но ещё долго мы мыкаемся то вперёд, то назад, переходя с одной колеи на другую, прицепляя вагоны. Ведь уже начало сентября, начались перевозки зерна из провинции в центр. Потом поезд начал увеличивать скорость. Поняли, что уж двинулись по направлению к Одессе. Еврейская группа ожила, затараторила на жаргоне, вставляя иногда русские слова.

## Россия, Крым

Проехали мы, наверно, около часа, когда поезд остановился, по-видимому, на какой-то станции. Мгновенно разговоры затихли. Сидим будто в рот воды набрали. Опять нас начали возить туда-сюда, опять прибираем новые вагоны. Опять стоим. Видно, скоро поедем дальше. И в это время слышим, как кто-то подошёл к вагону и остановился, открывает запор. Два жидка бесшумно подскочили к дверям и ногами уперлись в двери. Снаружи их стараются отворить, но безуспешно. 

– А ну, открыть, не держать двери, проверка!

У нас тихо. Снова окрик:

– Пустить двери или будем стрелять!

– Пустите, отворите, – начали молить женщины, – ведь нас постреляют.

Пустили.

Двери открылись, в вагон влился свет, и видим, что ловко в него влезают и сразу же встают две фигуры. Сколько лет прошло, а они и сейчас передо мной как живые. Один высокий, сильный, в военной форме с погонами поручика, грубым и неприятным лицом; другой маленький, коренастый, лихой вахмистр со смеющимся жульническими глазами, по-видимому, подвыпивший.

– Куда едете? – бросает поручик.

– В Одессу, – услужливо отвечают из группы.

– Мы тоже, значит поедем вместе, – басит поручик.

Они стоят около дверей, прикрывают их, оставляя щёлку, и начинают курить. Все молчат, включая и нас. Немного погодя поезд тронулся и начал набирать скорость. Едем дальше. Вдруг поручик, засовывая руку в карман и обращаясь ко всем, резко говорит:

– Ну-ка, покажите ваши железнодорожные билеты.

Все молчат.

– А ну живей! – вахмистр суёт тоже руку в карман и вынимает наган.

Тогда один из евреев, видно, предводитель группы, говорит:

– Господин капитан! Мы купили целый вагон, мы заплатили за него много денег.

– Ну так скорей квитанцию, – также резко бросает поручик.

– У нас нет квитанции. Поймите, господин капитан, мы честно заплатили, но квитанции нам не дали.

– Ну так заплатите ещё раз, да подороже. А ну, вахмистр, посчитай-ка всех безбилетных.

Вахмистр подтянулся. Одной рукой помогает себе считать, другой держит наган. Считал на глаз, а когда пришёл черед считать нас, начал считать и нас.

– Господин вахмистр, не считайте их! Они не из наших, – закричал кто-то из группы евреев.

– Ладно, не считать их, довольно, – также жёстко бросил поручик.

Мы с военным корреспондентом закурили. Напряжение

было столь велико, что без нескольких основательных затяжек обойтись было нельзя. Теперь вынул руку из кармана и поручик. В ней оказался внушительного вида пистолет – не то браунинг большого калибра, не то стейр.

– Ну, теперь подсчитаем. С каждого безбилетного столько-то, со всех будет... – он назвал какую-то очень внушительную сумму.

Нас она просто ошеломила. Правда, я не знал тогда цену денег.

– Господин капитан, у нас нет столько денег. У нас совсем мало денег. Нас уж столько раз грабили. У нас очень мало денег! – завопили еврейчики.

– Тихо, молчать! Вахмистр, закрой двери. Когда не найдёте денег, мы их сами найдём. Если не деньги, так что-нибудь другое. Вахмистр умеет их находить. Кто не заплатит, выбросим вон. Даром никто ездить у нас не будет.

Дальнейший ропот был подавлен окриком:

– Молчать!

Вагон снова стал двигаться туда-сюда, опять прицепляли другие вагоны. Наша дамочка начала нам шептать, что она за себя сама за-

платит. Но мы её остановили, прося сидеть тихо. Непрошеные гости молчали, щёлкали затворами своих пистолетов. По всему было видно, что они уже не раз разыгрывали такие сценки.

Несчастные евреи шептались между собой, ссорились. Мы имели время поразмышлять о ситуации. Ясно было, что весь этот грабёж делается большой группой, что в нём замешаны и железнодорожники, получающие определённую часть. Номера вагонов, в которых был «живой груз», передавались главарям шайки. Эти номера знали, конечно, и на узловых станциях, чтобы там не вмешивались и не портили дело. Железнодорожников можно было отчасти и понять. Нигде никто в то время не работал. А им приходилось удерживать движение. Железнодорожная касса была пуста, надо было её пополнять.

Заодно мне стало понятно, почему евреи оказались на Днестре. Они убегали издалека. Решили пробраться в Румынию. Их, видно, там не пропустили, они изменили маршрут и пробирались в Одессу. А за ними, как и за другими группами, всё время следили и по нескольку раз грабили.

Потом наш поезд опять начал набирать скорость. Вахмистр опять приоткрыл дверь. Евреи переругивались.



– А ну кончайте, иначе вахмистр начнёт сам собирать деньги и кого нужно выкидывать на полотно! – громогласно и лаконично заявил поручик.

– Господин капитан! Минуточку, минуточку, и всё будет в порядке, – успокаивал поручика кто-то из евреев.

И действительно, вскоре [явилась] большая пачка денег.

– Господин капитан, пожалуйста, пересчитайте.

Поручик не стал их пересчитывать, просто стал рассовывать по карманам. Когда кончил с деньгами, спрятал в карман и револьвер. Было тихо. Все, казалось, отдыхали от пережитого. Скоро поезд опять начал замедлять ход. Вот он почти остановился, поручик и вахмистр ловко спрыгнули на полотно. Кто-то из евреев задвигает за ними двери и шипит:

– Тихо, ни слова, а то опять кто-нибудь придёт.

Мы едем, опять начинаются разговоры, но воплей и слёз нет. Все как-то успокоились. Кто-то сообщает, что теперь будет станция «Раздельная». Действительно, поезд стал замедлять ход, и по подскакиванию вагонов можно было понять, что приходим на большую станцию со множеством стрелок. Когда остановились,

кто-то из жидков выскочил, куда-то исчез и, вскоре вернувшись, радостно сообщил, что всё в порядке, что можно пойти на вокзал, что он видел там даже буфет.

И мы решили размять ноги. Первым пошёл я. На перроне, освещённом электрическими лампами, много прилично одетого народу, хотя был поздний час. Видел даже целый поезд из классных вагонов. Когда все побывали где нужно, размяли ноги, вернулись в вагон. Появились свечи. Наша дамочка тоже их достала. Мы были все голодны, ведь не до еды было. Начали все закусывать кто что имел или успел купить на вокзале. Нас опять дамочка вкусно накормила.

– Приехали в страну обетованную, – кто-то из нас пошутил.

Поезд опять тронулся. Стало известно, что часа через три будем в Одессе. Решили поспать, ведь мы ещё от начала дороги почти не спали. Проснулись в Одессе.

«Одесса-мама» – так в шутку назвали этот прекрасный, живой, красивый город, промышленный и культурный центр Юга старой царской России, на 40% населённый евреями.



Была ночь, но до рассвета было уже недолго. Вынесли из вагона вещи. Еврейская группа с вещичками в руках уходила, приветливо с нами прощаясь. Мы ответили им тем же. Мой спутник пошёл на разведку. Вернувшись, сообщил, что поблизости находится какая-то будка. Железнодорожник, заведующий будкой, сообщил, что мы не на главном вокзале, а на товарной станции, что передвигаться ночью по Одессе небезопасно. И прежде одесские жулики славились, а теперь их раз в пять больше. Предлагал нам у него в будке оставить вещи, до рассвета переждать на товарной станции, а утром двинуться дальше. Мы так и сделали.

Утром нашли дамочке извозчика, нагрузили его вещами. Дамочка дала нам адрес и уехала, взяв с нас слово, что не завтра, а послезавтра мы её навестим и славностным обедом отметим день конца дорожных мытарств. Для неё это было, конечно, так, для меня [тоже] всё складывалось как нельзя лучше.

А так мы добрались до большого центра, почти не истратив ничего из наших скромных средств, да и желудок наш не мог пожаловаться на недостаток съестного. Одним словом, мне повезло.

До центра города было довольно далеко, и, проводив, дамочку, мы с моим спутником сразу же зашагали по пробудившейся

Одессе. В городе самыми фешенебельными улицами были Ришельевская и Дерибасовская. Обе носили названия в честь строителей Одессы – французов, застрявших в России после наполеоновского нашествия.* На одной из них, у какого-то ресторана, мы расстались с военным корреспондентом, договорясь встретиться здесь вечером. У него были свои планы, у меня – свои.

Из нашей семейной хроники я знал, что в Одессе жил один из двоюродных братьев моего деда, известный одесский врач. Он оставил многочисленное потомство, и я имел все шансы кого-нибудь из них найти. И действительно, в адресном столе мне дали адреса двух Авенариусов. Один уже старый человек, другой помоложе. Я решил навестить младшего по имени Александр. Визит к нему я отложил на более поздний час, а пока решил ознакомиться с городом.

Конечно, вернулся на главную улицу. На ней было большое движение. Много, даже слишком много военных в самой разнообразной форме, вплоть до формы мирного времени с золотыми погонами, шпорами и т. п. Штатская публика, как мужчины, так и дамы, в большинстве были очень прилично одеты, некоторые даже вызывающе шикарно. Чувствовалось, что эта улица не деловая, а респектабельная. Магазины удивляли своими шикарными витринами. Было особенно много ювелирных магазинов, меховых, продающих художественные изделия и картины. Вскоре я сообразил, что все эти магазины ни что иное, как антиквариат с очень разнообразным ассортиментом продаваемых вещей. Одни вынуждены были продавать свои фамильные ценности, чтобы жить, другие вкладывали свои излишки в вещи.



Много ресторанчиков, кафе, буфетов, баров с ночной программой. Но не было видно простых мануфактурных, колониальных, съестных магазинов. Для еды предлагались лишь мороженое и торты. Обратил я внимание на помещение, в котором двери были широко открыты, все стены и простенки оклеены объявлениями, в середине столик, на нём пишущая машинка, за столиком еврейчик, предлагающий воспользоваться этим дешёвым способом извещения публики о возможном: купля, продажа, наём комнат, части комнат, целых квартир, розыск знакомых, дешёвые обеды... Прочитав их, знакомился человек с жизнью города.

---

* На самом деле основатель одесского порта О.М. Дерибас и первый градоначальник Одессы Э.О. Ришелье служили в русской армии.

Потом я увидел что-то вроде читальни с вывеской «Осваг»*, вход бесплатный. Столы завалены газетами, журналами, брошюрами. Нашёлся свободный стул, и я, оторванный больше года от русского печатного слова, начал читать всё что попало: политические обзоры, военные бюллетени, жизнеописания выдающихся генералов, участников и вождей противобольшевистского движения. Информации для меня очень ценной здесь было много, и я просидел там, пока голод не выгнал поискать чего-нибудь поесть. Узнав дорогу на базар, двинулся туда.

Большой базар, всего вдоволь, но по моему карману был только большой кусок хлеба и помидоры. Кусок сала у меня ещё сохранился из Сорок. С базара пошёл знакомиться со своим дальним родственником.

Квартира в большом, видно, с дорогими квартирами доме. Отворила миловидная особа лет тридцати, видно, хозяйка дома. Объяснил ей, кто я, цель визита. Она провела меня в большую комнату, в которой стоял большой рояль, фисгармония, несколько книжных шкафов. Приёмная или кабинет культурного работника и музыканта, которому удалось и в дни переворотов сохранить уют



и комфорт. Мадам объяснила, что муж вернётся не скоро, что будет рад познакомиться, и пригласила меня на завтра на скромный обед. Всё это было сказано в очень любезной форме, я поблагодарил, а так как на обед к нашей попутчице мы были приглашены на послезавтра, то поблагодарив, простился.

Смущал меня лишь мой костюм. Но в моём вещевом мешке был папин чесучовый пиджак, чистая рубашка, а сапоги можно было почистить, и я успокоился.

Погулял ещё немного по городу, и вечерком мы встретились с моим спутником. У: него тоже ещё ничего определённого не было, его финансы были так же неутешительны, как мои, решили искать дешёвую ночлежку. Нам порекомендовали ночлежный дом при Пантелеймоновском подворье. Это интересное заведение. Я читал и слыхал о московских ночлежках на Сухаревке, приюте всех пьянчужек, воришек и бездомных. В драме Горького «На дне» на сцене Московского художественного театра она была изображена во всей своей наготе. Пошли. Открывалась она в восемь часов вечера. Стоимость ночлега нас вполне устроила.

* Осведомительное агентство Добровольческой армии.

Приходящий мог оставить свои вещи на сохранение, получал номер на место на деревянных нарах без тюфяка и подушки. Горячая вода на чай, умывальники и прочее были к диспозиции. Я бы сказал, что было сносно и чисто.

Мы несколько ночей не спали, были молоды, так что несмотря на твёрдые доски скоро уснули. Проснулись, когда в помещении почти все были на ногах. Сначала не могли понять, где мы. Людей, вернее сказать, всякого сброда, хоть отбавляй, всё больше среднего возраста. Все чем-то заняты, переругиваются, но слышится и начальствующий голос. Одни почти голые, другие в лохмотьях. Вспомнили совет старичка, соседа по нарам, сапоги привязать ременным поясом к телу.

– Иначе утром не найдёте их, – сказал он.

Сапоги были целы, хотя ночью нам сильно мешали спать. Сидим на нарах и приглядываемся. Те, что одеты, стоят при двери, готовые к отходу. Всё это бродяги, безногие, безрукие, лица больные, грязные, идиотские. Но голос у всех бодрый, молодой, из рук в руки переходит бутылочка, наверно, с водкой. Да ведь это маскарад, – мелькает в голове. Вот одному смеющемуся парню привязывают не то верёвкой, не то грязным бинтом кисть руки к плечу. 
Потом на локоть,надевают чехол, привязывают его верёвками, чтоб не сполз. На него надевают другой чехол. На нём масляными красками мастерски рисуют (как живой) локоть, гниющий, обезображенный, с торчащей костью. Другая рука с искалеченной кистью на грязной перевязи. Его одевают в какие-то широчайшие лохмотья, перепоясывают верёвкой, на грудь прицепляют солдатский георгиевский крест, на голове солдатская рваная фуражка. Теперь он попадает в другие руки, к другому мастеру. Этот, видно, бывший театральный гримёр, делает из здорового парня за несколько минут измученного полуидиота с красным носом.

А мы сидим и смотрим. Нам никто не мешает, иногда гримёр подмигивает нам, ожидая одобрения. В другом углу превращали парня в безногого калеку. Во всём видна рутина, организованность, дисциплина. Насмотревшись вдоволь, мы выскочили из Пантелеймоновского подворья. Нам удалось увидеть один из филиалов этой международной жульнической организации.

Сначала мы отплёвывались. Потом рассмеялись – что-то новое, бытовое нам удалось увидеть. Скоро мы опять расстались с попутчиком, уговорившись вечером опять встретиться на

старом месте и поискать ночлег, но уже в другом месте, и опять разошлись, но каждый по своему усмотрению.

Надо было решать: что дальше? Из всего прочитанного в Осваге казалось, что наступление противобольшевистских сил успешно развивается. Генерал Деникин отдал приказ начать наступление на Москву, был уж взят Курск, наступление шло по направлению на Орёл. Девизом наступления было: «Вся власть Учредительному собранию!», которое лишь одно должно было решить, по какому политическому и экономическому пути пойдёт Россия.

Большевики, которые, несмотря на свои заманчивые лозунги: «Мир хижинам, война дворцам; грабь награбленное; вся земля трудящимся; пролетарии всех стран, соединяйтесь», не могли рассчитывать в Учредительном собрании иметь больше 20%, решили воспользоваться наличием в Петрограде огромной массы солдат, ушедших самовольно с фронта, и бестолковщиной мероприятий Временного правительства, и разогнали с оружием в руках безоружных депутатов Учредительного собрания и положили на Руси начало смуты. Положить конец смуте на Руси было вторым девизом генерала Деникина.



Я, когда вырвался из отрезанной от России Бессарабии, считал своей гражданской повинностью присоединиться к Добровольческой армии во главе с Деникиным (после генерала Корнилова, убитого в бою под Екатеринодаром). С этими мыслями я и направился в военную комендатуру города Одессы. И здесь я встретил массу военных всех возрастов и чинов, неразбериху, и с трудом нашёл одного из дежурных по комендатуре, офицера. Он мне на моё желание вступить в Добровольческую армию ответил приблизительно так:

— Одесса — это далёкий тыл. Тыловые военные части переполнены. Правда, организуются боевые формации при штабах старых полков и дивизионов, но недостаток военного снаряжения и вооружения задерживает их отправку на фронт.

Частным образом он посоветовал мне пробраться в Харьков, где была генеральная квартира Добровольческой армии, где меня сразу могут назначить в маршевую роту, отходящую на фронт. За эту мысль я и ухватился, решив завтра, в крайнем случае послезавтра тронуться в путь.

На базар я из экономии решил не ходить, а, походив по городу, в назначенный час был у незнакомого родственника. Но

я страшно растягиваю свои воспоминания об Одессе, поэтому [лишь краткие] впечатления об А. Авенариусе. Музыкант и сочинитель музыки, ничем кроме музыки не интересующийся или, возможно, за такого себя лишь выдающий. Деликатный, внимательный до тошноты, но осторожный в проявлении своих взглядов и убеждений. О другом Авенариусе сказал очень осторожно, что его очень мало знает. Разглядев лучше хозяйку, я увидел, что она евреечка, видимо, из богатой интеллигентной семьи, что всё её внимание сосредоточено на том, чтобы всё у неё в доме было как в «лучших домах Лондона». Детей у них не было. Насколько мне известно, никакого более-менее известного музыканта или композитора с именем Авенариус из него не вышло. Покинул я его с каким-то неприятным осадком: он мне был чужой.

Так же мало удовольствия мне и моему спутнику дало посещение и обед у нашей прелестной спутницы. Она уже не была такой непосредственной, дружеской, весёлой дамочкой. Она подлаживалась под тон своего мужа, говорившего на смешанном русско-польском наречии, чопорного, новоиспечёного поляка. Все мысли её были в Варшаве, она в мыслях порхала в высших сферах Речи Посполитой.



Вторую и третью ночь мы провели в пустом товарном вагоне близко к товарной станции. Утром после второй ночи мы распрощались друг с другом. Он в Одессе получил работу в каком-то издательстве, где сможет жить прямо в редакции, а я сообщил ему, что иду прямо на вокзал и двинусь по направлению на Харьков. Милый, хороший человек и верный товарищ был мой спутник.

Но я не дошёл до вокзала, судьбе было угодно направить меня по другому пути, к лучшему или худшему – не знаю. Где-то на полпути к вокзалу я столкнулся лицом к лицу с моим троюродным братом Егором Егоровичем Штуцером.

– Коля!

– Егорчик! – воскликнули мы, поражённые встречей.

Егорчик (сын тёти Мили, сестры тёти Сони, у которой наши жили в Киеве) весной окончил московское высшее техническое училище, уехал немного раньше нас из Москвы в Крым, в Судак (он был женат на своей троюродной сестре Лиле Феррейн). Он принял участие в освобождении Крыма от красных и теперь служил в Севастополе начальником автомобильной мастерской

штаба Севастопольской крепости. Приехал по делам в Одессу, едет обратно в Севастополь. Я любил Егорчика за его добродушный, мирный характер. У тёти Мили была дача-именье на Волге, километрах в восьмидесяти от Мологи, и мы с мамой, которая очень дружила с тётей Милей, часто проводили у неё часть лета. Через десять минут я уж знал всё о жизни и судьбе наших московских родственников и о том, что папин брат, мой любимый дядя Володя, живёт тоже в Крыму, в Судаке.

Егорчик завёл меня в кафе, где, ознакомившись с моими планами, предложил свой. Сегодня вечером мы поедем вместе на пароходе. Он завтра утром высадится в Севастополе, а я поеду в Феодосию, откуда доберусь до Судака. Там побуду недельку и вернусь к нему в Севастополь. Он зачислит меня бригадиром в возглавляемую им крепостную автомастерскую, в которой заканчивают ремонт двух автоброневиков. За десять дней броневики будут готовы. Для отправки их на фронт нужны два шофёра. Один уже есть, это поручик Балуев, студент московского технического училища, а другим могу быть я.

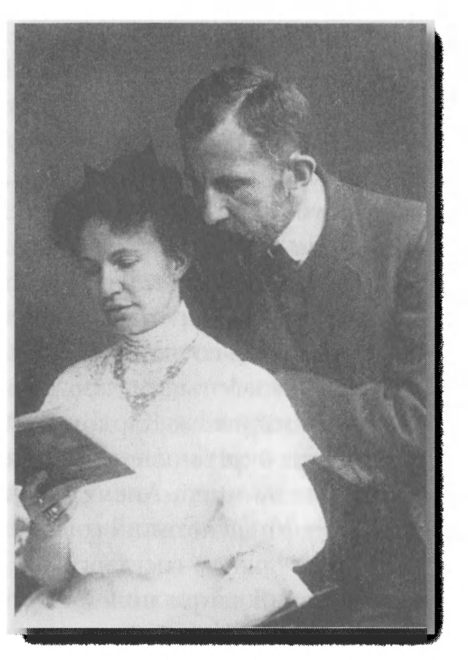
Сидеть за рулём броневика, вести его в бой была моя мечта.

Ведь в то время танков ещё не было, а броневики — это была «марка». Мечта моя сбывалась, и я принял план Егорчика. На другое утро я простился с ним в Севастополе и поздно вечером добрался до Феодосии, а оттуда пешком пошёл в Судак. Там приятно было мне увидеть моих кузин и кузена Феррейнов, тётю Милю (мать Егорчика), брата его Мишу, а главное — дядю Володю.

Дядя Володя [позже] погиб, я представляю его переживания в ожидании расстрела. Я не могу не остановиться на том, что лежит камнем на моём сердце. Как я мог не понять дядю Володю, не одобрить его последнее решение, не поддержать его? Не могу оставить это так. Хочу поделиться с кем-то.

Дядя Володя занимал хорошее место по министерству финансов в Москве. Был он холост, был страстным охотником, проводил всё свободное время с ружьём и собакой. Был высок, хорошо сложен, интересен, можно сказать красив, характер прекрасный. Все его любили. Было ему лет сорок, когда умер его двоюродный брат Александр Владимирович Феррейн, которого я уже вспоминал. Умер он от туберкулёза лёгких, оставив вдову тётю Лину с четырьмя дочерьми и одним сыном (от семи до пятнадцати лет). Материально дети были более чем обеспечены: их

отец был единственным сыном В.К. Феррейна, миллионера. Тётя Лина живая, весёлая, спортивно сложенная, пианистка, прекрасная мать, хорошая хозяйка. Было ей тогда лет тридцать пять. Дядя Володя, живя в Москве, был в доме своей тёти свой человек, и папа не был удивлён, когда года полтора по смерти мужа тётя Лина, конечно, с благословения тёти Сони, вышла замуж за дядю Володю.



*Владимир Николаевич Авенариус – дядя Коли, с ним Лина Васильевна (1868–1917) ур. Hähnlein, в первом браке Феррейн, во втором – Авенариус.*



Мы немного жалели дядю Володю, свободного холостяка, взявшего на себя опекунство над кучей детей.

Казённую службу дядя Володя сменил на директорство в предприятиях Феррейна. Когда мы приехали в Москву, у дяди Володи была уже своя дочка, маленькая Анечка. Жил дядя Володя с тётей Линой душа в душу, старик Феррейн помогал морально при дядином опекунстве. За малой Анечкой ухаживала и воспитывала её Зельма Карловна, гувернантка, эстонка, перед тем воспитавшая всех детей тёти Лины.

Маленькая Анечка – прекрасный, красивый ребёнок, такая же радостная, как тётя Лина, – имела врождённую астму. По мнению врачей, при надлежащем уходе и условиях жизни болезнь эта к совершеннолетию исчезнет. Детские годы осень-зиму Анечка проводила в горах, до войны – в Швейцарии. Тётя Лина умерла (её смерть я уже описал). В военное время нельзя было ездить за границу, пришлось ограничиться Крымом. В Судаке старик Феррейн поставил большой загородный дом с садом на берегу моря, где теперь жили его внучки с семействами и тётя Миля с мужем.

Старик Феррейн умер ещё до моего посещения Судака. Дядя Володя жил отдельно с Анечкой и Зельмой Карловной недалеко

в небольшом отдельном домике. Опекунство его уже кончилось, дети стали совершеннолетними. Я остановился у дяди Володи.

Кажется, на другой день моего приезда Зельма Карловна накрывала на стол, Анечка лежала в своей комнатке, а дядя откупоривал бутылку вина. Откупорив и поставив на стол три бокала вина, он обратился ко мне приблизительно с такими словами:

– Я не верю, что революция уже на исходе. Ждут нас ещё тяжёлые, тяжёлые времена. Переживу ли я их – неизвестно. Ведь два моих брата, Ваня и Саша, их не пережили. А что будет с Анечкой, если что-нибудь со мной случится? Она ведь больна, у её сестёр свои семьи, свои заботы. Ведь она может остаться одна. Вот я и решил жениться на Зельме Карловне. Это честная женщина, любит Анечку, а когда будет носить имя Авенариус и перестанет быть лишь воспитательницей, Анечка станет её дочкой, и она всю себя ей посвятит. У неё нет никого, она энергична. Теперь Эстония стала самостоятельным государством, и в случае моей смерти она увезёт её туда. Я много ночей не спал и решил жениться на Зельме Карловне, что и привёл в исполнение.

Дядя Володя налил вина в три бокала. А я, Боже мой! – глу-

пый юнец – не понял, сколько перестрадал дядя Володя, придя к этому решению. О, если бы я тогда обнял Зельму Карловну, поцеловал её и дядю, прижался бы к ним обоим, дав понять, что я с ними, что я понимаю и одобряю их. А я лишь смог чокнуться с ними, пробормотав:

– Поздравляю.

Помню, что дядя Володя тяжело переживал мою холодность. Наверняка его падчерицы и пасынок, которые видели в Зельме Карловне лишь гувернантку, считали женитьбу дяди Володи оскорблением памяти их матери и соответственно отнеслись к ней.

А ведь Зельма Карловна была женщиной лет пятидесяти, женщиной незаметной, «невидной». Через год с небольшим по «ошибке», как потом объяснили, дядю Володю расстреляли в тюрьме. Зельма Карловна увезла Анечку в Москву, а оттуда, как эстонская подданная, увезла её в Ревель. Дала ей прекрасное образование и выдала замуж за русского помещика Антропова. В 1945 году, когда из Эстонии мужа её увезли в СССР, она с тремя дочками переехала в Гамбург, где и живёт теперь. Мы с Анечкой обменялись несколькими письмами, потом как-то переписка за-

глохла. Знаю только, что муж её вернулся через десять лет тоже в Гамбург, но совсем больным. Я отклонился от своих приключений, чтоб отдать долг дяде Володе. Мир его праху.

Через недельку опять я был в Севастополе. Но вместо десяти дней, как предполагал Егорчик, я застрял в нём почти на три месяца. Эти два броневика никак не могли привести в боевую готовность. Не хватало сегодня одного, завтра другого. Согнали одну деталь, завтра отказывала другая. То пришёл приказ перебросить нас на другую, более спешную работу.

Не буду на этом останавливаться, скажу только, что всё это меня, и в особенности поручика Балуева, доводило до отчаяния, отравляло нашу жизнь в Севастополе. Жил я с Егорчиком в квартире директора реального училища, в большой проходной зале. Сам директор с женой и дочкой-подростком теснился в небольшой комнате, так как все остальные комнаты были реквизированы для военнослужащих.

Жилось бы неплохо, если бы не одна квартирантка, сестра милосердия средних лет, работавшая в военном лазарете, пьяница, наркоманка, психопатка. Директор был видный мужчина средних лет, милейший, культурный человек, с женой переживали тяжёлое сообщение, что их сын серьёзно ранен под Курском, а где и что с ним теперь – неизвестно. А эта психопатка, наркоманка преследовала директора своей неудовлетворенной любовью. Он крадучись пробирался через нашу комнату, если знал, что она дома, чтобы она не услыхала и не выскочила в нашу залу, чтобы кинуться ему на шею.



Нам с Егорчиком пришлось однажды выкручивать ей руки, чтобы вырвать директора из её объятий. Отделаться от неё было нельзя. За ней, видно, стоял кто-то из её бывших любовников. Лазарет твердил, что она незаменимая сестра. Потом, когда мы встретились с Егорчиком в Константинополе, он мне рассказал, что она застрелила директора в нашей комнате. Егорчик не успел отнять у неё револьвер.

Были и исключения среди монотонных дней, наполненных тяжёлой работой в грязной, холодной мастерской. Прочитал я в афишах, что севастопольские студенты устраивают студенческий бал. Явился я к устроителям, попросился и был назначен одним из распорядителей. Егорчиков чёрный костюм сидел на мне хорошо – так [решился] вопрос о костюме.

В Москве, будучи студентом, я на балах не бывал. Была война, и балы не устраивались. Зато бывали студенческие вечеринки. Студенты и студентки какого-нибудь города [собирали] своих земляков в какой-нибудь студенческой столовке. В одной комнате танцевали, в другой пели, в третьей просто забавлялись кому чем пришло в голову. Ходили мы туда с Олей и с кузинами Тавочкой и Аней. До утра веселились.

А это был респектабельный бал: масса прекрасных дамских туалетов, мужчины во фраках, преобладает, правда, военная форма, ведь большинство студентов сменили студенческую на военную. Я надеялся познакомиться со здешней студенческой молодёжью, повеселиться в их кругу, но из этого ничего не вышло.

Обязали меня как одного из распорядителей принимать и заботиться о иностранных гостях, которыми были молодые офицеры французских и английских миноносцев, стоявших на севастопольском рейде. Ведь Добровольческую армию поддерживали государства Антанты, не признававшие похабный Брестский мир с немцами. В боях они не участвовали, но снабжали нас вооружением (сбывали старьё) и обмундированием.



Намучился я особенно с одним моряком, мичманом. Русская водка вообще валила с ног иностранцев, ну, и на него сильно подействовала. Он хотел танцевать «степ», музыкантам с трудом объяснили, что это. Наконец они поняли. Танцевал он прекрасно, чем больше ему рукоплескали, тем забористее он танцевал. Захотел он потом, чтобы все пели модную английскую песенку, которую распевали и наши русские в морских городках. Я помню из неё только: «Не сядь на мель, чем крепче нервы, тем ближе цель». Достигли мы и этого, а потом я, тоже порядочно выпивший и не привыкший ещё к этому, от беды удрал домой.

Ещё один неприятный эпизод крепко засел в моей памяти. Был канун сочельника. Егорчик был вызван к коменданту крепости и пришёл оттуда мрачней тучи. Приказ: когда стемнеет, к крепостной тюрьме доставить в полном порядке большую легковую машину «Рено» с двумя шоферами. Но в нашей мастерской уже знали, в чём дело. Осенью на юге России между многочисленными разбойными бандами, не признававшими никакую власть, кроме власти оружия, была банда атаманши Маруси (она имела ещё какое-то прозвище, которое не могу вспомнить). Большин-

ство этих банд, особенно малых, было ликвидировано, в том числе и банда Маруси.

Обыкновенно атаманов расстреливали на месте, но Марусю, может потому, что это был исключительный случай, не прикончили и судили. Судили долго, а потом ещё дольше откладывали исполнение приговора (расстрелять). Вот Маруся с ворохом судебных бумаг и приговором оказалась в Севастополе, где это дело было решено ликвидировать. Почему это должно было случиться – неизвестно.

Когда Егорчик, не вдаваясь в подробности, назначил двух военнослужащих мастерской исполнить приказание, они отказались, их внушительно поддержали остальные монтёры:

– Мы автомеханики, монтёры, но не военные шофера, никто из нас не поедет, да и машина не в порядке.

Егорчик был вспыльчив, но быстро отходил, его все любили за миролюбивый характер. Поднялся крик, а кончилось тем, что Егорчик сказал мне:

– Поедем мы с тобой.

Машина была проверена, всё оказалось в порядке. Когда начало темнеть, мы подъехали с Егорчиком к тюрьме и начали ждать. Это была старая машина, у которой помещение шофёра отделялось от просторного помещения для пассажиров стенкой со стеклянными окнами и рупором для передачи приказаний шофёру. Потом несколько человек вышли, кто-то сел в машину, кого-то усадили, нам дали приказ «трогай». Егорчик знал куда, мы поехали по направлению к херсонесским каменоломням. Там нас остановила группа военных, из машины вышли. Мы подождали две-три минуты, Егорчик повернул машину, и мы быстро возвратились в Севастополь.



На другой день был сочельник 1919 года. Егорчику удалось купить какое-то пирожное, и мы разнообразили им наш более чем скромный ужин. А потом мы сидели и думали о своих, о том, что нам всем принесёт новый, 1920 год, который через неделю наступит.

Было над чем задуматься. За два месяца до того было остановлено наше наступление на Москву. Казацкие полки генерала Шкуро и Мамонтова, встретив под Тулой сильный отпор советских организованных полков, повернули обратно на Дон и Кубань.

– Довольно повоевали, пора дома порядок наводить, – близоруко заявили они.

А казаки были главной силой Белой армии. Добровольческая армия, состоявшая в большинстве из офицеров, юнкеров, добровольцев всех возрастов, из учащейся молодёжи, правда, пополнялась во вновь освобождённых областях, но это были безусые мальчики, не обученные военному делу, так как офицеры и унтер-офицеры из этих областей ещё раньше пробрались в Белую армию. Пополнения не было. Ожидаемые восстания в примосковских областях не вспыхивали. Большинство, видно, ждало, живя своими мелкими делишками и добывая хлеб насущный.

Так, несмотря на геройские усилия, полки корниловцев, марковцев, алексеевцев, дроздовцев не выдержали и попятились обратно к Орлу. Потом вынуждены были и Орёл оставить. Первоначальные неуспехи на фронте казались временными. Все были уверены, что на линии Харьков–Киев наступление красных будет остановлено.

А сколько было в тылу русских, носивших военную форму, но прятавшихся во всяких новоорганизуемых полках и бригадах,

сколько и того не делавших, а просто опустившихся до пьянства и спекуляции, а ещё хуже – сводивших счёты с окружающими за потерянное добро. При своём путешествии по югу России я сам это видел довольно. Лозунг, с которым выступил главнокомандующий Белой армии А.И. Деникин: «За Учредительное собрание», – был благороден, велик, но туманен. Куда ему было до «грабь награбленное», будоражившего тёмные массы, в руках которых находилась тогда Россия...

Вскоре после Рождества была без боя оставлена Одесса, куда за пять месяцев до того я добрался из Бессарабии. Крым начал наполняться разрозненными воинскими частями, беженцами. У нас с Егорчиком поселился дядя Серёжа, младший брат папы, поручик инженерных войск, старше меня на шесть лет. Часть его перестала существовать, и он, пожив у нас недельку, уехал, получив новое назначение. Его место занял старик-полковник с истерической, без умолку болтавшей не то женой, не то сожительницей. Избавиться от них стоило многих хлопот.

Их сменило целое семейство братьев Волковых с жёнами и одним трёхлетним вундеркиндом, пережившим отступление, и его мудрая головка поняла, что в этой суматохе добиться всего

можно жалобным визгом и истерическими криками. И он добивался всего.

Братья Волковы были из командного состава броневого дивизиона, которому принадлежали два наших броневика. Дивизион был создан перед началом наступления в Новороссийске. Принял участие в нескольких боях, потом, когда фронт продвинулся на север, труднее стало с бензином, погрузили его на железнодорожные вагоны, и так он шёл в хвосте армии. Он разбух от таких мечтателей, как я, пополнялся офицерскими жёнами, их багажом, наконец, в Харькове принял участие в защите города при отступлении армии, израсходовал последние снаряды. Там, приведя в негодность вооружение и моторы, его бросили. Команда и офицерство отступали кто как мог. Так Волковы добрались до Севастополя, совсем не участвуя в оборонительных боях. Зато в их багаже было много ценного.

– Мы отвоевали своё и будем теперь искать возможность покинуть этот хаос и пробраться в Швейцарию, где у нас есть недвижимость, – заявили однажды они Егорчику, который их знал ещё раньше по яхт-клубу.

Противно мне стало сидеть с ними в одной комнате, не хотелось видеть и разбитые броневики, с которыми я так долго и упорно возился. В таком настроении иду я по Нахимовскому проспекту и слышу, что меня кто-то окликает:



– Авенариус, Коля!

Остановился, смотрю – стоят два невысоких поручика, в одном узнаю «Бибочку». В Рыбинской гимназии были два брата-близнеца Каптеровы. Одного мы звали Бибочкой, а другого Бобочкой. Так это был Бибочка, с которым я дружил и который приезжал к нам в Мологу и в Москве заходил. Слово за слово, и я узнал, что Бибочка был ранен в грудь навылет. Ранение было на редкость счастливое. Пуля не задела ни сердце, ни лёгкие, ни позвоночник.

Пролежал он с месяц в Севастополе и теперь, совершенно здоровый, ожидает отправки на фронт, на Перекоп. Мы не виделись с ним с 1916 года, было о чём поговорить.

Было холодно, но мне не хотелось его звать на квартиру, где я чувствовал себя совсем чужим. Не помню, где продолжался наш разговор, но кончился он тем, что я решил оставить Севастополь и идти на фронт в Бибочкин 133-й Симферопольский пехотный

полк. С тыла на фронт перевестись было нетрудно, и я дня через три был на фронте.

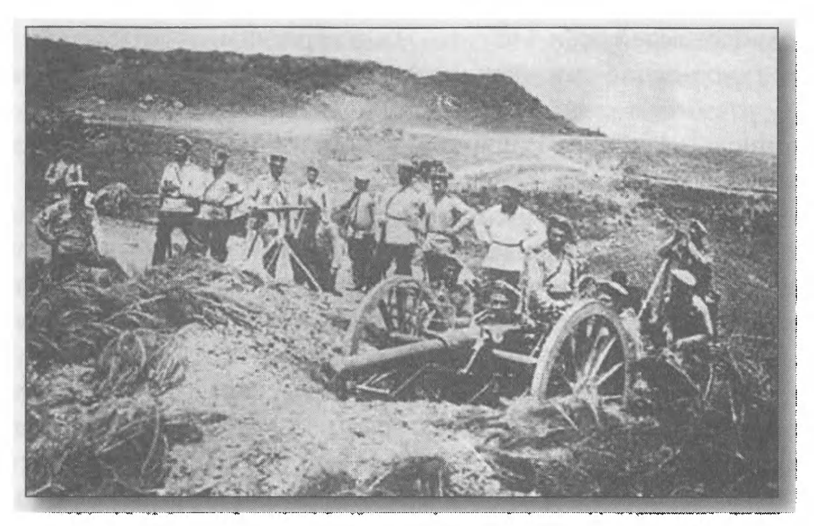
Зачислили меня в первую офицерскую роту, в которой был и Бибочка. С любовью я вспоминаю этот полк, эту роту. Командир полка полковник Ошанин, интеллигентный, боевой, видный из себя офицер. Командир батальона подполковник барон Розен суров и первое впечатление: пьяница (у него был огромный багровый нос). На самом деле оказался всеми любимым, уважаемым и душевным человеком, отличным, храбрым офицером. Таким же был и капитан (фамилию вспомнить не могу), командир первой офицерской роты. Всегда подтянутый, спокойный, строгий к себе и своей роте командир. Большинство роты состояло из студентов, в 1918 году призванных в военные училища. То были милые, интеллигентные люди, имевшие за своими плечами два года фронтовой жизни с её опасностями и чёрными днями, на своё теперешнее положение смотревшие как на выполнение своего долга перед родиной. Я был радушно принят между ними.

Крым от Таврии* отделён сухопутной и водной границей. Первой был Перекопский перешеек шириной в двадцать километров, за которым граница шла по берегу Сивашских озёр, так называемого Гнилого моря, тянущегося до Азовского моря.



Перекопский перешеек с давних времен (Крымского ханства, а может и раньше) был перерезан Перекопским охранным валом, закрывавшим доступ с Новороссии в Крым. Теперь этот охранный вал должен был стать преградой для Красной армии. Для защиты этого вала были сосредоточены несколько частей Добровольческой армии, в том числе наш 133-й Симферопольский полк. Полк в мирное время и на фронте Первой мировой войны состоял из шестнадцати рот и вспомогательных частей. В Гражданской войне полком назывался «полчок» в четыреста, в лучшем случае в пятьсот (вместо двух тысяч) штыков. Таков был и наш. Самой боевой единицей была первая офицерская рота, штыков в шестьдесят. Тогда я не знал общую численность защитников Перекопского вала. Была она невелика, при малочисленной и малокалиберной артиллерии. Я знал лишь остальные три полка нашей 34-й дивизии. Но и неприятель был немногочислен. Красная армия в это время была занята преследованием главных сил Белой армии, которая отсту-

* Пространство материка, с севера примыкающее к полуострову Крым.



*Перекоп*

пала всё дальше на юг. Не было также у наших противников (как и у нас) тяжёлой артиллерии.

С середины января до середины апреля шла оживлённая перестрелка между нами и красными. Иногда красные получали подкрепление с приказом прорвать фронт. Наступали для нас тяжёлые дни, а особенно ночи, казалось, что вот-вот не выдержим, дрогнем. Но приходили к нам резервы, и опасность миновала.



Нужно сказать, что наше положение было куда выгодней красных. Нас прикрывал Перекопский вал, а им приходилось его брать. Часто их было в два, в три раза больше нас, но мы несли очень малые потери по сравнению с ними. Полуокопная жизнь, да ещё зимой, была тяжела, но мы все были молоды, здоровы, имели ясную задачу, знали, что нас ожидает, если мы дрогнем и побежим, поэтому никто не роптал, и настроение даже в критические минуты не падало, мы становились лишь более серьёзными, хотя и тут не обходились без шуток.

Отступление главных сил Добровольческой армии всё продолжалось и продолжалось. Были сданы Ростов-на-Дону и Новочеркасск – колыбель Добровольческой армии. Были начаты приготовления к эвакуации Добровольческой армии в Крым. Все корабли Черноморской флотилии, военные и торговые суда стали сосредотачиваться в Новороссийске.

В конце марта иностранные корабли, находившиеся в то время в Новороссийском порту, погрузили раненых белоармейцев,

больных, детей, жён, спекулянтов, шкурников, политических интриганов, весь багаж, разлагающий Белую армию, и направились к портам тех государств, которые изъявили желание принять беженцев; некоторых выгрузили в Константинополе, некоторых завезли аж в Египет.

Русский флот погрузил почти всю отступившую Добровольческую армию с артиллерией и конским составом. Говорю «почти всю», потому что красные преследовали по пятам отступавшую Белую армию, и некоторым отдельным военным, а то и отдельным небольшим частям не удалось погрузиться.

Участники эвакуации Новороссийска вспоминают её как полную трагических случаев. Некоторым оставшимся удалось позднее прорваться на Таманский полуостров и присоединиться к высадившимся там частям Белой армии при развитии наступления из Крыма. В Крыму генерал Деникин снял с себя звание главнокомандующего Добровольческой армии, и его место занял генерал Врангель. Его имя было известно уже во время Первой мировой войны, когда его эскадрон кирасирского полка атаковал немецкую батарею, громившую и остановившую наступление



русских, перебил орудийную прислугу и ликвидировал смертоносный огонь, мешавший нашему наступлению. В Белой армии он был известен своей личной храбростью, организационными способностями и дальновидностью. Назначение его было принято со всеобщим согласием и одобрением.

Ну, а у нас напор красных всё усиливался. Красные поняли значение Перекопского перешейка и начали посылать туда подкрепление за подкреплением. Но и наши не дремали, и к нам подходили резервы и снабжение. Скоро нам стало известно, что части эвакуированной армии, отдохнувшие, переформированные, получившие новое обмундирование и вооружение, придут сменить нас. Нас же направят на отдых и тоже переформируют.

И вот пришёл этот день, вернее ночь. Позицию нашего полка принимала часть Алексеевской дивизии. Пришли молодец к молодцу, подтянутые, в новой форме, ну прямо гвардейцы царской армии. Они заняли наше место, а мы – неумытые, грязные, завшивленные, в разнокалиберных шинельках, часто с дырками от лежания у костров, с нарисованными чёрнильным карандашом на плечах звёздочками (вместо погон) – уходили, не придерживаясь строевого порядка.

Прежде, в боевой обстановке, никто этого не замечал: ни мы, ни наше прямое начальство. Не было на то ни времени, ни даже охоты обращать внимание на военную выправку в условиях ежедневных перестрелок и боевых тревог.

Так, с занимающимся рассветом, вышли мы и, даже порядочно не построившись, направились к назначенному месту сбора полковых частей. Там рота построилась, и появился откуда-то наш командир роты. Никогда мы не видели его более разгневанным и возбуждённым. Ведь и в тяжёлые моменты, когда неприятель вот-вот нас отбросит и погонит, он не терял хладнокровия. А теперь, видно, получил порядочную нахлобучку от начальства – решили мы.

– Кто это передо мной? Первая офицерская рота? Или толпа бродяг, которая бы хотела, чтобы я её считал первой офицерской ротой?!

Видно, ему самому досталось за внешний наш вид и выправку. То, что эта рота бессменно держала месяца три и удержала проход в Крым, была изнурена, не получила ни смены белья за это время, разнёсший нашего ротного командира высший воинский чин не принял во внимание.



Мы молча выслушали разнос нашего командира, только немного подтянулись, лучше выровняли ряды. Потом последовал приказ:

– С полным боевым снаряжением, винтовками на плечах (не на ремне), с шинелями в скатках (не в ротных повозках) следовать на место отдыха и переформировки в деревню Фёдоровку (километрах в тридцати).

Мы не роптали и с песнями, бодрым солдатским шагом двинулись вперёд, предвкушая впереди баню, отдых, чистое бельё. Весело шагал и я, и чем дальше – тем веселей и бодрей был мой шаг.

Когда после обеда мы достигли деревни Фёдоровки, я чувствовал себя каким-то необычайно возбуждённым. Было мне необычайно жарко и страшно хотелось пить.

– Ты что такой красный, пот с тебя льётся? – окликнул меня Бибочка Каптерев.

Потрогал мою голову и повёл меня к ротному фельдшеру. Тот смерил температуру, пощупал пульс и узнав, что сыпной тиф я уже перенёс, уверенно заявил:

– Возвратный тиф. Повозку на станцию Джанкой и в госпиталь.

А я сразу совсем ослабел, не мог уж стоять. Не помню, как меня положили в повозку, потом в пустой, отходящий от станции на Симферополь товарный поезд. Очнулся я от мучительной жажды и стал соображать – где это я? Вагон был пуст. Ползком я добрался до полуотсунутой двери. Было уже под вечер, но солнце, как мне казалось, ужасно пекло. Около меня лежал мой вещевой мешок. Вагон стоял на запасных колеях. Я выкинул мешок вон, спустил ноги и свалился на щебень. Встать на ноги не было сил. Страшно болела голова. Ползком, таща мешок за собой, добрался я до тропинки, которая шла при колеях. Там, обессиленный, остался лежать и опять забылся. Проходили около меня люди. Я жалким голосом просил, чтобы сказали на вокзале кому следует, чтобы за мной пришли, я умираю от жажды. Лежал, не пытаясь встать, опять терял сознание, никто не приходил. Но вот проходит молодой человек в студенческой фуражке.

– Товарищ, ведь я тоже студент, меня все забыли. – И я повторяю ему свою просьбу.



Вскоре появились два солдата с носилками и студент. Пришёл в себя в большом коридоре на полу, на соломе. Позже я узнал, что это лазарет, временно устроенный в гимназии в Симферополе. Он был переполнен.

Жар и головная боль. Но если при сыпном тифе я переживал в бреду страшные сцены и мне всё казалось, что за мной кто-то гонится, старается схватить, то теперь передо мной всё являлось в ярких, неописуемой красоты и разнообразия красках. Я был архитектором, творил здания исключительной красоты, гармонии, с высокими ажурными сводами. Я старался эти видения втиснуть в свою голову, не забыть, чтобы потом их осуществить. А то склонится надо мной «ангел чистой красоты», гладит меня по голове и даёт испить что-то такое ароматное, прохладное, необыкновенного вкуса. Я весь исполнен к ней ласки и благодарности.

Такое полубессознательное состояние продолжалось дня три-четыре. Потом голова перестала болеть – я стал быстро поправляться. Перенесли меня в палату на постель, кормили невкусной больничной пищей, тщетно я искал между сёстрами хотя бы чуточку подобную той, которая поила меня в бреду.

Через неделю был я на ногах, правда слабых, но мог спуститься в садик. В вещевом мешке я нашёл деньги (жалование на Перекопе негде было тратить). Всё это пошло на ароматный, вкусный хлеб, яйца, творог, которые приносили местные торговки. Аппетит был огромный.

А кругом говорили лишь об одном, что армия почти вся на перешейке, что вот-вот сметёт красных и погонит их, как раньше гнала, туда, на север, на Москву. Большинство выздоравливающих рвались на позицию, упрашивали врачей поскорей их выписать, был и я между ними. Побыл в госпитале больше двух недель, когда мне удалось уговорить врача выписать меня. Он предупреждал, что возвратный тиф очень редко ограничивается одним приступом, чаще двумя, тремя, но всё ж сдался и написал мне пропуск.

С трудом, поминутно отдыхая, я добрался до симферопольского вокзала. Там стоял переполненный товарный поезд на Джанкой. Оставалось только место на крыше. Мои попутчики по госпиталю подсадили меня, вытянули на крышу, и к следующему утру были мы в Джанкое.

Я рвался скорей увидеть своих однополчан, Бибочку, других 
боевых товарищей. Явился к дежурному по станции офицеру, предъявил документы.

— Вы не найдёте свой полк уже в Фёдоровке. Два дня назад он проследовал на Арабатскую стрелку, а по ней потом двинется на север. Догнать его и здоровый не сможет, они шли на подводах, а вы на дороге где-нибудь свалитесь. Советую вам лишь одно: через Джанкой на фронт идут всё время эшелоны. Всюду недостаток в персонале. Явитесь к начальнику такого эшелона, и он вас с радостью примет, а потом, может, где-нибудь и встретитесь с вашим полком.

Возражать было нечего. Поблагодарил и вышел. Тяжело мне было. Ведь только два дня и встретился бы со своими товарищами — такое невезение. Позднее, уже на берегу Мраморного моря, в турецком посёлке Тузла я вспомнил тогдашнее моё настроение и подумал: вот судьба! Не было бы счастья да несчастье помогло. Там, в Тузле, в одиноко сидящем старике в форме полковника я узнал полковника Ошанина — прежнего командира Симферопольского полка. Представился, разговорились, и я узнал следующее.

Сам полковник при переформировке полка в Фёдоровке передал полк более молодому, а сам вышел в отставку и переехал в Симферополь. В полку он прослужил больше тридцати пяти лет, конечно, всё время по возможности следил за его боевой деятельностью. Последние сведения о нём имел, когда полк был переброшен за Днепр затыкать там какую-то дыру. Перед тем полк был пополнен пленными красноармейцами, и в таком размере, что их было больше, чем кадровых симферопольцев, особенно в первой поредевшей офицерской роте. Полк незадолго до ликвидации военных операций в Таврии попал в окружение. Бывшие военнопленные, спасая свою шкуру, направили оружие против кадровых симферопольцев. Никаких подробностей больше полковнику не удалось узнать, не увидел он и не услышал до сих пор ни о ком из симферопольцев. И я никого из них уж больше не увидел, бедный Бибочка!

Ну, а тогда такого конца я ещё не предчувствовал. Вышел из вокзала. Недалеко от него на завалинке какого-то дома сидели несколько артиллерийцев-вольноопределяющихся, щегольски одетых, беззаботно болтали. Подошёл, представился. Оказались номерами (расчёта, обслуживающего орудие) вновь формируемой конной батареи. Узнал, что состав батареи ещё не полный, что меня с удовольствием возьмут. Но не понравилось мне, что пока ещё нет ни орудий, ни коней. Посмотрел я на этих жоржиков, поблагодарил за информацию и вернулся на вокзал.



А там как раз подошёл эшелон с какой-то артиллерийской частью. Остановился. Молодцеватый фейерверкер, с галунами вольноопределяющегося, выпрыгнув из вагона, пошёл на станцию. Я остановил его, заговорил. Оказался симпатичным толковым малым, ему надо было что-то узнать на станции. Он предложил подождать его, заявив, что у них во втором орудии не хватает номера. Через пару минут он вернулся и повёл меня к товарному вагону, где среди артиллеристов находился и командир батареи капитан Халютин.

Я изложил ему своё положение. Около него сидела жена, миловидная, симпатичная дама, которая, узнав, что я москвич, начала расспрашивать о Москве (сама была москвичкой).

Через полчаса я был зачислен номером ко второму орудию восьмой батареи Первой артиллерийской бригады генерала Корнилова. Товарищи (номера второго орудия) накормили меня

вкусным и сытным обедом. С радостью я узнал, что четверо из пяти номеров были студенты. Одним словом, я попал в свою компанию.

Но хуже было то, что к вечеру я почувствовал сильную головную боль, температура поднялась до сорока градусов. Доктор был прав – начался другой приступ. У меня не осталось никаких воспоминаний о том, как я из товарного вагона попал в военный госпиталь в Севастополь. Помню лишь одно, что второй приступ был гораздо слабее первого. Кажется, на третий день я был переведён в палату выздоравливающих. Но об этой палате у меня осталось гнусное воспоминание.

Палата была небольшая, было нас там человек десять. Большинство были совершенно здоровы, уходили свободно в город, остальное время играли в карты, сквернословили, рассказывали похабные анекдоты, ругали всех и вся, один другому давали советы, как отвертеться от отправки на фронт. Атмосфера была полной противоположностью той, которая была в госпитале в Симферополе. Большинство больных были сифилитики и прочее.



Я уже имел опыт, и мне было нетрудно, уговорив врача, получить пропуск из госпиталя. Пробыв в Севастополе неделю, написав письмо Егорчику и дяде Володе, я на этот раз не на крыше, а в вагоне поехал обратно на Джанкой. Настроение в вагоне было воинственным, каждый спешил на фронт, боясь опоздать к началу наступления. Только о том и говорилось. На базаре в Севастополе я продал папин старенький чесучовый пиджак – денег опять было порядочно, можно было накупить хлеба, колбасы, яиц. А аппетит у меня был огромный.

На другой день мы были в Джанкое, поезд провёз нас ещё километров двадцать по направлению к Перекопу, а оттуда, узнав на временной станции о расположении Корниловской дивизии, я частью пешком, частью на повозках (был ещё очень слаб) добрался и до восьмой батареи.

Батарея занимала полевое положение. Дула направлены на север. Явился, узнал, что капитан Халютин получил другое назначение и что батареей командует теперь капитан Мальма, отдал ему свои документы, явился к командиру второго орудия, – поручику Фёдорову, и вскоре был в своей компании, в которой после нашей короткой встречи в Джанкое меня подзабыли.

Место номера у второго орудия ещё никем не было занято, и я после плотного обеда из одного ведра с остальными номерами направился к нашему орудию. Там посвятили меня во все его тайны, объяснили обязанности каждого номера. Номеров было шесть. Я был шестой номер, которому по уставу при команде «Приготовиться к бою» полагалось открыть зарядный ящик, вынуть гранату, ловко и вместе с тем бережно, чтобы не уронить, бегом отнести её к орудию и так же осторожно передать её в руки пятому номеру. Граната была тяжёлая, пришлось проделать это несколько раз, чтобы всё шло гладко. Наша батарея была гаубичная. Орудие – четырёхсполовинойдюймовая гаубица английской армии. Била она не дальше, чем на четыре километра, но по сравнению с нашей трёхдюймовкой действие огня (разрыва) было в три раза больше.

Я был очень поверхностно знаком с артиллерийским делом, а потому был старательным учеником. Потом стало известно, что наступление начнётся на рассвете послезавтрашнего дня, так что на другой день мы все под командой поручика Фёдорова вели занятия при орудии и совершенствовались.


На рассвете (кажется, это было 22 мая) мы после основательной артиллерийской подготовки выступили. Удар был молниеносен, и уже через час мы гнали на всём пятнадцатикилометровом фронте красных на север. Задержка произошла лишь на третий день у местечка Каховка, лежащего на левом берегу Днепра.

Сто километров мы гнали красных без отдыха. При Каховке красные встретили нас сильным артиллерийским огнём. Наша батарея получила здесь боевое крещение. Заплатило за него наше орудие раненым наводчиком (первый номер), убитым ездовым и раненым другим ездовым. Был разбит орудийный ящик и искалечены два коня из ящичной упряжки. Но это остановило огонь нашей батареи лишь на какие-то десять минут. К нашему счастью ящик не взорвался.

Каховка была занята. Жители принимали нас восторженно. Заняв и находившееся на другом берегу Каховки местечко Берислав, отдохнув там три дня, попрощавшись с радушными обывателями, мы с первым корниловским полком, к которому вместе с первой батареей были приданы, повернули на северо-восток к Мелитополю. Правда, у нашего орудия не было снарядного ящика, заменила его обыкновенная подвода с ящиками для гранат и гильз,

а вместо шести номеров было пять. Второй номер стал наводчиком и т. д., а я – пятым, исполняя обязанности и шестого.

Не стану описывать развитие нашего наступления. Красная армия была дезорганизована, всё время с боями отступала, жители приветствовали наш приход. Опишу лишь одну нашу победу, которая окрылила нас и дала до тысячи коней, в которых мы так нуждались.

Однажды, приблизительно через месяц после выхода из Крыма, вечером после тяжёлого перехода нам было приказано с наступлением темноты выступить, чтобы до утра покрыть расстояние в сорок километров. Это – не шутка. Было дано направление, но куда и зачем – нам не было известно. К рассвету пришли мы к краю балки. Сняли орудия с передков, передки послали в прикрытие. Было приказано замаскировать орудия. На краю балки был кустарник, так что без труда сделали. Осмотревшись, видим, что мы не одни. Справа и слева по краю балки орудия, пулемёты; кто имел зоркие очи, заметил, что и на другой стороне балки копошатся люди. Приказано было соблюдать тишину, можно было прилечь при орудиях.

Так, к обеду по дну балки по неширокой дороге пронеслись 
несколько групп конницы, по-видимому, наши казаки, с погонами. А потом, на некотором расстоянии от них, видим двигающуюся на рысях, пожалуй, целую дивизию красной конницы. Преследуют уходящих наших. Когда красная конница была приблизительно против нас, раздалась команда:

– По неприятельской кавалерии, прямой наводкой, три патрона, беглый огонь!

Гремели и другие батареи, строчили пулемёты и с нашей, и с противоположной стороны балки. Красная конница, тачанки с пулемётами старались развернуться, занять боевую позицию, бросаясь в противоатаки, всё было напрасно. Пулемётно-орудийный огонь возвращал их на дорогу. Они были в кольце, попались, оставалось только сдаваться, и они прекратили сопротивление. Потом мы узнали, что лишь нескольким смельчакам на быстрых, ещё не утомлённых конях удалось прорваться. Командир дивизии Жлоба на мотоцикле вырвался. (Как мы после узнали, его в тот же день* судили и расстреляли свои.) Нашему командованию удалось посадить на коней около тысячи пехоты.

---

* На самом деле в 1938 году.

Вспомню ещё об одном боевом эпизоде, подробности которого хорошо запомнились, потому что дело шло о моей жизни.

Шло к осени. На полях уже выросла высокая кукуруза и подсолнухи. Мы где-то в северо-восточной Таврии наткнулись на серьёзное сопротивление красных у села Каркулак. Три раза мы брали село, но к вечеру всё же вынуждены были отступать на западную околицу села, потому что красные с криком «даёшь Каркулак!» появлялись и наносили нам удары пулемётным и ружейным огнём.

Решено было разведкой выяснить, на какие силы опираются эти красные головорезы. В разведывательный отряд вошли первое и второе наши орудия и офицерская корниловская сапёрная рота, хорошо вооружённая пулемётами «льюис» и несколькими повозками. (В условиях гражданской войны сапёры мало использовались по своей специальности, а потому из них сформировали ударную пехотную роту.)

Утречком двинулись мы по одной пыльной дороге, а сапёры по другой, идущей параллельно нашей. Из-за высокой кукурузы и подсолнечников друг друга мы не видели и поддерживали



связь между собой конными разведчиками. Впереди орудий шла наша пулемётная тачанка, на которой восседал с двумя подручными всегда спокойный и весёлый Николай Романченко. (Встретился я с ним лет десять тому назад в Кошицах.) Кукуруза мешала видеть, что делается по сторонам дороги, и старший офицер часто останавливал одно из орудий, влезал на передок и в бинокль осматривал окрестность.

Справа мы были прикрыты сапёрами, но слева, где поле поднималось косогором над нами, можно было ожидать всяких неприятностей. Прошли мы так километров десять. Вдруг стали обстреливать нас из пулемётов и винтовок слева, а сапёров — справа. Стрельба всё усиливалась: нас взяла на мушку трёхдюймовая батарея красных. Мы сняли орудия с передков, отвели запряжки в кукурузу и начали отвечать беглым огнём по направлению орудийных вспышек.

Пули летали противно близко, снаряды стали ложиться всё ближе, и потому, когда сапёры дали нам знать, что они, выяснив ситуацию, поворачивают обратно, наш старший офицер скомандовал: «Передки на батарею». Первыми подскакали передки первого орудия. Кони поводили ушами, вставали на дыбы (они

хотя и привыкли к пулям, но страшно горячились при обстреле). Первое орудие лихо «взяли на передки» и в карьер понеслись назад.

С нашим вышла задержка. Подседельный коренник, танцуя, заступил постромку, а это скверное дело, если вовремя, пока ещё ездовые сдерживают коней, не выпутать ногу. Я, уже успевший вскочить на лафет орудия, сидел всех ближе к злополучному кореннику. С детства я привык к лошадям (в Мологе на конюшне у нас всегда были три-четыре коня), и не раз мне приходилось освобождать постромки. Не раздумывая, я соскочил с орудия, хлопнул с силой по задку коренника, он поднял ногу, и я рывком освободил её от постромки.

Или конь, освободившись, ногой слегка толкнул меня, или я, боясь, что колесо орудия меня заденет, слишком резко и неудачно вскочил на ноги, — сразу же растянулся, полетел на задок. В этот миг кони понеслись. Я сразу же вскочил, бросился догонять.

Да где уж! Поубавив прыть, уже медленнее я побежал за орудием, рассчитывая, что километра через два их догоню. Бегу без паники, чтобы не задыхаться. Пробежал так километр, думая —  вот-вот услышу огонь нашей батареи, но вместо того услышал жужжание пуль с правой стороны. Оглянувшись, увидел, что я бегу по открытому участку дороги. Посевы кукурузы сменялись покошенными полосами поля. Поддал и бешеным бегом достиг полосы с кукурузой. Упал, задохнувшись на землю, соображаю, что какой-то красноармеец на своей тачанке, запряжённой уже уставшими конями, не мог угнаться за бешено мчавшимися нашими орудиями, не мог взять их на мушку и решил позабавиться надо мной. Понимаю ситуацию, что бежать очень опасно, но что оставаться, не догнав батарею, ещё хуже, поймают, надругаются и расстреляют.

Немного отдохнув, вернее, отдышавшись, я помчался по закрытой части дороги, потом, не изменяя скорости, продолжал бежать и по открытой части. Когда пули начинали подымать передо мной пыль, я падал, притворившись убитым или раненым. Лежал прижавшись к земле. Когда свист пуль прекращался, вскакивал и мчался дальше.

Не помню, на какой перебежке по открытой части дороги что-то обожгло меня в задней части шеи у позвонка, одновременно

я почувствовал боль в шее и затылке. «Готов», — мелькнуло в голове, и я рухнул на дорогу. Но сознание не теряю, адская боль, но чувствую, что жив. Дотрагиваюсь рукой до шеи, где она как бы горела, — крови нет, только шея там опухла, вернее какой-то волдырь на ней вскочил. Я не ранен, только контужен. Лежу, прихожу в себя, а тут слышу выстрелы наших орудий. В первый момент я не мог подняться, встать, бежать. Боль в затылке казалась невыносимой. Но потом мысль, что если я сейчас не побегу, то пропаду, подняла меня, и я побежал. Бежал, бежал и догнал наши орудия. Видно, у меня вид был очень бедный, меня положили на передок орудия, и когда через час мы были в расположении батареи, наш ветеринар (врача на батарее не было, он был в нашей хозяйственной части, куда увозили наших раненых; был ветеринар, затесавшийся на батарею, чтобы не попасть в пехоту) заявил:

— Пустяшная контузия, за пару дней боль пройдёт.

И был прав.

А знаете, хорошее время я прожил в Таврии в 1920 году. Лето было прекрасное, жаркое. Забот никаких. Слушай приказания и ни о чём больше не заботься. Какие вкусные были обеды! Принесёт дежурный номер ведро с борщом. Жирные куски свинины плавают в нём. Мы впятером приготовились. Наводчик командует:



— Начинай! — и наши ложки заработали.

Но берём только борщ, потом:

— За мясо берись.

И начинаем уничтожать вкуснейшую свинину.

А ночки какие! Никогда мы не спали под крышей, целое лето расположимся поближе к орудию, если есть деревце — так под него. Немного соломки под голову, шинель лежит рядом, чтоб на рассвете прикрыться. Смотришь на звёздное небо, покой на душе, чувствуешь себя здоровым, сильным. Да, никогда я таким физически сильным и душевно спокойным уж себя не чувствовал, как в июне, июле, августе да и сентябре 1920 года. Месяцами под открытым небом.

На этом можно бы закончить свои воспоминания о пребывании в корниловской батарее в 1920 году. Продолжение читатель найдёт в главе четвёртой. Я её написал в 1978 году. Не думал, что у меня найдётся время, а главное, терпение описывать события

от смерти папы до моего отъезда из России. Поэтому начал главу кратким описанием политических событий за 1919–1920 годы, а подробно свою жизнь описал лишь за осень 1920 года.

Закончу главу о моём пребывании в рядах Белой армии выдержкой из корниловского гимна, который мы пели после вечерней молитвы.

Вечер. Перекличка кончилась. Раздаётся команда:

– На молитву шапки долой! Пой молитву!

Три братья Розановы, прекрасные, как один, певцы, начинали: «Царю Небесный...», потом раздавались слова корниловского гимна:

Кто свою отчизну любит
и корниловец душой –
мы былого не жалеем,
царь нам не кумир,
лишь одну мечту лелеем –
дать России мир!..

Привожу эти слова, потому что они наилучшим образом характеризуют настроение моё и моих соратников по Симферопольскому полку и корниловской батарее в те давние часы.



*Братислава, 1979.*

# Три последние месяца моей жизни на территории России

В начале 1918 года на Дону вспыхнула гражданская война между сторонниками и противниками новой, как тогда называли, большевистской власти, между красными и белыми. Продолжалась она два с половиной года И окончилась в начале ноября 1920 года поражением белых и отходом Белой армии с территории России. История этой кровавой войны описана во многих исторических трудах. Многие советские и эмигрантские авторы избирали её темой для своих романов и повестей.



Рекомендую своим случайным будущим читателям прочитать роман Шолохова «Тихий Дон». Оставим в стороне спор*, написал ли этот роман Шолохов или он только воспользовался трудами иного, несомненного участника Гражданской войны и потом погибшего автора. Во всяком случае война красных с белыми описана в романе увлекательно, достаточно объективно, в ярких красках, часто на основании приложенных документов; она знакомит нас с этой тяжёлой братоубийственной войной.

Я как непосредственный участник этой войны, оканчивая свои воспоминания о пережитом в начале революции в России, перескажу лишь те события, которые мне пришлось видеть и в которых самому пришлось принять участие перед тем как с поредевшей Белой армией пришлось покинуть Россию.

Советская власть заключала в конце лета 1920 года мир с Польшей на условиях для себя невыгодных, зато приобрела возможность перебросить войска на юг. Здесь совсем, казалось, раз-

* Полемика об авторстве не позже 1974.

битая Белая армия, перевезённая в Крым, отдохнувшая и переформированная под начальством генерала Врангеля, снова начала беспокоить советскую власть.

В конце мая 1920 года Добровольческая армия (так называлась Белая армия), прорвав на Перекопском перешейке фронт красных, вышла из Крыма и начала продвигаться на север. К моменту заключения мира с Польшей белые дошли до Запорожья, перешли на западный берег Днепра и заняли Никополь.

Восточная часть армии высадила десант на Таманском полуострове на Кубани. Я был с Корниловской дивизией при Никополе, когда было получено донесение о заключении мира Советов с Польшей. Учитывая, что красные начали переброску войск ещё во время мирных переговоров, наше командование отозвало корниловцев на левый берег Днепра с приказом, когда напор красных усилится, с боем отходить по направлению на Крым.

Наша корниловская батарея, приданная к первому Корниловскому полку, быстро почувствовала напор новых сил красных войск и с боем начала отход, сперва держась берега Днепра, примерно до Каховки. Как изменилась ситуация! Когда наступали (примерно той же дорогой), население нас встречало радостно, часто с цветами в руках, зазывали в дома, угощали тем малым, что имели. Теперь деревни были как вымершие. Все ворота на запоре, трудно было добиться воды для коней и чтобы самим напиться.



Недели три перед тем, проходя одним приднепровским селом, я заинтересовался маленьким заводиком, скорей мастерской по ремонту машин. Зашёл, был приветливо встречен хозяином, ещё более приветлива была его дочка, курсистка высших агрономических курсов. Как давно я не сидел в уютной скромной гостиной, не пил чай с вареньем из изящных чашечек! Потом сидели у книжного шкафа, перебирали книги, вспоминая с милой девушкой содержание этих книг. Её брат был ранен, находился где-то в Крыму, они не имели о нём сведений. Обещал навести справки. Намечали, когда бы могли встретиться.

И вот опять едем поздно вечером мимо этого заводика. Ворота заперты, в окнах темно. К счастью, забор невысок, я перепрыгиваю через него, слегка стучу в знакомое оконо. Подошла и подняла занавеску та же девушка. Я уже не помню её имени.

– Уходите, – приоткрыв окно, сказала она, – папа так боится, за нами следят. Но нет, подождите немножко.

Через минуту она вернулась и протянула мне маленький батистовый вышитый платочек.

– Возьмите на память. Может быть, ещё встретимся, – сказала она, закрывая окно.

Я перепрыгнул обратно через забор и догнал батарею.

Дня через три вечером, тоже в селе при Днепре, наш небольшой отряд – немногочисленный батальон первого Корниловского полка и наша батарея – попали в окружение. Красные, выйдя из приднепровских плавней, начали нас окружать. Отстреливаясь, мы решили покинуть село, в котором из каждого садика в нас стали стрелять. Дорога из села шла около сельской церкви. Под защитой церковной ограды красные открыли по нас пулемётный и ружейный огонь. Сразу же поранили несколько лошадей, тянувших орудия. Как полагается, это внесло беспорядок. Батарея остановилась, загораживая дорогу. За нами следовал небольшой обозик-кухня, подвода с провиантом и вещевыми мешками, подводы со снарядами. Сзади по ним открыли из садов порядочный ружейный огонь. Обозные лошади не любят свист пуль, обезумевшие и никем не управляемые, они бросились к ограде прямо на пулемётный огонь.



К счастью, за обозом шла наша пулемётная тачанка. Старший пулемётчик Романченко редко когда терял голову. Он схватил ручной пулемёт и выпустил всю обойму в ограду. Красные, приняв это за атаку, подхватили пулемёты и бросились из церковной ограды. Стрельба затихла. Удалось оттащить раненных лошадей, отрезать постромки, и на остальных мы выехали, ругаясь, из села.

Был убит наш кашевар, убит его приятель шорник. Помощник кашевара и кучера с обозных повозок – все ранее взятые в плен красноармейцы – исчезли. Вернувшись утром в село (мы ведь не получили официальный приказ об оставлении села), мы похоронили повара и шорника. Тела их были зверски обезображены (оба носили корниловские погоны), повозка с кухонным котлом была разбита, котёл весь продырявлен пулями, других повозок и нашей вещевой повозки не было. Остался я и многие приятели лишь в том, что имели на себе. А в вещевом мешке были у меня ещё совсем хорошие сапоги, рейтузы, кой-какое бельишко. В кармане остался лишь один батистовый платочек.

Хорошо, что вечера были уже холодноваты и шинели у нас были на себе.

Итак, всё время с боями мы достигли Перекопского перешейка. Мы вышли много западней Перекопа, и потому нам для защиты выделили небольшой узкий перешеек между Сивашскими озёрами, близ Арабатской стрелки.

Помню, морозным утром пришли мы на место. Приятная неожиданность: блиндажи, новенькие блиндажи. Вот где можно будет отоспаться — мелькнуло в голове. Здесь мы не пропустим красных в Крым и зимовать здесь будем.

— Организуем кружок математиков и долгими зимними вечерами будем пополнять знания высшей математики, — говорит кто-то из приятелей.

Успели мы только чем-то закусить, а уж приказ — к орудиям. Выезжаем на позицию; она совсем близко от блиндажей. Через полчаса ситуация выясняется. Позиция на узком перешейке между двумя Сивашскими озёрами. Слева дамба, на ней железнодорожные рельсы, на них пыхтя, как-то нехотя приближается бронированный поезд. Самодельный: две платформы, которые толкает сзади старенький паровозик, вместо брони мешки с песком.



В центре и справа, километрах в двух, маячат группы наездников, видны и пулемётные тачанки. Всё это видно через заиндевелые деревца. Справа шагах в пятидесяти залегли корниловцы. Бронепоезд оказался не страшен: сунется вперёд, выпалит разок-другой из трёхдюймовки и отходит. Там, видно, железная дорога заворачивает влево, и он скрывается. Кавалеристы и тачанки тоже, кажется, в атаку не собираются. Наверно, ждут подкрепления. Узнаём, что пехота заняла позиции на перешейке ещё вечером. Красные появились под утро. Значит, приехали мы вовремя. Пристреливаемся. Стрелять будем прямой наводкой, надо лишь установить расстояние. Наездники и тачанки отходят, опять появляются, мы бьём по зарвавшимся.

Так продолжается несколько часов. Начинает темнеть. Красные, видно, получили подкрепления. Начали нас обстреливать шрапнелью. Дают большие перелёты, но где-то у них наблюдательный пункт, который корректирует стрельбу. Постепенно берут нас в вилку. У нас ранен один номер. Новичок, неделю как прибыл. У нас всего два орудия. Две гаубицы четыре с половиной дюйма. Командует старший офицер (так независимо от чина

именуют помощника командира батареи). Командир батареи полковник Мальма сказался больным и с самого начала отхода был где-то в тылу. Мальма, швед по происхождению, перешёл к нам от красных где-то под Орлом. Для него попасть в плен грозит повешеньем, оттого он держится подальше от мест, где можно попасть в окружение. А старший офицер – спокойный, какой-то неустрашимый, бережёт батарею.

Из вилки нужно выбираться, и он отдаёт приказ:

– Передки на батарею.

В это время к нам подбегает какой-то полковник. Вид у него грозный, шинель испачкана грязью, в руках револьвер. Узнаём, это командир 1-го корниловского полка полковник Гордеенко. Он, кажется, десятый командир этого славного полка за два года его существования. Все были убиты или изувечены.

– Отставить передки, беглый огонь по красным, – командует он.

Старший офицер не теряет самообладания. Он отказывается выполнить приказание. Полковник вытаскивает какую-то бумагу из кармана, указывает старшему офицеру. Тот читает и кричит:



– Отставить передки, беглый огонь по неприятелю.

Позднее мы узнаем, что бумага была назначением Гордеенка заместителем командира дивизии. Стреляем и с опаской смотрим, как быстро уменьшается наш запас снарядов. Не замечаем, что уже почти стемнело. Неприятель перестаёт нас обстреливать. Мы тоже прекращаем стрельбу: цели не видно. Затихают и пулемёты, слышна лишь наша и неприятельская стрельба из винтовок.

Подвезли кухню, не нашу, ведь свою мы потеряли. Корниловцы не оставляют редкую стрельбу, нас зовут подкрепиться. По очереди ходим к кухне, которая стоит при блиндажах. Желудки наполнились, и, как всегда в таких случаях, стало веселей. Положение становилось неясным. Снарядов нам не подвозили, в начале ночи пехота стала отходить.

Мы получили приказ сняться с позиции. Пошли, но при блиндажах не остановились. Вот тебе и поспали! Идём на запад. Скоро старший офицер нам объясняет ситуацию: главный перекопский фронт прорван. Пришедшие с польского фронта войска в несколько раз превышали численностью наши. Это было не ново. Новым было качество, дух их, дисциплина, командный

состав. Война с Польшей, война не сословная, а национальная, бой за исконные русские земли, за матушку Русь, создала армию. Советская власть очень удачно поставила организатором этой армии генерала Брусилова, самого видного боевого генерала так бесславно кончившейся для России Первой мировой войны. За ним пошли многие офицеры, [сразу] не примкнувшие к гражданской войне.

Белая армия стойко приняла атаку. Красное командование не считалось с потерями. Цепь посылали за цепью, замявшихся подгоняли своими же пулемётами. К вечеру красные с огромными потерями были уже на верхах Перекопского вала, залегли за ним. Белые сбивали их ещё несколько раз, но новые силы красных снова прорывали фронт. Воздушная разведка доносила о подходе новых красных войск. Белые резервов не имели. С возможностью, что фронт на Перекопе будет красными прорван, наше командование считалось. Понимали, что ворота в Крым будут открыты. Учитывая опыт эвакуации из Одессы и Новороссийска, разработали детальный план отхода Белой армии к крымским морским портам. Все суда, годные к дальнему плаванью, были готовы принять армию. 

Может быть, старший офицер не так подробно объяснил нам ситуацию или, вернее, причины сложившейся ситуации, но помню, как мы быстро поняли создавшееся положение. Стало ясно, что идём на соединение с основными силами отступающей армии. Два дня назад этому бы никто не поверил. Теперь приходилось верить. Шли мы безлюдной болотистой долиной. К счастью, уже несколько дней стоял мороз, и степь была как паркет. Усталые кони легко тянули орудия. Было холодно, зимних вещей мы ещё не получили. Немного передохнули в каких-то нежилых строениях, даже не вздремнули, пошли дальше. На другой день около полудня вышли мы на главную дорогу Перекоп–Симферополь... < >

Красные появились за нами среди короткого осеннего дня. Несколько кавалерийских групп и пулемётные тачанки. Грунтовая дорога, по которой мы отступаем, идёт по небольшому хребту; красные стараются нас обойти ложбинкой то с одной стороны, то с другой. Ручные пулемёты конного дивизиона и наши гранаты, которыми мы стреляем прямой наводкой, их останавливают. Да и у них нет большой прыти, видно, кони вымотались.

Когда начало темнеть, нас встречает конная связь от дивизии. При ней повозка с остывшей кашей и изобилие мяса. Как раз при дороге какие-то строения, там мы и останавливаемся, выставляем караул и набрасываемся на еду. Конный дивизион где-то рядом. Он многочисленней нас и выставляет конный и пеший дозор.

Утомили нас эти постоянные команды «на передки» – «с передков». Морозец. Земля замёрзла. При постановке орудия нужно выкопать яму для опоры хобота орудия. В нормальных условиях с этим справляется один четвёртый номер, а при замёрзшей земле мы все ему помогаем.

Наевшись, те, кто не пошёл в дозор, укладываются спать, душегрейки пришли вовремя. Но и так прижимаемся один к другому где-нибудь в углу сарайчика или хлевика. А на другой день с раннего утра всё то же, без перемен. Так же лениво преследуют красные. Незаметно, чтобы их число увеличивалось. Мы по-прежнему огрызаемся и не позволяем нас окружить. На третий день то же самое. Лишь к вечеру у красных появилась конная батарейка. Перед вечером они нас удачно обстреляли шрапнелью. Заплатили за это один номер и один разведчик. Правда, ранения



лёгкие: номер в мягкую часть ноги, разведчик – в голову, но так удачно, что оторвало ему лишь часть уха да порвало шапку. Но крови потеряли оба много. У конного дивизиона был врач – перевязали. Оба раненые были страшно напуганы, боялись, чтобы их не бросили.

Эта ночь была не такая спокойная, как две предыдущих. Беспокойство началось около полуночи. А я и забыл сказать, что в эту ночь нам ужасно повезло с ночёвкой. Остановились мы в большой усадьбе, заняли дом управляющего. Огромная людская, кухня. Печь ещё тёплая. Плита уставлена разными кастрюлями со снедью. На табуретках стоят два корыта с поднимающимся тестом. В доме всюду разгром. Видно, хозяева покинули его не больше часа тому назад. Управляющий не ждал от прихода красных ничего хорошего, о том, что фронт прорван, узнал лишь теперь и мигом собрался. В доме ни одной живой души. И прислуга убежала куда-нибудь подальше от проезжей дороги. Нас не интересовало ничего, только тесто. Подкинули дров в плиту и начали печь лепёшки, поливая их маслом, сметаной, ведь всего было в изобилии. В кухне было тепло, и кто не шёл в дозор, наевшись, сразу же засыпал.

Заснул и я. Спал недолго, разбудили идти в дозор. Заспанный, разогретый, вышел на двор. У коновязи стояли наши ездовые и что-то обсуждали. Подошёл к ним. Узнаю: полчаса назад прибыл новый связной из дивизии с приказом к командиру дивизиона. Ездовые, видно, узнали от связного суть приказа, но не познакомили меня с ним. Сказали мне лишь то, что минут через двадцать нарочный поскакал обратно. С ним ускакали два наших капитана, командиры орудий, выбрав наименее утомлённых и быстроходных коней. Я был ошеломлён. Решил сообщить это старшему офицеру. Его не было – вызвали к командиру дивизиона. Надо было мне спешить в дозор, но по дороге встретил дозорных от дивизиона, они сообщили, что дозор уже снят. Вернулся я к своим, хотел их разбудить и поделиться новостями.

А тут приказ:

– Построиться всем во дворе.

Накинув шинели, мы все вышли. Там уж был построен конный дивизион. Командир дивизиона в руках держал какую-то бумагу. Спросив, все ли здесь, отозван ли дозор, звонким голосом прочитал полученный приказ. Я помню его до сих пор, может, лишь в расстановке слов допускаю ошибки:



– Объявить офицерам и солдатам арьергарда, что Симферополь занят красными. Связь с дивизией прервана. Офицеры и солдаты освобождаются от присяги. Пусть каждый выберет: попытаться прорваться к дивизии или сдаться на милость неприятеля. Последнее судно, эвакуирующее армию, отойдёт от Севастополя...

Здесь память мне изменяет. Я не помню дат, но помню, что нам оставалось часов тридцать. Расстояние до Севастополя по прямой дороге километров сто десять, а в объезд сколько – угадать трудно. А уже раздаётся команда:

– Кто решил прорываться, становись направо, остальные налево.

Конный дивизион идёт весь направо. Налево отходят наши ездовые – все молодцы, донские казаки. Их десять человек, сражались в Белой армии не менее двух лет. На милость красных плохая надежда. Решили, видно, пробиваться в другую сторону – к себе на Дон.

Мы – остальные артиллеристы – идём направо. Конечно, с нами идёт и старший офицер. Берём одно орудие, другое орудие

и зарядный ящик оставляем. За ездовых вызвались из нас те, кто привык с детства к коням. В том числе и я. Прощаемся с нашими кадровыми ездовыми – жили мы с ними дружно. Они помогают нам запрячь коней. За несколько минут орудие с пятью уносами* уже готово. Раненых посадили на передок. Прощаемся, целуясь с ездовыми, они прощаются с конями.

Не знаю, каким образом я попал на первый унос. Все пять уносов имеют уже своих ездовых. Остальные номера разбирают оставшихся коней. Не успеваю освоиться с новым положением, а уже конный дивизион построился и на рысях двинулся. Темно. Ночь без звёзд и луны. Едем, вернее сказать, скачем без дорог, напрямик – не то степью, не то пашней. То и дело слышится команда:

– Под ноги, крепче повод.

Кони нервничают. На них действует общая обстановка, но главное, что ими управляет не старая привычная рука. Опять крики:

– Под ноги, крепче повод.

Я ничего не вижу. Не могу ещё привыкнуть, что кроме повода моего коня должен держать и управлять приручным конём. Вдруг

мой конь сразу останавливается. Я от неожиданности чуть не сползаю ему на шею. Оказывается, что перед нами небольшая канавка. Конь не решается её перепрыгнуть без понукания от меня. Я канавки не заметил, но натянул повод. Второй унос наскочил на мой. Ругань; кони заступили постромки. Все ругают меня. Я огрызаюсь. Старший офицер зовёт едущих налегке распутать постромки. Они с руганью слезают с коней и с трудом распутывают их. Почувствовав ноги свободными, кони подхватывают орудие и мчатся вдогонку за дивизионом.

Минут через двадцать то же самое. Вместо канавки какие-то ямы. Кони шарахнулись в сторону. Ох, эти постромки! Опять кони их заступили. Опять ругань. Суета. Так проехали мы километров пять. Конь подо мной вспотел. Уносы не тянут равномерно. Конный дивизион недоволен. Мы задерживаем его.

Старший офицер, использовав остановку (командир дивизиона спешился и под прикрытием бурки рассматривает карту, стараясь сориентироваться), получает разрешение или приказ (уж не знаю) оставить орудие. Оставляем орудие, остаётся лишь передок с сидя-

---

* Постромки передней пары лошадей при упряжке четвернёй.

щими на нём ранеными. Для него довольно двух уносов. С моих плеч спадает огромная тяжесть. Я отстегиваю постромки, перекидываю седло на не так уставшего приручного коня. Как я счастлив, как хорошо ехать самому! Мой седельный конь бежит за нами, как бегут за нами и остальные оставшиеся без седоков кони.

Внезапно дивизион останавливается. Слышится:

– Стать! Кто такие? Стрелять будем!

В темноте видны силуэты другого конного отряда, идущего нам наперерез. Такие же возгласы от них. Начинается словесная перепалка. Ни мы, ни они не хотим называть себя. Наконец договариваются: командиры отрядов выедут вперёд без оружия для переговоров. Все, в том числе и я, напрягаем внимание. Я уселся поудобнее в седле, подтянул повод, похлопал по шее коня, приготовился к любой развязке. Тут слышим:

– Так что ж вы ругаетесь, как красноармейцы, водите нас за нос?

– А вы что? – облегчённый смех у того и другого командира. Оказывается, нам пересёк дорогу арьергард казачьей дивизии, направляющейся в Феодосию. Они звали нас присоединиться к ним, а мы их; минут через пять все продолжили свой путь. Так переменным аллюром, то рысью, то шагом, мы продолжали продвигаться. Уже было совсем светло, когда мы повстречали небольшой конный отряд; от них узнали, что Симферополь опять в наших руках. Мы изменяем свой курс и идём на Симферополь. Кони уже устали. Ведь мы их не кормили и не поили, да и всадники устали.



К концу дня мы въехали в какое-то предместье Симферополя и прямо натолкнулись на нашу батарею. На краю шоссе, на видном коне, одетый с иголочки, с холённым лицом стоит наш командир батареи полковник Мальм. Мы его не видели от похода за Днепр, когда он, сказавшись больным, покинул батарею и уехал в хозяйственную часть бригады. Около него сгруппировалась оставшаяся часть нашей батареи, не попавшая в арьергард.

Наш старший офицер подъехал с рапортом. Я ехал при старшем офицере. Выслушав рапорт и заметив меня, как всегда сквозь зубы, он приказывает мне:

– Фейерверкер Авенариус, отдайте своего коня капитану Фёдорову.

Фёдоров был из тех двух капитанов, которые прошлой ночью удрали из арьергарда, ни слова не сказав. Я, как вся наша батарея,

не любил и не уважал командира батареи, как он нас – вольноопределяющихся из студентов. Капитан Фёдоров после его бегства из отряда был мне противен. Может быть, при других обстоятельствах я как-нибудь отдалил бы передачу коня, но я был так утомлён этой сумасшедшей ездой, ноги совсем замёрзли, руки тоже, всё тело ломило, требовало отдыха. Нужно было хоть немножко размяться. Не отвечая на приказ, я молча слез с коня, перекинул повод на его шею и отошёл от командира.

Минутой раньше я заметил на другой стороне шоссе группу людей, пьющих у колодца воду. Пить мне страшно хотелось. Вода заняла мои мысли. Народу у колодца было много. Пришлось ждать очереди. Прыгая с одной ноги на другую, хлопая руками по бокам, я старался согреться, размять застывшие суставы. Наконец мне удалось добраться к воде. Не спеша, я вдосталь её напился.

Потом вернулся на шоссе, перешёл на другую сторону. Место, где останавливалась наша батарея, было пусто. По шоссе идут вразброд одинокие всадники на рысях, подхлёстывая замученных лошадей, на повозках, экипажах, тарантасах спешат военные всех



рангов. Быстро пошёл и я, даже побежал за общей волной, было даже приятно чувствовать под собой не стремя, а землю. Я надеялся, что вот-вот нагоню свою батарею. Но, видно, полковник Мальм сразу же, как присоединилась наша арьергардная часть, отдал приказ на рысях отходить за армией.

Прошагав, вернее, пробежав с километр, я не догнал и даже не увидел хвоста своей батареи. Мальм спешил. Делал я попытку присесть на перегонявшие меня повозки. Напрасно.

– Не нашей части, не лезь, – был окрик.

Поравнялся с таким же неудачником, как я. Симпатичный, словоохотливый поручик.

– Не теряйте времени, я тоже пробовал, лучше прибавьте шагу, – советовал он.

Пошли вместе. До Севастополя оставалось пятьдесят пять километров. До отхода последнего парохода часов двенадцать. Значит, можно было поспеть и пешком.

Вдвоём веселей было идти. Вот и Бахчисарай, когда-то столица Крымского ханства. При дороге стоит духан (татарская гостиница). Он полон. Дым коромыслом. Людей тьма-тьмущая. Большинство вдрызг пьяные. Смысл пьяных выкриков прибли-

зительно один: напьюсь вдребезги, надоело всё, не хочу жить, напьюсь до потери сознания, а потом пусть красные делают со мной что хотят.

Мы передохнули немного (получить что-нибудь «на зуб» или выпить не было у кого, наверно, хозяин спрятался) и вышли вон. К забору было привязано несколько осёдланных лошадей. Отвязали двух, сели и поехали. Но уж через полчаса увидели, что верхом двигаемся медленней, чем на своих двоих. Лошади были совсем замучены. Слезли. Предоставили лошадей их судьбе, а сами пошли дальше. Но и мы были уж порядочно усталые. Шли не более четырёх километров в час. Да и дорога чем ближе к Севастополю, тем более была заставлена, загромождена обозами, отдельными орудиями, поломанными автомобилями. Наверху некоторых повозок, по-видимому интендантских обозов, дремали пленные из красноармейцев, ожидавшие своей судьбы. Многие из них уже не раз перебегали от красных к белым. Они ждали лишь конца войны, заботились лишь о том, как бы сохранить жизнь, вернуться домой.

Итак, обходя разные препятствия, когда уж рассветало, мы были у цели. Видно море. Огромный пароход (как узнали позднее, «Саратов») дымит у мола. А на молу видны кучки людей, масса раз- 
бросанных ящиков, вещей, чемоданов, мешков, узлов. Шныряют там какие-то людишки, мужчины и женщины, собаки, лошади. Людишки эти, видно, из пригородного рабочего посёлка. Узнали об эвакуации и пришли поживиться чем-нибудь.

Пароход причален к молу. На нём море человеческих голов. С парохода ещё спущены сходни. У сходней толпа людей в военных шинелях. Толпу сдерживают несколько дюжих матросов и юнкеров. Пропускают выборочно, не спеша, по одному человеку. Толпа человек в сто, а то и более, волнуется, напирает. Крик, ругань.

Недалеко стоит отдельно группа военных. Узнаю их по нашивкам на рукавах, это добровольцы из крымских немцев. Отчаянные ребята. Они, видно, тоже только что прибыли и совещаются, как пробиться на пароход. Вот они двинулись вперёд каким-то треугольником. В руках револьверы, раздваивают толпу, врезаются в неё.

Несколько человек из толпы, стоявших на краю ничем не огражденного мола, срываются в море. Крики, вопли. Немцы-колонисты силой пробились к сходням и уже лезут на пароход.

Смельчакам, хотевшим за ними пробраться, это не удаётся. Моряки и юнкера опять исполняют свои обязанности. Толпа у сходен, в которой нахожусь и я, шарахается то в одну, то в другую сторону, каждый боится сорваться с мола. Потом всё стихает. На капитанском мостике, окружённый несколькими офицерами, появляется нам всем знакомый генерал Кутепов. Он командир 1-го Добровольческого корпуса.

– Прекратить безобразие. Капитан парохода отказывается принять хотя бы ещё одного человека. Иначе и при небольшом волнении на море все пойдём ко дну. Снять сходни.

Крики:

– Сойди сам! – ругательства.

Кто-то стреляет по направлению мостика из револьвера. Генерал Кутепов со свитой спускается с мостика. Я не был в первых рядах стремившихся на пароход – не хватало ни сил, ни воли пробиваться вперёд через толпу.

Отходя от толпы, я вижу вдруг около себя Калистова. С выхода из Крыма мы были с ним у одного орудия. В арьергарде поочерёдно были наводчиками.



– Калистов? Ты тоже здесь.

– Конь подвёл – пал. Только теперь добрался. Что будем делать?

У меня зарождается глупейший план. Я так устал, мне хочется только одного – где-нибудь укрыться, закутаться во что-нибудь тёпленькое и заснуть. Кругом ходят лошадки, валяется хлеб, консервы, сахар, лежат тюки с одеялами. Навьючить это всё на лошадку, отойти в лесок, выбрать укромное местечко где-нибудь в овраге, под деревьями, поесть, закутаться в одеяло и заснуть. А когда вернётся к нам опять энергия, воля жить, что-нибудь предпримем.

Калистов без особой охоты соглашается. Я выбрал небольшого коника, как сейчас помню, – беленького, начал навьючивать на него одеяла. Калистов куда-то отошёл. И вдруг слышу:

– Авенариус, скорей ко мне!

Он стоял на краю мола. Я побежал к нему. Как раз под ним на воде качалась плоскодонка, непомерно широкая, сплошь покрытая поверху досками. Потом я узнал, что это было небольшое судёнышко, в котором на пароходы привозят пресную воду. Палуба лодки метрах в двух от мола. На ней стояли человек пятнадцать. Как раз ещё один прыгнул вниз на неё.

– Я прыгаю, прыгай и ты, – кричит Калистов и прыгает.

В это время я увидел, что лодка привязана канатом к корме «Саратова», который медленно, едва заметно отходит от мола. Канат натягивается И вот-вот лодка отойдёт от мола. Я не раздумывая прыгнул. Упал удачно, ничего не сломал, даже не ушибся.

А с парохода кричат:

– Куда вы лезете? Ведь обрубим канат!

Вода уже была перекачана на пароход, лодка не нужна, просто забыли отвязать канат. Канат всё же не перерубили. Ругаясь, минут через пять бросили нам с палубы другой канат, потоньше, но весь обледенелый.

Так Калистов сыграл огромную роль в моей жизни.

Мой план был глуп. Позднее, узнав, что творилось в Крыму по оставлении его белыми, я понял, чем бы кончился мой план. Леса у Севастополя были полны дезертирами: красными, белыми, зелёными – отчаянные головы, живущие разбоем, прикончить нас им было бы проще простого.

Ну, а если бы они нас не прикончили, – дня через три вылезли бы мы из леса. Всюду бродили красноармейцы, дозоры. Завшивевшие оборванцы, но какие-нибудь удостоверения должны бы иметь. А у нас при себе – только военные билеты, выданные Корниловской дивизией. Другие документы мы потеряли вместе с вещевыми мешками в засаде. Бела Кун, который был назначен на ликвидацию остатков* белых и их единомышленников, отправил на тот свет в Крыму тридцать тысяч. Попал бы и я в число их, и было бы два Авенариуса, расстрелянных в Крыму. Первым был дядя Володя, папин младший брат. Золотой человек. Все, кто его хоть немножко знал, любили и уважали его. Он не был связан с Белой армией. Жил в Крыму в Судаке из-за единственной дочки Анечки, больной астмой. Взяли из дома, на другой день расстреляли. «По ошибке», – как потом объяснили жене. Очень уж он походил на настоящего старорежимного генерала. А он и офицерских погон никогда не носил. Отбыл воинскую службу вольноопределяющим и больше в армии не служил.



Тем, что я не был расстрелян, не погиб от тифа в тюрьме, я обязан Калистову, его возгласу: «Авенариус, скорей ко мне!»

---

* Теперь говорят «зачистку». Москва чтит память палача, дав его имя пересечению улиц Байкальской и Уральской.

И вот – доживаю восьмой десяток, не погибнув в 1920 году в Крыму. Жив ли Калистов, где он теперь – не знаю. Осенью 1924 года я видел его в Праге: Он добрался туда из Болгарии, собирался поступить в Прибраму в Горный институт. Отец его был горным инженером на Сахалине.

Итак, продолжаю. Бросили нам с палубы «Саратова» другой канат. Он весь был обледеневшим. Руки и ноги скользили по нему. На первый раз никому не удавалось влезть по нему – скользили вниз. Повторяли попытку, опираясь ногами о скользкий, тоже заиндевевший, борт «Саратова», достигали перил, там им помогали выбраться на палубу. Калистов, хороший гимнаст, влез на пароход один из первых.

Я влез последним. Как некоторые передо мной, я сбросил шинель в лодку и полез без неё. Несколько рук помогли мне дотянуться до перил и перешагнуть их. Шинель осталась в лодке. На шее болталась казачья кожаная сумка, я взял её на берегу, когда навьючивал коня. Прельстил меня кусок колбасы, торчавший из неё.

На палубе, набитой, как паперть церкви во время пасхальной

заутрени, Калистова не увидел. Толпа, видно, отнесла его дальше. Захотелось есть. Вытащил колбасу и сразу её съел. Больше ничего съедобного в сумке не было. Какие-то бумаги. Оставил их в покое.

А тем временем «Саратов» медленно отходил от родного берега. Потом, выйдя на рейд, остановился. На молу можно было ещё разглядеть всё уменьшающуюся группу людей. Когда стемнело, оттуда кто-то подавал световые сигналы.

Не знаю, по приказу ли кого или по своей инициативе генерал Ерогин, начальник корниловской артиллерийской бригады, на спущенной с парохода лодке с матросами у вёсел, поплыл на берег. Через час он вернулся, привезя человек двадцать, упорно ждавших на берегу. Один был с нашей батареи. Машины «Саратова» опять заработали, теперь уже на полный ход, и мы стали удаляться от берегов Крыма. Прощай, Россия. Надолго ли?

Пароходная машина равномерно постукивает, безветрие, и наш «Саратов» без качки, не спеша, ползёт по Чёрному морю. Я стою на палубе, на корме, приблизительно в том месте, куда вылез по канату из лодки, стиснутый со всех сторон толпой в военных шинелях.

Вглядевшись, начинаю понимать ситуацию. Пространство между бортом парохода и надпалубными сооружениями, шириной метра четыре, разделено на три самостоятельные очереди людей, медленно движущихся в одном же направлении, кругом парохода. Узнаю, что крайняя очередь – это очередь за водой, и при ней очередь в уборную, а третья, вдоль стен надпалубных сооружений, это очередь «проходящая», в которой можно из одной части парохода попасть в другую. Порядок. Без него жизнь в переполненном до отказа пароходе была бы невозможна.

И сразу, как я услыхал «очередь за водой», мне страшно захотелось пить. Ведь последний раз я напился воды в Симферополе, сутки тому назад. Встал в первую очередь и медленно поплыл с ней. Наверно, часа через три доплыл до водопроводного крана. Из привязанной цепью железной кружки жадно пили дождавшиеся очереди. Стоящий при кране матрос смотрел, чтобы с водой обращались бережно, не выливали на палубу. Выпив почти две кружки, я утолил свою жажду и, став во вторую очередь, вернее втеснившись в неё, поплыл с ней к уборной – ВГ*. Добрался до него, наверно, часа через три.



Здесь забегу немного вперёд, чтобы рассказать одну сценку, разыгравшуюся на этом месте при мне, но дня три-четыре позже. Дам вперёд несколько разъяснений.

Пароход «Саратов» был пароходом товаропассажирским. На нём было около трёхсот мест для пассажиров, а остальное пространство предназначалось для товаров. Теперь же нас было на пароходе набито всюду, где только было можно, шесть тысяч взрослых людей с какой-то там поклажей. Только нижний трюм был нагружен пшеницей. Пароход к такому количеству пассажиров, конечно, не был приспособлен, вот и разыгрывались разные сценки.

Итак, я стоял в очереди к ВГ. Человека за два передо мной стоит дамочка, молоденькая, прилично одетая. Женщин на пароходе было сравнительно мало, и специального ВГ для них не было. Просто они шли в заднюю часть ВГ. Грязь около него была ужасная. Нечистоты выливались и малым ручейком стекали то к левому, то к правому борту парохода, в зависимости от того,

---

* ВГ– ватергальюн.

куда был в то время крен. Наша дамочка вдруг поскользнулась и упала бы, если бы её не подхватил стоящий за ней. Но и так она одной рукой коснулась запоганенной палубы. Её состояние и до того было почти истерическое: грязная, наверно, несколько дней не умывалась, завшивевшая, она едва сдерживала себя. А теперь она подняла вверх запачканные пальцы, и вот-вот начнётся истерический припадок. Как беспомощно смотрела она на эти поднятые вверх пальцы! Как раз над тем местом, где находилась тогда наша очередь, проходили от пароходной главной мачты какие-то снасти. Два предприимчивые кавалериста взобрались на них, связали их чем-то и, весело болтая, расположились на них, греясь на осеннем солнышке. Они, видно, наблюдали разыгравшуюся сценку, и вот один из них приятным баритоном запел один из куплетов песенки Вертинского:

– Ваши пальцы пахнут ладаном, а в глазах голубая вуаль.

Это было так неожиданно и так «к месту», что дамочка вскинула на них благодарные глаза, не разрыдалась, а почти весело засмеялась, а в это время другой гусар, соскочив вниз, подал ей что-то вроде носового платка. Очередь двинулась дальше.



Прошёл я уже двумя очередями – и вдруг подумал: ну, а что же дальше? За эти шесть часов, проведённых в очередях, я не встретил ни одного знакомого лица, никого из нашей батареи: очереди шли в одну сторону, поэтому соседи редко менялись – я видел всё время одних и тех же людей. В очередях могла быть тысяча. А где же остальные? Ведь нас на пароходе больше шести тысяч. Где остальные? Наверно, в трюмах.

Стало ясно, что надо было искать своих батарейцев в трюмах. Легко сказать, но трудно было это выполнить. Перебрался в третью очередь – проходную. Заметил, что, когда очередь поравнивалась с какой-нибудь лестницей вниз, кто-то из очереди выходил и спускался вниз. При следующей лестнице и я вышел из очереди и подошёл к лестнице. Лестница была широкая, но на всех её ступеньках сидели и дремали люди. Трудно было найти место, чтобы поставить ногу. Я спускался, кто-то поднимался.

Спустился. Кругом было темно. Где-то горели огоньки, видно, свечи. Сквозь мглу виднелись силуэты людей, лежащих и сидящих тесно прижавшись один к другому. Яблоку негде было упасть – так было натискнуто народа. Спросил, какая часть здесь расположена, – назвали, а когда спросил, не знают ли где 8-я

корниловская батарея, отвечали молчанием. Из расспросов сидящих на лестнице тоже ничего не узнал. Это были отбившиеся от своих частей военные, которые были рады-радёшеньки, что хоть тут приютились. Найти там хоть полместечка не было возможности. Выбрался я опять наверх, поплыл в очереди до следующей лестницы. Опять спустился. Результаты те же. Далеко от лестницы не уйдёшь, спросят – какой части, сесть не позволят и пинками ног гонят обратно. Где моя восьмая – не знают. Отдельные воинские части перемешаны, места забирались частями по мере подъёма на пароход.

Ещё раз я поднялся, ещё раз спустился, и наконец почувствовал, что я уже готов, что ноги подкашиваются, что не могу больше сопротивляться страшному желанию хоть на минуту закрыть глаза, заснуть, присесть хоть на корточки или прислониться к стене.

От самого Днепра мы спали урывками, не раздеваясь; когда шли в арьергарде, было ещё хуже, а потом одну ночь в седле, а за ней ночь в спешном переходе от Симферополя до Севастополя. Встал опять в очередь, стараясь хоть на минутку притиснуться к стене, но на меня наседали, я спотыкался, падал, свёртывался в комочек, стараясь хоть немного дать отдохнуть ногам, на минутку закрыть глаза. Стоящие за мной – кто с трудом перешагивал через меня, кто пинками ног заставлял меня подняться. Вот очередь подходит к месту, где слева за перилами стоят и лежат несколько лошадей. Как они попали на пароход, не знаю, потом за несколько дней плавания мы их всех съели. Как раз рядом со мной лежит одна из них – видно, спит. Я подползаю под перила, притискиваюсь к тёплому корпусу коня и сейчас же засыпаю. Спал ли я пять минут или полчаса – не знаю. Просыпаюсь от боли: пытаясь встать, лошадь навалилась на меня. Я выбираюсь из-под неё, хватаюсь за перила, опять подползаю под них, встаю и втискиваюсь в очередь.



Но я уже другой человек. Этот сон, может быть, очень короткий отдых, возвращает мне физические силы, голова начинает работать. Я опять могу стоять в очереди, глаза не закрываются. Замечаю, что в очереди «за водой» стоят люди с вёдрами, какими-то мисками. Узнаю, что жизнь на пароходе начинает налаживаться, что начинают раздавать и какую-то пищу – жидкую, тёпленькую. Раздают супик с пшеном по спискам на отдельные команды.

Если так, соображаю я, так пойдёт и от нашей батареи кто-нибудь за обедом. Нужно стеречь. Задержаться в месте выдачи не удаётся – мешаешься. Проталкиваюсь немного выше против течения очереди, у ближайшей лестницы в трюм хватаюсь за перила и задерживаюсь, ни с места. Надежда придаёт мне сил. Долго я ждал. Наверно, несколько часов. И вот с ведром в руке плывёт в очереди вольноопределяющий Сотников, второй номер нашей пулемётной тачанки. Радость обуяла меня. Протолкался к нему – и, помогая нести полное ведро горячего супа, я добираюсь до той части какого-то трюма, которая отведена под нашу батарею. Я опять между своими. Ничто меня не интересует. Примостившись между вповалку лежащими нашими ребятами, я сразу засыпаю. Спал, наверно, сутки. Проснусь, как сейчас помню, почувствую неописуемое блаженство и опять засыпаю, уткнувшись носом в какого-нибудь соседа.

Выспавшись, сел и начинаю оглядываться. Кругом лежат и сидят на полу все наши вольноопределяющиеся орудийные номера, три пулемётчика, три «продуй трубку» (так называли телефонистов) и один из конных разведчиков. Другого, Оже-де-Ранкура, отнесли в госпиталь с сыпным тифом. Он был первым умершим в Галлиполи. Всего нас было нижних чинов двадцать человек. С нами лежал и старший офицер батареи капитан А.Ф. Шатерников. Вещей у нас не было, повозка с нашим имуществом пропала ещё на Днепре, когда мы были окружены.



Прижавшись один к другому, мы занимали площадь 20 м². За нами расположилась другая, более многочисленная часть нашей батареи – хозяйственная и батарейный резерв. При эвакуации Добровольческой армии из Одессы и Новороссийска в Крым не удалось погрузить на пароходы всю матерьяльную часть армии. Было оставлено много орудий, ещё больше коней. При переформировании армии в Крыму офицерский состав артиллеристов много превышал количество орудий, ещё больше коней. Не хватало и солдат-артиллерийцев.

Пехота, как всегда, нашла выход в создании чисто офицерских частей, рот и батальонов. Сапёрные офицеры тоже сформировали отдельные офицерские сапёрные роты. Офицеров-артиллеристов было решено оставить как резерв, чтобы из добытых в боях в Таврии и в десанте на Кубань орудий и коней сразу организовать новые артиллерийские части или дополнять

существующие. Пока что эти резервы держались при хозяйственных частях батарей и дивизионов. При отступлении, когда наша батарея, назначенная в арьергард дивизии, была преобразована в конную, при ней остались лишь четыре офицера. Остальные двинулись в хозяйственную часть.

В резерв были откомандированы только что произведённые в подпоручики три наших вольноопределяющихся. Хозяйственной части как тыловой удалось раньше прибыть к месту посадки и погрузиться со всем имуществом. Разместились они на чемоданах, корзинках, тюках, были между ними женщины, по-видимому, жёны офицеров. Узнал среди них жену бывшего командира батареи Халютину. Перекинулся с ней несколькими словами. Беднягу одолевали вши.

А пароход наш шёл вперёд всё дальше от родной земли.

Дня через два (море было на счастье удивительно спокойное) мы приплыли к Константинополю. Был я между счастливцами, которым удалось выбраться на палубу, когда к «Саратову» подошёл катер, на носу которого стоял генерал Врангель. Приветствует нас. Мы отвечаем громогласным «ура!» Из речи генерала Врангеля узнаём, что эвакуация прошла благополучно. Что план размещения эвакуированной армии и цивильного населения готов. Первый корпус (основное ядро Добровольческой армии) будет сосредоточен в Галлиполи на европейском берегу Дарданелльского пролива. Казацкие части разместятся в Чаталдже, на островах Лемнос и Родос. Сербия, Болгария, Румыния согласились принять 80000 беженцев.



Вечером мы уже плыли по направлению к Дарданеллам. Пасмурное, дождливое утро, холодно. Мы стоим у Галлиполийского берега. Выгружается первая партия. Их всего человек десять, с ними человек двадцать, вооружённых винтовками. Они уходят куда-то по берегу дальше от парохода. Потом слышатся несколько залпов. Ликвидировали тех, кто полевым судом был приговорён к расстрелу.

Начались выгрузка воинских частей.

---

* Теперь хорошо известно, что всех желавших расстаться с Родиной транспорты вместить никак не могли, так что благополучие касалось тех, кто на них сумел попасть. Частное свидетельство тому рассказ о погрузке на транспорт «Саратов» автора.

Теперь вернусь немного назад. Осложнением тяжёлого сыпного тифа, который я пережил в Бессарабии, была закупорка вен на левой ноге. Я долго не владел этой ногой. Хромал. Потом, когда начал [сносно] ходить, первые полкилометра, пока не возобновлялась нормальная циркуляция крови, я волочил ногу, она болела. Постепенно я к этому привык, тем более что время, необходимое для возобновления правильной циркуляции крови, уменьшалось. Но всё ж нога была не та.

В последний месяц походов по Таврии на левой ноге ниже коленки стали появляться открытые гноящиеся раны. Ветеринарный врач, пристроившийся при нашей батарее, посмотрел ногу и сказал, что это ерунда, нельзя только ранки расковыривать, чтобы не получить заражение крови. Промыл спиртом, дал какую-то мазь и велел ей мазать. Дал запасной бинт.

При последних боях ветеринарный врач исчез, ногу я запустил: не до неё было. Обмотки, которые в то время заменяли высокие сапоги, стягивали ногу, ухудшали кровообращение. Ночь в седле, переход Симферополь–Севастополь сделали своё дело. Когда я лежал между своими в трюме и, уловив благоприятный



момент, разбинтовал ногу, которая болела и страшно чесалась, я испугался её состояния: нога ниже колена была покрыта смесью крови и гноя, в которой в изобилии копошились вши. Все мы в трюме были покрыты вшами. Их были миллиарды. Их никто не ловил, не убивал, а просто, если они лезли в глаза или нос, смахивали. Ни воды, ни бинта, ни мази у меня не было. При своих странствованиях по пароходу я заметил два «кумбалка», в которых лежали тяжелобольные и раненые. Забинтовав ногу, не накручивая обмотки, я решил попробовать пробраться в эти «кумбалки», попасть к врачу. Нашёл «кумбалок», пролез в него, до отказу переполненный.

Меня сурово окликнул не то врач, не то фельдшер; я объяснил ему, показал ногу, он выругал меня, сказал, что если я до сих пор от этого не умер, так не умру и завтра, и выпроводил меня. Я не обиделся на него, видел, что он сам был в «концах».

# Турция и Бессарабия

Началась выгрузка. Сперва выносили больных и раненых. Потом вызывали один за другим трюмы, ставили в очередь, которая медленно направлялась к сходням. Медленно двигался опять в ненавистной очереди и я. Очередь поравнивается с госпитальным «кумбалком». Дверь в него приоткрыта. Стоит не то врач, не то сестра в когда-то белом халате. «Кумбалок» пуст.

Я шагнул к ней. Не помню, как я её титуловал, но она пропустила меня внутрь. Я сорвал бинт, показал ей ногу. Наверно, она 
сразу и не сообразила в чём дело. Ватой, намоченной чем-то, обмыла ногу. Тогда лишь поняла:

– Фуй, как вы запустили.

Взяла какую-то мазь, по запаху похожую на ту, которой мазал ветеринар. Намазала, забинтовала и, указывая на пустые подвязанные к потолку до вышки в три ряда носилки, сказала:

– Ложитесь, куда вы пойдёте с такой ногой.

Я не раздумывая лёг на носилки, которые начали медленно качаться. Вещей у меня не было. Шинели я лишился, когда по канату взбирался на «Саратов». Поверх старой гимнастёрки я имел старую фуфайку без рукавов. Другого имущества у меня не было, а впереди ожидал меня неприветливый голый берег, дождь, холод. Нога болит и зудит, беспокоит угроза заражения крови. Слова докторши казались мне чем-то вроде приказа. Поеду пока дальше на Лемнос, на Родос, потом «Саратов» на обратном пути остановится в Галлиполи – тогда и сойду с него. И нога тем временем подживёт. Койка медленно продолжала качаться. Я задремал. Тем временем разгрузка кончилась, но началась погрузка небольшого количества казаков, выгруженных в Галлиполи перед тем с других пароходов и отправляемых теперь с «Саратовым» на Лемнос.

Среди вновь нагружаемых были, наверно, больные и раненые, а с ними и врачебный персонал. И вот меня, развалившегося на больничных носилках-койке, не раненого и не тифозного, с «кумбалка» выпроводили.

Пароход, по сравнению с тем, каков он был часа три назад, был пуст. Большинство трюмов было закрыто, но вот нашёлся открытый. Спустился я в него, и с кем же сталкиваюсь – опять с тем же Сотниковым! Обрадовался я очень и от него узнал, что он казак и решил ехать на Лемнос, где, наверно, найдёт и брата, и других родственников. Расположились вместе. Он заметил, что я без шинели. Я объяснил ему в чём дело.

– Этому можно помочь. Я видел здесь в трюме несколько брошенных шинелей. Пойдём поищем.

И в самом деле, нашли в углу трюма три шинели. Ту, которая больше подходила на мою фигуру, я забрал и сразу же надел. Важный вопрос был так просто разрешён. Теперь в шинели и лежать было мягче, и ничем я не отличался от других. Потом «Саратов» дал гудок, и мы пустились дальше.

Осталась проблема с питанием. Кумбалок, в котором варили

обед, был закрыт. Правда, это всего-навсего была только «полёвочка с пшеном», – но всё же! Голь на выдумки хитра: странствуя по почти пустому пароходу, какой-то хитрец разнюхал, где в нижних трюмах лежит зерно, мука. Какие-то ловкие руки провертели, ещё до нас, дырочки, засунули в них палочки. И вот стоит очередь перед этими дырочками. Кто прямо в руку, кто в кружку набирает или муки, или – в другом месте – пшеницы.

Мы с Сотниковым не хуже других. Пшеницу отправляем прямо в рот и жуём с ожесточением. Оказывается, можно есть, и даже наелся. С мукой больше хлопот. Наберёшь пригоршню, смочишь водой, сделаешь лепёшку и с ней спешишь поближе к машинному отделению. Оттуда выходило много горячих труб. Терпеливо прикладывая к ним то одну, то другую сторону лепёшки, получаешь что-то ломкое, несолёное, но тёплое и вкусное.

Так мы и коротали время до Лемноса, где Сотников покинул «Саратов», а я продолжал ехать дальше. В то время я познакомился со студентом какого-то южного политеха, весёлым, предприимчивым, хорошим товарищем по фамилии Пинчук. Мы долго дружили с ним. Когда я уехал в Румынию, он писал мне

туда, а потом я узнал, что ему подсыпали яд в какой-то корчмужке в Стамбуле и он умер. Мотив был неясен.

При прибытии «Саратова» на Родос один случай помог мне с Пинчуком хорошо покушать. Дело было в следующем. Два года тому назад я, уезжая из Москвы, дал кухарке столовки, в которой я служил, зашить несколько романовских кредитных билетов разной стоимости. Она честно и умело это сделала. По приезде в Сороки эти деньги были извлечены и пригодились нам, так как имели ценность наравне с румынскими. А одна сторублёвая бумажка не была найдена. Ещё перед Лемносом, когда мне не спалось, ворочался я и нащупал в верхней части брюк какой-то посторонний предмет. Добрался до него, вынул – это была та сторублёвка, совсем не повреждённая.

Пароход окружили всевозможные торговцы на лодочках. Предприимчивые матросы и пассажиры на верёвках спускали им что-нибудь из вещей или деньги. Торговцы оценивали спускаемое и показывали, что за это они готовы дать продуктами. Иногда договаривались, иногда – нет.

Попросил и я свободную верёвку, привязал к ней мою сторублёвку и спустил.



– Чок ии (хорошо), – кричит торговец и показывает, что за неё даёт буханку хлеба.

Я знаками показываю, что хочу две. Сторговались на одной. Но большой. Торг состоялся, и мы с Пинчуком были обеспечены едой дня на два.

От острова Родос «Саратов» повернул обратно. В Галлиполи мы не остановились; в Константинополе нас всех (человек двести) с «Саратова» высадили, посадили в вагоны и повезли. Узнаём, что везут нас в городок Тузла на берегу Мраморного моря. Там была расположена какая-то английская военная часть (солдаты-кавалеристы индусы, красивые, рослые, и англичане-офицеры).

Там мы прежде всего избавились от вшей. В деревянном бараке с тёпленькой водичкой, отдав всё, что на нас было надето, в дезинфекционные котлы, получив вдоволь какого-то специального мыла, под душами отмывали с себя грязь. Ведь тело мы не мыли, пожалуй, с ранней осени. Мылись и мылись. Потом пришли тоже раздетые турки с бритвами и обрили нас начисто. Потом мы опять мылись. В бараке было холодно, и тёпленькая вода согревала. Бесконечно долго ждали пока нам принесли наше барахло –

иначе его и нельзя было назвать. Всё было перемешано и ужасно скомкано. Наши шинелишки совсем нельзя было узнать – до того были измяты. Бельё, верхние рубашки, видно, не мылись, лишь выпаривались. Кой-как понаходили каждый приблизительно свою одежду. Ремни почему-то поломались. Оделись и смеялись один над другим – такой забавный у всех нас был вид. Ну, оборванцы и больше ничего. Тут я вспомнил свой вещевой мешок, который вместе с такими же мешками попал при окружении в руки к красным. Были там приличные высокие сапоги, чёрные рейтузы, студенческий китель, кой-что из белья, студенческая фуражка.

Особенно я это почувствовал, когда, разместившись после «очистки» в отведённом нам бараке, вышел осмотреться. Недалеко от наших трёх бараков был расположен лагерь русских, вывезенных англичанами из Новороссийска и других портов Кавказа почти год тому назад, когда красные войска стали прижимать Добровольческую армию к морю. Были между ними раненные бойцы, честно сражавшиеся в Белой армии люди, уставшие и разуверившиеся в возможности победы над красными, но много было не принимавших никакого активнаго участия в борьбе, а лишь спасавших свою жизнь и капиталы людишек. Конечно, были и семейства офицеров, оставшихся в армии, но эвакуировавших своих близких, не имевших пристанища. Они уже обжились, невзрачные бараки привели в приветливый вид, устроили походную церковь, школу, клуб с читальней.



Когда пришли к ним мы с Пинчуком, они как-то отстранялись от нас. Мы это тогда понимали как какое-то презрение, а по всей вероятности, это была лишь боязнь заполучить от нас насекомых, от которых они уж давно избавились и о которых вспоминали с ужасом.

Несколько раз я ходил в этот верхний лагерь, хотел наладить с ними контакт, но не удавалось. Там был, например, кружок изучающих английский язык. Но начинающих в нём не было. Надо бы мне организовать несколько человек из нашего лагеря, они бы нам, конечно, помогли, но я не решился.

А наш лагерь, наши бараки: деревянные, без рам, пол земляной, какой-то стол на трёх ножках, печурка железная посредине, на одной стороне окна завешены какой-то мешковиной, чтобы не сквозило, с десяток поломаных носилок, которыми тотчас же завладели более предприимчивые – и всё.

В бараке могло поместиться человек восемьдесят. Все жались к печурке, около которой лежало немного угля. Мы начали получать, как говорили, половину пайка английского солдата: двести граммов прекрасного белого хлеба, пол небольшой баночки мясных консервов или столько же сардинок, две конфетки сухого бульона да ложку вкусного джему. Ещё позабыл: две-три картошки и луковицу.

Сначала мы варили в пустых банках эти картофелины, бульон и лук на огоньке из твёрдых стеблей травы (деревьев кругом не было, кой-где низкий кустарник). Потом наладилась кухня, в которую мы отдавали несъедобное в сыром виде и получали хороший суп (таким он остался в моей памяти).

В это время была война между турками и греками. Кемаль-паша, будущий реформатор распавшегося турецкого султаната, вытеснял греков, тесня их к Константинополю. Бои происходили недалеко от Тузлы. Греки старались задержать турок и ставили укрепления. Рабочих рук у них не хватало, и можно было подработать ещё двести граммов хлеба и полбанки мясных консервов за наполнение песком бумажных мешков и погрузку их на подводы.

Работа делалась ночью. А ночь была самая неприятная часть  суток. Холодно. Хоть днем ещё можно ходить без шинели, особенно если светит солнце. Но всё же – конец ноября. Одну шинель мы с Пинчуком клали под себя, другой накрывались. Жались один к другому. Но только заснёшь, а надо или переворачиваться на другой бок, или сбегать на двор.

Днём ходили по окрестностям. Печальные они. Только около деревни растут деревья. Это маслины, вернее, оливковые деревья, с которых греки собирают маслины. Шум, крик – такие уж греки. Когда попадёшь в турецкую деревню, там пусто на улице. Редко с красной феской на голове степенно шагает в кофейню турок. Женщина с закрытым лицом перебегает улочку.

Сперва я был совсем бедняком. И в то же время – миллионер. Я уже писал, что, влезая по канату на «Саратов», на шею я повесил подобранную казачью сумку, из которой торчал кусок колбасы и хлеб, и было там ещё что-то. А это были два миллиона рублей – русские деньги, во время Врангеля отпечатанные в Румынии как раз перед эвакуацией и ещё не пущенные в обращение.

В годы войны на юге России ходили разные деньги. Как редкость попадались старые романовские, много было «керенок»,

были ростовские кредитные билеты, помню «колокольчики», но не помню – кем выпущенные, были и советские деньги.

А вот эти «врангелки» ещё не увидели свет. Видно, они были в каком-то банке, готовили их к выпуску. Деньги были формата европейских. Красивые, многоцветные, преобладал зелёный цвет. Сидя в трюме «Саратова», я показывал их соседям. Были они в тысячу рублей или пятьсот, теперь не помню. Плотно сложенные пачками, их было больше двух миллионов. Посмеялись. Одну пачку я раздал игравшим в карты. Другие оставил в сумке. Пробовал пустить их в ход в магазинчике в Тузле. Торговец их повертел, даже, кажется, понюхал (пахли они свежей краской) и вернул.

Жили мы уже недели две в Тузле, когда в Кронштадте подняли восстание советские матросы . во главе с легендарным большевиком-матросом Дыбенко*. Восстание передалось в Петербург. Слух о нём «прошёл по всей Руси» широкой и дошёл до Константинополя.

В Тузле какой-то русачок начал скупать русские деньги. Я показал ему свои миллионы. Он предложил мне за них турецкую



лиру. Я хотел десять лир. Сторговались на двух. Чтобы понять, сколько стоила тогда турецкая бумажная лира, дам пример: кусочек халвы и ломтик хлеба стоили пять пиастров; мужские носки (до сих пор твёрдо цену их помню – так долго торговал ими на мосту через Золотой Рог) стоили «он-эки-бучук», уж не помню по-каковски это было, а значило двенадцать с половиной пиастров. Дрянь, конечно, была эта пара чулок.

Так две лиры переехали в мой карман. На другой день стало известно, что Кронштадтское восстание подавлено. Сумка была пуста, но на душе стало веселей. Мы с Пинчуком двинулись в турецкую деревню. Свободно, непринуждённо вошли в кавар-ничку, заказали (объясняясь пальцами) два чая. Подают в маленьких чашечках сладкий, тёмный чай. Мы раньше заметили, как пьют чай турки: медленно, мелкими глоточками, и после каждого глоточка – пауза. Могут сидеть над одной чашечкой и два часа. Заказали ещё по одной. Один из знакомых по бараку,

* Не во главе, а в качестве карателя восставших, да к тому же первого организатора заградотрядов позади наступавших на Кронштадт цепей красноармейцев.

который удачно продал свой револьвер в этой деревушке, рассказал, как он прекрасно выспался в избушке при каварне и заплатил не так уж много. Удалось и нам договориться с хозяином. Пол-лиры за двоих, но деньги вперёд.

И вот мы в избушке. Кровать с перинами. Не верится, залезли под перину — блаженство, ну прямо как в сказке. Всю одежду мы с себя сбросили, на ней ещё были насекомые, ведь одна очистка не помогла. О, этот давно забытый холодок простыни! Мы наперебой делились с Пинчуком восторгами. Так пролежали в кровати до следующего полудня. Потом нас из комнаты выпроводили.

Вскоре после этого случая нам опять повезло. Англичане что-то праздновали, что-то вроде полкового праздника. Пили виски, нам дали порядочно спирту, из которого мы сделали прекрасную водку. Вечерком к нам в барак зашли подгулявшие англичане. У нас пели песни, танцевали казачка. Ну, мы были хорошие хозяева, и англичане не желали отстать от нас, скоро все были в стельку пьяны.

Кому-то в голову пришло пойти на английскую гауптвахту — там содержались провинившиеся индусы. Она была близко от нашего барака. Пошли и мы с Пинчуком. Гауптвахта была пустая,  видно, по случаю праздника всех отпустили или сами разбежались. Но что там было! В изобилии постели-носилки! Через несколько минут и я, и Пинчук вернулись в барак с ними. Зажилось лучше, особенно, когда при первой ночной работе мы раздобыли пустые бумажные мешки. Положенные на парусину носилок, они не пропускали холод.

Неожиданно из бараков, которые решено уничтожить, нас переводят в палатки. Палатки человек на пятнадцать, теплей бараков. Мы проходим опять очистительную купель и дезинфекцию (без бритья) и устраиваемся. Жить становится легче — веселей. Голодновато, но к этому можно привыкнуть. Недолго мы жили в палатках.

Вскоре пришло распоряжение, что часть холостых должны покинуть лагерь. Их переведут во французский лагерь в Скутари — напротив Константинополя, на азиатской стороне Босфорского пролива. Новости. Перевариваем их. Здесь в Тузле нас несколько раз посещали разные комиссии, переписывали, знакомились с нашими специальностями, образованием. Спрашивали, куда бы мы хотели направиться: в Южную Америку, африканские колонии,

Канаду, Австралию? Объясняли, каким образом можно в чужие края переселиться, как долго нужно ждать, какие средства для этого нужно иметь. Насколько помню, легче всего можно было попасть в испанские государства Южной Америки.

После подавления Кронштадтского восстания у нас всех стала пропадать надежда на скорое возвращение на родину. Зарождалась мысль, что надо устраивать свою судьбу. С одной стороны близость Скутари от Константинополя, где в старом русском посольстве выдаются паспорта, без которых человек был бродягой, нас устраивала. С другой стороны, здесь мы как-то попривыкли. Ругаем семейных, из-за которых мы должны отдать часть палаток. Пробуем договариваться, кто добровольно остаётся, кто поедет. Толку не выходит. Решаем бросить жребий и подчиниться ему. Я вытаскиваю ехать, Пинчук – оставаться. Никаких выменивании жребиев не допускается.

– Встретимся весной в Константинополе и так, – говорит Пинчук.

Утром нас, человек сто, повезли в Скутари. У меня через плечо перекинута казачья сумка. Другого багажа нет, еду таким



же оборванцем, каким приехал. В Скутари у ворот старой турецкой крепости, переделанной позднее в казармы, нас встречает взвод французских солдат под командой молоденького офицерика. После рослых индусов и англичан они показались нам какими-то маленькими, несолидными.

Размещают нас, опять после мытья и дезинфекции, в обширных помещениях в нижнем этаже. Окна где-то наверху, стены метра полтора. Обстановки никакой, просто посредине комнаты лежат охапки свежей соломы. Иду на разведку, широкие коридоры, по которым попадаю во двор-колодец. Он большой, вымощенный, со всех сторон его окружают стены этажей в пять. Ходят французские солдаты, офицеры, какие-то штатские, дамы, дети, офицеры в разнообразных русских формах. Русское население этого замка, вернее казарм, напоминает верхний лагерь в Тузле.

От кого-то узнаю, что они здесь давно, от первой эвакуации. Что люди меняются, одни уезжают, другие приезжают. Что большинство имеет уже паспорта и ездит часто в Константинополь.

Вернулся в своё помещение, ложусь на солому и сплю. Как в Тузле, так и здесь мы получали половину порции солдата, только теперь французского, а не английского. Мясные консервы были

хуже английских, хлеб тоже похуже, супа получали больше. Получение пищи было единственное развлечение да гуляние по двору, из которого можно было видеть только небо.

Начал тосковать. К счастью, среди приехавших из Тузлы был один студент-техник. Симпатичный энергичный малый. Он работал в Крыму на железной дороге и эвакуировался с нами. С ним было трое молодых железнодорожных мастеров. Стало веселей. Узнаём, что пропуск в Константинополь можно получить после того, как получишь паспорт. А паспорт выдаёт комиссия из консульства, приезжающая каждые три месяца.

Из казарм никого не выпускают. Но раз в неделю водят под конвоем желающих в баню. Эта баня довольно далеко. При возвращении из бани можно незаметно удрать. Будет темно, да и конвоиры, боясь, что остальные разбегутся, не преследуют. Сговорились, что я последую их примеру. По плану один из них, лучше одетый в штатское, отстанет незаметно от группы ещё по дороге в баню. Пока мы будем мыться, он разузнает дорогу к пристани, а потом вернётся туда, где отстал от нас. Всё удалось. Я бросился на обратном пути за новым приятелем, бежали какими-то улочками и скоро были у пристани пароходиков, перевозящих через Босфор. Через час мы были в Константинополе. Не помню, кто нам помог и завёл в наиближайшее от пристани русское убежище. Называлось оно восьмое общежитие. 

Где-то близко от моста через бухту Золотой Рог приютилось оно – деревянное двухэтажное здание. Наверху несколько комнат, занимаемых русскими семействами. Нижний этаж – два больших помещения. В одном что-то вроде лавочки и общей кухни. В другом расставлены столики и стулья. Всюду полно народу. Ужасно накурено.

У меня денег нет. За переезд пароходом за меня заплатил новый приятель. Всё, что я могу продать, это полсолдатского одеяла – единственное, что я получил от французов. Им я прикрывался и его же взял как полотенце в баню. Вещь казённая и почти что краденая.

На другой день я его продал на ближайшей толкучке за двадцать пиастров и смог вернуть долг знакомому. Что я ел в первый день пребывания в Константинополе – не помню. Наверно, ничего. На другой день закоулками, чтобы не попасться патрулям (Константинополь тогда был под управлением трёх держав: Ан-

глии, Франции и Сербии, они заботились о порядке), я с новыми знакомыми добрался до русского посольства.

Это был маленький городок с респектабельным зданием посольства, церковью и какими-то другими строениями. Всё обнесено каменной стеной, за которой никто нас не мог задержать, потому что мы были на неприкосновенной русской земле. Приятное чувство. Члены посольства не требовали метрического свидетельства, понимая ситуацию. У меня удовлетворились студенческим билетом и воинской книжкой. На них не было фотографий, и хватало двух свидетельских подписей, удостоверяющих, что я тот, за которого себя выдаю.

Так как Россия была в войне с Турцией, то русское посольство на время войны было передано под ведение и охрану голландского посольства. Вот почему мне, как и всем другим, был выдан голландский паспорт. Огромный лист прекрасной бумаги. Третью часть его занимает красивый герб государства Нидерландского, а дальше следует: «Николай Александрович Авенариус русский подданный, он и его багаж находятся под защитой Нидерландской королевы». Текст на французском языке написан



крупными буквами, кончался подписью и печатями голландского посланника. Жалею, что этот паспорт не сохранился у меня. В Праге он лежит в архиве Министерства иностранных дел.

Постепенно жизнь моя в Константинополе начала налаживаться. На большой площади в центре «Пера» (европейская часть города) были большие бараки, в которых всем русским выдавались один раз в день суп с кусочком мяса и кусок хлеба (обед). Два раза пообедать было невозможно, нам выдавались билетики на целый месяц по паспорту. Об остальном пропитании каждый должен был позаботиться сам. О ночлеге тоже.

В 8-м общежитии, всегда полном русскими, когда закрывалась лавочка и переставал подаваться чай, столы ставились к стенам, а вся свободная площадь обеих комнат покрывалась людскими телами. Разношёрстная была эта публика. Общий вид: бродяги-бедняги, алкоголики, наркоманы, жулики, неудачники и просто ещё не устроившиеся. Все находили здесь приют. Мировая война, гражданская с её потрясениями, болезнями, невзгодами многих погубили. Большинство этих нечастных, провоевавших пять-семь лет офицеров производили сами себя (чтобы хоть чем-то себя утешить) в полковники, нашивали соответствующие скромные, воен-

ного времени погоны, с ними или без них называя друг друга полковниками, никому этим не мешая, на что-то ещё надеясь, жили тем, что продавали что у них ещё оставалось.

Другие, более энергичные, получали по два и по три паспорта на разные имена, ходили по разным благотворительным заведениям (я не интересовался ими и не знал, где они находились), по консульствам вербовавших на военную службу южно-американских государств, получали визу, залог, подписывали обязательства – и опять было что пропить или на что купить наркотики. Были задиры, были и благодушные «перекати-поле». Одним словом, народ разный.

Спать было тепло, никто не гнал. Работа в Константинополе была только случайной, при хорошем знании главным образом английского языка, в английских военных организациях. В порту ночью можно было найти иногда работу при срочной выгрузке угля. Но конкурировать с турками было трудно, их крепкие, устойчивые ноги и могучие спины были всем известны.

Уличная торговля давала небольшой заработок продажей папирос, консервов, чулок и носков. Был выкопан старый, но до сих пор [действующий] закон о беспошлинной уличной торговле для русских в Турции. Оборотного капитала не нужно было. На паспорт жидовские торговцы в Галате (район Константинополя у Золотого Рога) давали товар на турецкую лиру, а то и на две. Папиросы (беспошлинные) шли на главной улице Пера, консервы на толкучках, носки на мосту через Золотой Рог, всегда переполненном идущими в ту и другую сторону турками, греками; в окрестностях Константинополя можно было продать и то и другое.



Такие скромные, временные неудачники, как я, и занимались этим делом. Чистый заработок в день десять-тридцать пиастров.

Часто голодные подростки под видом покупки выдернут у тебя консервы или носки и бросятся в разные стороны. Со мной это случалось не раз. Были и другие приёмы, особенно на толкучках.

Нашлась возможность переехать в только что открывшийся ночлежный дом графини Бобринской, где можно было получить койку с одеялом и простыней за пять пиастров. Приходить туда следовало не раньше восьми вечера и уходить не позже восьми утра. Переехал, вернее перешёл. В сумке появилось полотенце,

купленное на заработанные деньги. Так как средний заработок был пятнадцать пиастров, то на утро и вечер оставалось по пять пиастров. Покупал хлеб и кусочек халвы.

Вода в Константинополе прекрасная, и всюду при мечетях фонтаны. Торговля была связана с беспрестанным хождением, и я имел возможность изучить город и его окрестности хорошо. Узнал и его население. А русских в тот год было там тысяч тридцать, а может, и больше.

Главная улица «Гран рю де Пера» – шикарные магазины, дома. Европейски одетая публика. Неудивительно услышать русскую речь. Ведь из России, особенно с юга России, уехало много богатых людей, которым удалось не потерять хотя бы ценности. Ещё не решившись, куда дальше двинуться, решают этот вопрос в Константинополе. Цены на золото и драгоценные камни держатся высоко.

По товарам и свободной беспечной жизни они стосковались давно, ну и позволяют себе оставить здесь часть вывезенного.

Можно видеть и много прекрасно одетых, в довоенной форме офицеров разных гвардейских полков. Много бродит и нашего брата. Незаметно нагибаются и подбирают окурки.



А вот идут высоченные шотландские офицеры в юбочках. Любил и я здесь пошататься: нет-нет и продашь коробочку беспошлинных папирос египетского происхождения.

Так прошёл конец января* и февраль. Появился здесь и мой приятель Пинчук, обзавёлся я и другими знакомыми. И вдруг я захворал. Заболел желудок. В общежитии был молодой, симпатичный врач. Наловчился бедняга, наверно, резать раненых, а о внутренних болезнях не имел понятия. А у меня желудочные боли. Пища не задерживается в желудке, отходит непереваренная. Испробовали мы с доктором все знакомые средства: порошки, капли, пил стаканчиками касторку, прочищая желудок, прочищали и клистирами. Ничего не помогало. Я начал худеть, терять силы. Идёшь, а в глазах вдруг потемнеет, прислонишься к стене и ждёшь, пока опять не начнёшь видеть. С торговлей пошло хуже, потом совсем плохо.

Видно, у меня был вид ужасно жалкий. Сужу по таким двум случаям. В центре Константинополя, на Пера, был ресторан

---

* Я перебрался в Константинополь, как сейчас помню, в Татьянин день (авт.).

класса «В». В фойе ресторана висела масса объявлений, главным образом о разыскании знакомых и родственников. Как-то раз, когда я уже был болен, зашёл туда в надежде услышать или прочитать о каком-нибудь знакомом. Читаю: москвич Михайлов, по имени и по отчеству – двоюродный брат моих двоюродных братьев Миши и Егорчика Штуцеров. Родной брат того Михайлова, о котором я уже писал как о расстрелянном в Москве после покушения на Ленина. Он был студент, старше меня. Несколько лет я его не видел, а потому мог измениться. Он пишет, что обедает в «Маяке» каждый день во столько-то часов и ищет знакомых.

Решил войти в ресторан и поискать его среди обедающих. Вошёл, как был одет, и стал обходить столики, внимательно всматриваясь в обедающих. Не нашёл. Вышел в фойе, сел у окошечка и стал ждать, всматриваясь в каждого приходящего. Вдруг из ресторана выходит миленькая официантка с подносом, на котором сервирован обед, и говорит, что мадам такая-то посылает мне обед. Я как ужаленный вскочил и стал уверять, что сегодня уж два раза обедал, что официантка, верно, ошиблась, путая меня с кем-то другим. Я вскочил, стал около объявлений, делая вид, что читаю. Хотелось дождаться Михайлова.



Вдруг подошла ко мне очень хорошо одетая старушка.

– Молодой человек, я думала, что вы голодный, простите меня. Человек может ошибаться. Но что я буду делать с обедом? Ведь я его заказала для вас. Я вас прошу, пообедайте ещё раз.

Такая милая, трогательная старушка. Она взяла меня под руку и подвела меня к подносу, пожелала мне доброго аппетита и ушла. Съел я этот вкусный обед и сразу же ушёл из ресторана. Долго я потом не показывался в «Маяке».

Другой раз случилось следующее. Я продавал папиросы в каком-то парке. Мимо меня проходит парочка. Говорят по-русски. Она милая девушка и на кого-то страшно похожа. На кого – не могу вспомнить. Я гляжу на неё, стараюсь вспомнить, опять гляжу. Она что-то говорит своему кавалеру – тонному молодому русскому офицеру. Они проходят второй раз около меня. Она на чём-то настаивает, просит. Пройдя мимо меня, он вдруг возвращается и «картавя» небрежно бросает:

– Дайте мне ваши папиросы. Сдачи не надо, – добавляет он, протягивая мне полкроны.

Я краснею от стыда за себя, от гнева на него:

– Папиросы эти вы не будете курить, – почти кричу я, отталкиваю его протянутую руку с деньгами и быстро иду в другую сторону.

– Как же я выгляжу, если со мной так обходятся, – повторяю я про себя.

Потом случилось следующее. При желудочных болях я почувствовал раз утром боль в левой стороне груди. Особенно она давала о себе знать, когда я вышел на главную улицу и приготовился выкрикивать свой товар. Вдохну, а боль в груди и в желудке становится невыносимой. Темнеет в глазах. Прислоняюсь к стене и медленно опускаюсь на землю. Чувствую, что теряю сознание. Стискиваю руки, кусаю губы – не помогает. Силы меня оставляют, я ложусь на землю, прямо на тротуаре. Теряю сознание, которое возвращается, когда уже лежу в какой-то постели.

Не знаю, кто из прохожих решил мне помочь . Кто-то, видно, остановил автомобиль, и меня отвезли в госпиталь. На соседних кроватях лежат какие-то чернокожие. Сперва не могу договориться с подошедшим в белом халате дежурным – не то фельдшером, не то врачом.



Через некоторое время подошёл кто-то в белом и заговорил со мной по-русски. Заставил меня сесть, долго внимательно выслушивал, выстукивал, расспрашивал.

– Ну и худющий же вы.

Заставляет что-то выпить и уходит со словами:

– Завтра утром я вас навещу, а теперь спите.

Я, видно, отдохнул немножко и теперь мне не хочется спать. Я переживаю теперь опять то же, что пережил ночью в Туапсе, когда ожидал, что меня завтра расстреляют. В голове та же мысль. Я один, никто не знает, куда я девался, никто не узнает, где лежат мои косточки. Тихо плача, я засыпаю.

Спал долго. Проснувшись утром, я не почувствовал никаких болей. Могу свободно дышать. Ожил. Вскоре пришёл вчерашний доктор:

– Не знаю, что с вашим желудком. Это не моя специальность, а вот боли в груди – простудного характера. Ведь не болит. Ведь можете свободно дышать. А я вам дал лишь двойную порцию аспирина. Примите его, если опять сильно будет болеть. А из на-

шего госпиталя сейчас же вон. Это палата для туберкулёзных в последней стадии. Не хватает вам заразиться ещё им.

Через час я сидел во французском санитарном автомобиле. Кроме моей одежды мне дали ещё французскую военную шинель. Я пробовал её надеть, но она была мне до колен. Шофёр остановил машину на рынке, спрыгнул и пошёл что-то купить.

Выскочил из автомобиля и я. Тут же на толкучке продал я шинель. Мой пустой карман пополнился половиной лиры. Порошок, принятый мной перед отъездом, придавал мне энергии. Ближайшие дни я таскался по городу. Утром принимал аспирин и из ночлежки отправлялся к морю, лежал там на бережку, наслаждался весенней погодой, отдыхал физически и душевно. Пол-лиры обеспечивали мне ночлеги и хлеб; на обеды я ходил.

Почему мой желудок отказывался переваривать пищу иногда постоянно, иногда по временам – не знаю. Никакой диеты я держать не мог. Получаемый нежирный обед – немного варёного мяса и много картофеля – не мог быть причиной несварения желудка. То же самое говорил доктор. Дядя Коля, которому я говорил об этом, приписывал это «неврозу желудка». При теперешней медицине болезнь, конечно, была бы быстро остановлена. Я схожусь с мнением дяди Коли. Нервная система моя была нарушена. Кроме того, я был страшно измотан. Держался на нервах. Но как бы то ни было, мне стал помогать аспирин, который давал доктор, мне стало лучше. Случаи беспричинных поносов стали реже*.



В это время я и встретился с Васей Хмелевским. Он был из Сорок. Что творится там теперь, он тоже не знал, так как ушёл оттуда вскоре после меня. Не помню, как он попал в Константинополь, с какими войсками эвакуировался. Перебивался он так же, как и я. Главное, что он наладил связь с отцом в Сороках. Я около двух лет ничего не знал о наших. Вася был первый бессарабец, которого я встретил и который хорошо знал нашу семью.

Он узнал, что между Румынией и Турцией наладилось прерванное войной регулярное пароходное сообщение. Пароходы ходили раз в неделю. С ними можно было посылать письма и получать ответ «до востребования».

---

* Скорее всего – голодный понос .

Вася, по отцу русский, по матери молдаванин, сносно говорил по-румынски и всё это разузнал. На днях он получил ответ от отца. И я почувствовал себя опять не таким одиноким. Следующий пароход вёз моё письмо маме и Оле.

Тем временем наступило лето. На мосту через Золотой Рог, где проходила большая часть моего дня, температура доходила до пятидесяти градусов. Только морской ветерок помогал снести жару.

Недели через три после отправки письма получил я ответ. Прекрасное письмо, при писании которого, видно, и мама, и Оля проливали слёзы счастья. Мама и Оля писали, что они живут в деревне Баронча недалеко от Сорок. Оля приняла румынское гражданство, получила место учительницы. В соседней деревне учит и кузина Аня. Писали, что если мне удастся вернуться в Сороки, с голоду не умру, какая-нибудь работа найдётся.

А у меня была одна мысль — вылечиться. Стать опять здоровым человеком. На дядю Колю, на его опыт и знания я очень надеялся. Без здоровья что я? Теперь все мои приятели ходят по врачебным инспекциям, получают свидетельства о хорошем состоянии здоровья, без которого невозможно получить визу ни



в одно государство. Мне такого не дадут. Ведь я кожа да кости.

А Васю тянуло домой, туда где он родился, где отец имеет домик, садик, виноград. Бессарабия стала ему землёй обетованной. Отец писал, что ждёт его, но знает, что вернуться ему будет не так легко, так как он в то время, как и наша семья, отказался от румынского подданства. У него стал созревать план вернуться нелегально, а там отец и знакомые помогут. Никакого подданства он теперь не имел — «русский под защитой королевы Нидерландской».

Хмелевский, когда приходил румынский пароход, толкался около него. Болтал с матросами по-румынски, оказывал им мелкие услуги, менял леи на пиастры и лиры. У него созревал план пробраться без билета и визы до Констанца или Галаца, послать оттуда телеграмму отцу, где-то (там видно будет) дождаться денег и катануть в Сороки.

И вот однажды он предложил мне вместе с ним осуществить задуманное. Кто-то из матросов соглашается его одного или нас двоих пустить поздно вечером на пароход, отходящий на другой день в Румынию, и спрятать в угольной яме. За этот трюк надо за двоих заплатить вперёд лиру. Лиру мы вдвоём наскребли, продав

что-то из вещей. Простились с приятелями по ночлежке и незаметно с помощью матроса пробрались в угольный трюм. Лежим на угле. Душно, жёстко, чувствуем, что все перемазались в угле, но не унывая ждём завтрашнего отплытия.

На рассвете какие-то две фигуры открыли люк в угольный трюм, помогли нам из него выбраться пинками и выдворили с парохода. Ох, жулики эти румыны. Я не ругал Васю, он не так уж и уговаривал меня. Пришлось долго мыться у моря, мыть одежду, сушиться. С каким оглушительным хохотом нас вечером встретили в ночлежке. Пришлось и нам посмеяться, чтоб показать, что для нас это была шутка.

Мой Вася не унывал. По-прежнему изучал обстановку при пароходе. Он скоро выработал новый план: никого в план не посвящать, действовать самим, рассчитывая на психологию матросов.

Утром мы сообщили приятелям, что может быть не придём ночевать – поедем прокатиться. На пристани, за пять минут до отхода парохода (он затрубит три раза) мы готовы. Мы легко одеты, штанишки, рубашка, кепки спрятаны в карман, в руках у одного из нас большой арбуз, у другого такая же дыня и по куску белого хлеба. 

Выжидаем третьего гудка и, подождав немного, когда начали снимать сходни, стремглав слетаем вниз с лестницы. Вася кричит что-то по-румынски, матросы помогают нам вскочить на палубу, потому что сходни уже сняты. На этот раз Вася разработал план шикарно. Мы на пароходе смешиваемся с пассажирами, наблюдающими отплытие парохода. Мы ещё раньше договорились с Васей не держаться вместе: опасны были первые часы поездки, когда проверяли билеты, паспорта. Договорились вечером встретиться на корме парохода.

Я залез на ящики с товаром, расположенные около перил парохода. Залезая делал вид, что их поправляю. Потом среди них и притаился. С палубы меня не было видно. Всё шло хорошо. Часа через полтора пароход остановился в море, подошёл какой-то катер, вошли флотские. Догадался, что снимут пассажиров без паспортов. Действительно, вскоре они вернулись на катер и с ними три пассажира. Васи между ними не было.

Вечером мы встретились. Всё шло хорошо. Вышли погулять на палубе. На верхней палубе заглянули в окно рубки первого класса. Там сидел только один человек. Изящно одетый молодой

человек, прекрасно одетый. Перед ним стоял ужин и вино. Мы не удержались с Васей, чтобы не позавидовать ему, — есть же на свете счастливчики!

До Констанцы мы плыли два дня. За это время поняли, что почти все пассажиры – румыны реэмигранты из Южной Америки. Все они будут высаживаться в Констанце. Поняли, что до Галаца поедет мало пассажиров и поэтому надо будет выбраться с парохода в Констанце.

Утром были в Констанце. Пристали. Все высыпали на палубу. Ну, и мы. Не выпуская никого ещё на берег, на пароход вступили трое, долго переговаривались с капитаном, потом вместе с ним поднялись на верхнюю палубу. Вскоре они вернулись. Впереди в наручниках шёл пассажир первого класса, которому мы вечером так завидовали.

Большинство пассажиров начали сходить на пристань. Полиция и сигуранца (тайная полиция) проверяли документы. На пароходе нас осталось человек пятьдесят. Переглянулись с Васей, показывая, что надо будет опять прятаться.

Тем временем на пароход начали возвращаться некоторые

уже сошедшие пассажиры. С помощью матросов они начали развязывать тюки, покрытые брезентом и лежащие на палубе. Соображаем, что это их багаж, который они везут из Америки. Вещи были тяжёлые. Поднимали лебёдкой. Некоторые с трудом удавалось поднять выше перил. Кто-то из оставшихся пассажиров начал им помогать. Начали и мы — так очутились на пристани, с которой тем временем полиция ушла.

Везло нам ужасно. Незаметно сошли с Васей на берег. Идём вместе, осматриваемся. Кругом невысокие здания, между ними высокие заборы. Выяснили, что с этой территории таможни можно выйти только через ворота, в которых стоят двое в форме. А через ворота видно шумную улицу, бренчит трамвай.

Обошли целый двор, как будто чего ищем. Выхода другого нет. Нужно проходить через ворота. Пошли. Стража нас задержала. Вася непринуждённо сказал по-румынски, что нужно купить папиросы, что мы едем дальше. Они не пропустили. Осталось вернуться на пароход. Туда мы и направились. Но один из задержавших нас последовал за нами. Мы на пристань, он за нами, но ещё с кем-то, кого-то позвал с пристани. Вошли на пароход. Прятаться было бесполезно. Стали у перил. Преследующие через матросов вы-

звали капитана и указали на нас. Он подозвал нас к себе, потребовал наши билеты. Вася сказал, что мы их не имеем. Капитан влепил матросу оплеуху и потребовал от нас паспорта. Мы дали ему наши нидерландские паспорта. Конечно, на них не было никаких виз. Но всё-таки мы не были бродяги, там ясно было написано, что мы и наш багаж находимся под охраной королевы. Видно, потому он на нас особенно не обрушился, лишь приказал запереть нас в трюм.

В трюме было не так уж плохо. Не знаю кто: пассажиры или матросы, или приказал капитан, но нас кормили. Скоро пароход поехал дальше, вошёл в дельту Днестра, а потом по Днестру вверх.

В Галаце нас вывели на пристань, и представители сигуранцы нас подробно допрашивали. За меня отвечал Вася. Не были грубы, но и не вежливы. Взяли адреса наших родственников в Бессарабии и заявили, что снесутся с властями в Бессарабии, а там увидят.

Нас увели опять на пароход, но разрешили днём ходить по нему. Кормили. Настроение было неплохое. На третий день нас опять вывели на пристань и куда-то повели. Мы обрадовались, думали, что в город. Но оказалось, что на соседний пароход. На наши вопросы – почему? куда? – ответили, что Румыния нас не оставляет на жительство и что этим новым пароходом мы завтра утром поедем обратно в Константинополь.



Я не был так удручён, но Вася ужасно. Главное, он не мог от румын получить ответ – снеслись ли они с Сороками. Мне казалось, что им не хотелось из-за нас беспокоиться. Решили просто выслать обратно. Капитан нового парохода приказал нас запереть в трюм, что и было исполнено. Но всё ж нас подкармливали. Через два дня мы были опять в Констанце. Там к нам в трюм втолкнули третьего. Пожилой человек в военной форме, кубанский казачий полковник. Ругался, стучал в крышку трюма, но потом успокоился, и мы разговорились. Оказалось, что Румыния приняла три тысячи русских эмигрантов под титулом «гостей королевы».

Королева была наполовину русская, к тому же писательница.

– И вот, меня – гостя её величества королевы, меня – полковника, швыряют в трюм и везут куда-то в Турцию!

Он ругался на всех языках.

– Ну да, я люблю выпить, люблю пошуметь немного, погорячиться, но меня – полковника – вышвырнуть, как собаку!

Всю дорогу он не мог успокоиться. Мы плывём к Константинополю. На рейде прибыла международная комиссия. Капитан кричал, что вот она нам покажет [как] кататься по морям задарма. Но ничего нам не показали. Взял нас под покровительство старик, сербский офицер. Выйдя с нами на константинопольскую пристань, узнав, что мы хорошо знакомы с Константинополем, вернул нам наши паспорта и пожелал нам более удачных путешествий. Полковника забрал с собой. Этого полковника через семь-восемь лет я встретил в Братиславе в Петржалке. Он имел маленькую столярную мастерскую, не унывал и попивал по-прежнему.

С каким хохотом нас опять приветствовали в ночлежке, вы сами догадаетесь. Путешествовали мы дней десять, но главное, что мой желудок перенёс это легко. Я даже поправился немного.

Начал опять жить по-старому. Но вскоре я встретил Михайлова, а он привёл меня к моему троюродному брату Саше Своехотову, киевскому Авенариусу, как мы его звали. Я писал, что у них остановились мои родители, когда уехали из Москвы. Рас-



скажу и его эпопею, характерную для тех времен.

Он юнкером инженерного училища ушёл в Добровольческую армию. В Константинополь попал уже офицером, раненный в ногу. Надо сказать, что был он очень красив, строен, прекрасно пел, играл на рояле, болтал по-французски, не чужд был ему и немецкий язык. Способный, обаятельный юноша. И вот на него обратил внимание один пожилой турок из зажиточной интеллигентной семьи. Позвал его в ресторан на кофе и предложил ему работу. У турка большой дом. В доме был когда-то магазинчик, и вот он хочет открыть теперь там антикварный магазин. У него и его знакомых много вещей домашнего обихода: ковров, ваз, картин. Русские эмигранты, как он знает, тоже стараются продавать ценные вещи. Сашино знание языков было бы достаточно для ведения такого магазина. Если понадобится объясняться по-турецки или по-гречески, то из магазина ведёт телефон в квартиру [турка]. При магазине есть комната, где он может жить.

Магазин был организован. Жалование турок положил очень маленькое. Магазин идёт очень слабо. Больше предложений, чем сбыт. Турок хорошо одел его. Саша прямо элегантен в костюме, даже не видно, что он с чужого плеча. Свежая рубашка. Молодец.

Скучновато, но заходят приятели. Питается он в ресторанчике на счёт хозяина. Одним словом – живи и не тужи.

У него я встретил ещё двух своих троюродных братьев. Егорчик Штуцер, у которого я был несколько дней в Севастополе, который при эвакуации из Севастополя из-за порчи судёнышка попал в Турцию недалеко от русских границ, а списавшись с отцом, который из Судака попал к дочке в Лондон, – ехал теперь к отцу.

Ещё встретил Карлушу Феррейна, пасынка дяди Володи. Мы тогда ещё не знали ни о смерти дяди Володи, ни о гибели Миши. Эвакуировался Карлуша с большими деньгами, прожил их ужасно бестолково (вот бы мне его встретить раньше), теперь ехал вместе с Егорчиком, но только до Германии, куда выписала его попавшая туда раньше сестра. У Карлуши оставались ещё какие-то деньги, и он повёл нас троих в какой-то роскошный и в то же время подозрительный бар. Мы с Сашей диву давались, с каким знанием Карлуша заказывает разные коктейли, закуску, и поняли, куда он ухлопал свои денежки.

Карлуша в Москве был прекрасный мальчик, умный, скромный. Дед его Владимир Карлович Феррейн умер незадолго до эвакуации в Судаке. Карлуша – один из наследников, его сестры неосторожно дали ему большую долю из принадлежавшего им наследства. Я вспомнил о своих троюродных братьях: я с ними имел общего прадеда Петра Александровича Авенариуса. В России остался ещё один троюродный брат Константин Кильштет. За границей в Германии живёт Федя Авенариус. Оставшиеся в России Авенариусы являются нашими родственниками по прадеду Александру Егоровичу Авенариусу.



Итак, я опять в Константинополе. Круг знакомых расширяется. Но двое умерли. Погиб при неизвестных обстоятельствах мой приятель Пинчук. Он добывал средства на жизнь, как и я, мелкой торговлей в окрестностях Константинополя и где-то там умер не то от заражения крови, не то был отравлен. Горевал я о нём, хороший был человек и верный друг. Умер от скоротечной чахотки младший Георгий. Я в последнее время дружил с обоими братьями. Бедняге так хотелось жить. Умер почти на наших руках.

Жизнь как-то начала налаживаться, хотя большинство жили ещё по ночлежкам и впроголодь. Узнаю, что образовался Союз студентов. У меня был студенческий билет, и я записался.

Вскоре после этого произошёл случай, сыгравший важную роль в моей жизни. Встретил я капитана нашей бригады Крашенинникова. Он был студентом Московского технического училища, как и я, но только старшего курса. На этой почве мы с ним как-то и познакомились. Он тоже узнал, что организовался Союз студентов, и хотел в него записаться. Но у него не было никаких доказательств. В таких случаях достаточно было письменного свидетельства студентов того же высшего учебного учреждения. Он попросил меня пойти с ним в Союз и подтвердить. Пошли.

В Союзе сидел только один член временного правления. Очень молодой, прилично одетый человек. Мы объяснили причину посещения Союза. Он дал бланк, но когда я при представлении поименовал Крашенинникова капитаном, процедил сквозь зубы:

– Можно и без капитанов.

Я пропустил его замечание, но в своём свидетельстве о том, что Крашенинников был студентом нашего училища, я написал «капитан Крашенинников». Таким я его знал, он носил погоны капитана, и никто ещё не издал указа о запрещении погон и уничтожении воинских званий. Подписав свидетельство, я дал его представителю. Он прочитал, взял перо и вычеркнул слово «капитан», процедив:



– Пора перестать играть в солдатики.

– В солдатики! – это меня взбесило.

Кто это солдатики? Добровольческая армия просуществовала два с половиной года (я был в ней лишь четырнадцать месяцев). В одном только 1-м корниловском полку за это время были убиты шесть командиров полка, перед глазами прошли офицеры первой офицерской роты, верные сыны своей родины, павшие в последнем окружении Симферопольского полка.

Я бросил ему разорванное свидетельство, обругал его последним словом, сказав, что из союза, где руководят такие... я ухожу. Мы ушли. Несколько лет тому назад я рассказал этот случай Фёдору Григорьевичу Скворцову, который был в то время в Константинополе и тоже, может немного поздней, вступил в Союз. Он сказал, что лично не помнит в числе членов-организаторов упомянутого мерзавца.

Вася, с которым мы часто встречались, сообщил мне, что из Румынии приехала комиссия, уполномоченная вести бессарабцев,

желающих вернуться в Бессарабию; она выдаёт визы и средства на отъезд. Вася был стопроцентный бессарабец, а я так – с боку припёка. Но всё ж пошёл в эту комиссию.

Сначала Вася отрекомендовал себя, потом меня. Про меня сказал, что хотя я в Бессарабии и не родился, но там жил, там живут мои мать и сестра, отец там похоронен. Предложили нам придти недели через две, к тому времени будет решён вопрос, кто получит разрешение поехать, вернее, вернуться в Румынию. По правде сказать, мне эти поездки в Румынию приелись; Вася держался за эту возможность руками и ногами.

Говорилось, что где-то в Чехословакии, в только что образовавшемся государстве, русофил Крамарж организует помощь русским студентам. Крамарж был женат на русской – Абрикосовой.* Через полгода первая группа студентов была отправлена в Прагу. Я туда попал через два с половиной года после них.

[Но вот] случай – пример того, что весь наш жизненный путь есть ломаная линия, поворотные точки которой связаны с непроизвольными жизненными [обстоятельствами]. Может быть, через недели две мы сидели с Васей в числе примерно пятидесяти человек в поезде, который нас вёз в Румынию. На станции Унгены, на границе Румынии и Молдавии, я вышел размять ноги. Из встречного поезда спешит какая-то девушка. Смотрю – Оля – сестра! Бывают же неожиданности, которых ни в каком случае нельзя предвидеть. Оля спешила из Барончи в Яссы на экзамены по румынскому языку. Радость, удивление были обоюдны. Я схватил её вещи и мы вместе побежали к её поезду, готовому вот-вот двинуться...

Через полдня мы с Васей были в Кишинёве. На другой день после общего торжественного обеда, устроенного румынами по



---

* К чете Крамарж часто обращались как отдельные люди, так и эмигрантские организации, и очень многим они оказывали помощь: материальными средствами, ходатайством в получении гражданства или виз, устройстве на работу и т. п. Из своих личных средств супруги помогали русским больным в пражских больницах, русскому Красному Кресту, давали деньги на русский театр, на рождественские подарки, оказывали поддержку русским кооперативным сельскохозяйственным курсам и многим другим русским объединениям и организациям. Надежда Николаевна была покровительницей пражского Галлиполийского землячества и почётной попечительницей русских курсов при Русской академической группе в Праге, спонсируя их из личных доходов.

случаю возвращения их соотечественников на родину, после послания благодарственной телеграммы румынскому королю каждый из нас получил деньги на проезд к месту жительства, и мы с Васей покатили. Надо было ехать сперва по железной дороге, потом на лошадях, но я совсем не помню этой дороги. Не помню и радостной встречи с нашими, только то, что дядя Коля на другой день пошёл к городскому голове места и вернулся со свидетельством, что я несколько лет учился в Сороках, а потом уехал в Москву учиться, и что в Сорокском уезде живут моя мать и сестра. В тот же день я отнёс это свидетельство вместе с бумагами от комиссии, нас привезшей, в сигуранцу. Предложили мне придти за документами через три дня.

Эти три дня я провёл радостно в семье дяди Коли, была здесь и мама. Оля ещё не вернулась. Дядя Коля покачал головой над моим истощённым видом, но желудок не болел, хорошо переваривал. Вспоминая сколько всякой всячины я съел на торжественном обеде в Кишинёве, да и выпил без всяких последствий, – я сам себе не верил, но чувствовал себя здоровым. Дядя Коля приписывал моё болезненное состояние в Константинополе истощённости нервной системы, проявившейся в неврозе желудка. Итак, я был здоров. Волновало меня лишь, что меня ожидало в сигуранце. К чему надо приготовиться?



Наверно, предложат мне подписать прошение об предоставлении мне румынского подданства. Что в таком случае делать? Пока из Авенариусов румынское подданство приняли только Оля и кузина Анечка. Они смотрели на это как на выполнение обязательной и неприятной формальности, необходимой, чтобы не сидеть на шее дяди Коли, чтобы стать на ноги.

Заставил и я себя решиться на этот шаг, решив, что меня это ничем морально не свяжет, нужно отдышаться от всего пережитого, заработать немного денег, получить паспорт, подучить какой-нибудь язык и переехать в какое-нибудь более культурное государство. А там избавиться от подданства, которое принималось под давлением тяжёлой ситуации.

Меня вызвали в сигуранцу, и я пошёл, более или менее успокоенный своим решением, с которым был согласен и старший из семьи Авенариусов дядя Коля. Вышло всё иначе. Оказалось, что меня ожидают переживания, пожалуй, похуже пережитых.

Пришёл я в сигуранцу. Назвался. Не обращают внимания. Этот приём я знал. Выматывают человека. Ждал долго, ещё раз дал о себе знать. Потом пришли два румынских жандарма, велели отдать ремень, велели снять пиджак и галстук и отвели довольно грубо в подвальное помещение, где заперли в камеру. Грязь, вонь, небольшое помещение, две скамьи с каждой стороны. Замок щёлкнул.

Обвинений мне никаких не предъявляли, только когда выпроваживали, изощрялись в румынских ругательствах. Потом втолкнули в камеру другого – не то сумасшедший, не то вдрызг пьяный оборванец. Уже немолодой, тщедушный. Приставал ко мне по-русски и румынски, изъявляя радость, что меня, наконец, поймали; то лез целоваться, то уверял, что ночью, когда я усну, он перегрызёт мне горло. Он то засыпал, то вскакивал, лез ко мне, старался обнять меня или укусить, – я не понимал. Так закончился день, так прошла ночь.

Утром меня провели наверх. Вскоре из своего кабинета вышел и начальник Сорокской сигуранцы, старый знакомый – Кристи. Он занимал эту должность и при моём первом приезде в Бессарабию. Красивый, средних лет мужчина, знал французский, немецкий и русский языки. По-русски не говорил никогда, но было известно, что во время войны жил три года в Одессе. Не было понятно, почему его так долго держали в небольшом городке Сороках, когда он имел большой служебный стаж и был очень уважаемым человеком. Это он вызвал меня два года назад, чтобы я принял румынское подданство, я [тогда] ответил, что не променяю русское дворянство на румынское подданство, за что он приказал не только мне, но ещё нескольким из строптивой молодёжи являться на еженедельную проверку.



По-румынски (я понимал каждое второе слово) он объявил мне, что я арестован как большевистский шпион и агитатор из группы Трофимова и (он назвал ещё две-три фамилии, которые теперь не помню) и меня отправляют в военно-полевой суд в Кишинёв. Потом, да и теперь, я много думал, почему он выбрал именно меня, и как тогда, так и теперь могу объяснить лишь тем, что он стряпал очередной процесс над шпионами и агитаторами (на 98% надуманный) и я подходил к его плану (три раза перешёл границу Румынии), а этот процесс мог помочь ему выбраться из Сорок. Мне не дали даже открыть рот и под конвоем

трёх вооружённых жандармов (один нёс увесистый пакет, видно, с обвинительными бумагами) отвели в сорокскую пересыльную тюрьму.

Забегу сейчас на много лет вперёд, а именно в 1934 год. Поздней осенью этого года я, будучи чешским гражданином, в третий раз поехал недельки на две-три из Мартина в Румынию навестить маму и Олю. На этот раз я решил ехать не через Ужгород–Мармарош, а через Польшу с пересечением границы у Черновиц, которые в то время принадлежали Румынии.

Переезжали границу ночью. Иностранцев было несколько человек. При возвращении паспортов румынский пограничный чиновник заявил, что не может меня пропустить через границу, и предложил мне вернуться обратно. Взял я вещи и вышел из вагона, пошёл в румынское пограничное отделение, чтобы выяснить в чём дело. Поезд тем временем ушёл.

Дежурный румын заявил, что начальник отделения придёт только утром, но согласился пойти со мной в железнодорожный ресторанчик закусить и выпить. За выпивкой он мне объяснил, что при проверке паспортов было выяснено, что в книге нежелательных иностранцев записан и я. Так как он был единственный пограничный чиновник и был мне благодарен за угощение, он провёл меня в концелярию, вынул объёмистую книгу, в которой были записаны особы, которых надлежит при переходе границы задержать. Список был составлен по алфавиту, и в конце первой страницы стояло: Авенариус Николай, г. 1897, член группы Трофимова, коммунист, пропагандист.



Я ему объяснил, что я чешский подданный. На это он заметил, что, конечно, арестовать меня без согласия консула они не могут, но не впустить в страну – их право. Утром по приходе начальства дело уладилось так: я купил билет для румынского тайного [чина], который со мной поехал в Черновцы, там привёл меня в сигуранцу. В приёмной комнате я дожидался консула, за которым послали по моему требованию. Пришёл молоденький, живой австриец. Он исполнял одновременно и обязанности консула. Основываясь на давности обвинения, мне было разрешено продолжать дорогу, но когда я приехал к Оле, там уже был жандарм и предупредил, что его обязали следить за мной. Рассказываю этот эпизод, чтобы читатель понял значение тайной полиции в те времена в Бессарабии.

День и вечер провёл я в тюрьме в тяжёлой обстановке. Часто врывались в камеру пьяные румынские солдаты, требовали у меня денег, обыскивали.

Утром получил Котя (сын дяди Коли) пропуск ко мне. Принёс немного денег и кожаную тужурку, которую подарил мне Карлуша. Ничего утешительного он сказать не мог. Вопрос будет решаться в Кишинёве. Нанять в Кишинёве адвоката у нас не было средств. Перебивались как могли, продать уже было нечего. Узнал, кажется, через Котю, что меня пошлют в Кишинёв по этапу.

До города Бельцы три этапа пешком. От Бельц железной дорогой один этап до Унген и последний этап Унгены–Кишинёв тоже железной дорогой. Пересылали меня одного, всегда с тремя вооружёнными солдатами конвойной команды. Повлиял ли мой рост (я на голову был выше румын) или объёмистый пакет с моими документами, но конвоиры смотрели за мной зорко.

Переходы сами по себе были даже приятны. Хорошая осенняя погода. Двадцать километров, пройденных в день, совсем не утомляли. Два-три раза останавливались отдохнуть, поесть. По румынским порядкам арестованный питается сам, думаю, что деньги для пропитания арестованных шли в карман начальства.  Во всяком случае, я питался за свой счёт. Иногда приходилось платить за вино, выпиваемое старшим конвоиром. (Вино страшно дешёвое).

Переходы были вполне удовлетворительные. Но ночные привалы – ужасны. Останавливались на пересылочных пунктах. Вводили в казарму, в которой было два или три тяжёлых, грубо сколоченных шкафа и несколько деревянных постелей для конвоиров; арестованный вталкивался в шкаф, и дверь закрывалась за ним на засов. Так впихнули и меня в такой [вертикальный!] шкаф и закрыли. На уровне головы в нём было отверстие для воздуха. С трудом я поместился в шкафу. Он не был рассчитан на мой рост. Наклонив голову и согнув ноги, я как-то поместился. Но уже через десять минут у меня заболела шея и ноги. Выпрямиться я не мог. Поняв, что меня заперли на целую ночь, я бешено начал бить в двери коленями, кричать сильней и сильней. Ругались неистово, потом сообразили в чём дело, кричали, советовались и потом выпустили меня из шкафа. Перевернули шкаф, положили на пол. Знаками показали, чтобы я лёг в него. Я бросил в него кожаную куртку, влез. Спать лёжа можно. Шкаф был неглубокий,

но довольно широкий. Ещё в одном из этапов повторилось то же самое.

На третью ночь мы пришли в Бельцы, и меня отвели в пересыльную тюрьму. Там я отдохнул и из загнанного зверя стал опять человеком. Попал я в барак, где сидели русские, бежавшие из Советской России. Они чувствовали себя здесь как в раю. Видно, им удалось вывезти какие-то мелкие, но дорогостоящие вещи, продав которые можно было вдоволь наесться, подкупить румын. У большинства были родственники в Бессарабии. Рассказывали ужасы о перенесённом голоде, про невероятные мучения, выдержанные при бегстве. Это были люди моего поколения, моего общества. 1921-й год был в России ужасен, особенно для тех, кто покинул свой дом и двинулся в путь-дорогу.

Наш барак был обнесён солидным забором из колючей проволоки, но можно было выходить подышать воздухом.

Кажется, на третью ночь поблизости от нашего барака что-то изменилось. Слышалось ржание лошадей, русско-украинская речь. Утром, выйдя из барака, диву дивимся. К забору привязаны осёдланные казацкие лошадки, тощие-претощие. Около них ходит какой-то сброд людей во всевозможных формах: матросских, в черкесказ или просто отрепьях. В стороне держится одетый во что-то ультрагусарское низкорослый, невзрачный, рыжеватый мужчина, по-видимому начальник этого сброда. Около него высокая молодая женщина с несимпатичным и неинтересным лицом.



Вскоре узнаю, что это Махно со своей Марусей и остатком армии. Красная армия прижала его к Днестру, и ему с наивернейшими удалось вброд перейти* Днестр и сдаться румынам.

Конечно, при нём было немало золота и драгоценностей. Махно, махновщина – эти слова часто можно было услышать на Украине. В 1919 и 1920 годах его армия насчитывала до пятидесяти тысяч человек. Те, кто не хотели знать ни красных, ни гетмана, ни белых, формировали местные воинские части, которые как главнокомандующий объединил Махно. У него была своя газета, свои деньги. Не видел я этих денег, но меня уверяли, что на них было написано: «Гей, хлопцы, не журись, у Махна гроши завелись».

---

* 28 августа 1921 г.

Когда я служил в Москве в столовке, там скрывался Игорь Саблин. Он был анархист-индивидуалист и издавал газету «Анархия – мать порядка».

Тогда Махно (бывший сельский учитель) организовал где-то около Гуляйполя коммуну из анархистов. Игорь пробрался к ним, желая видеть, как идея анархизма проводится в жизнь, но разочаровался – [там была] анархия, но без какого-нибудь порядка. Пожил и вернулся в Москву.

В Праге был у меня знакомый Овчинников, его взяли в плен махновцы. Он был известен страшной силой в руках. Узнал об этом Махно, не дал его расстрелять, а взял в личные телохранители. В одной стычке с белыми Овчинникову удалось бежать, и он мне много рассказывал о диком разгуле этих банд. Так вот, и я увидел Нестора Махно и его Марусю – любительницу собственноручно расстреливать пленных. Золото и драгоценности, на которые так падки румыны, помогли ему уладить дела в Румынии, а потом перебраться в Париж. Сначала жил тем, что давал интервью в газетах, а когда перестал быть модным, поступил в какой-то ресторанчик и вскоре умер от туберкулёза.

Разговоры с русскими беженцами, приход Махно – всё это отвлекло меня от мыслей, что будет со мной. Я старался об этом не думать.

То, что меня будет судить военный суд, меня страшно пугало, но в то же время я не мог себе объяснить: за что? Во время моего первого пребывания в Румынии я понимал, что в оккупированной Бессарабии ещё нет установленных законов, что господствует произвол власти на местах. Кубанскому полковнику повезло – его выпроводили без шума в Константинополь. Но ведь это сделали не оккупационные власти в Бессарабии, а законная румынская власть. В Бессарабии два года тому назад неугодного «выводили на Днестр», то есть попросту бросали в воду или перевозили на другой берег ночью и бросали там на произвол судьбы почти раздетого. Советские пограничники его или приканчивали, или (если он казался им чем-то интересен), заподозрив в нём шпиона, сдавали начальству. Судьба такого была незавидна.

Как изменилась обстановка теперь, я не знал. Ругать себя за то, что я так стремился в Сороки, тоже не мог. Загнала меня туда болезнь, чувствовал, что это единственная возможность стать

опять здоровым. Теперь я чувствовал себя хорошо. Желудок работал правильно, несмотря на питание очень неправильное и далеко не диетическое. Жутко мне было. Был я бесконечно одинок. Ведь дядя Коля, доктор, всеми уважаемый в городе, сам был без прав, жил, можно сказать, по милости новых хозяев Бессарабии, и помочь мне не мог.

После примерно четырех дней, проведённых в Бельцах, погнали меня этапом дальше в Унгены, а из них в Кишинёв. Двигались мы по железной дороге, но ночёвки в Унгенах и в Кишинёве были ужасны. Утром меня повели в кишинёвскую губернскую тюрьму, опять под усиленным конвоем. Шли городом мимо какого-то благоустроенного дома. Окно было открыто, и вот через окно я вижу: за столом, покрытым белой скатертью, спокойно сидит семья. Пожилые родители и почти уже взрослые дети так весело, беззаботно о чём-то разговаривают.

Помню, как сейчас, каким я себе показался жалким, несчастным, и в голове крутилось, что же я такого сделал? Что? – Не хотел видеть, как уничтожают всё старое, в котором были, конечно, и недостатки, как при каждом режиме, но уничтожать всё,

что создали отцы, было не чем иным, как варварством, против которого надо было встать.

В кишинёвской тюрьме был порядок, дисциплина. Тюремщики были ещё старые, большинство русские. Новым было лишь то, что заключённые должны были питаться на свой счёт. В камере, в которую попал я, сидели главным образом профессиональные жулики, весёлые разбитные парни.

Особенно выделялся один по прозвищу Керенский, у него был ораторский талант, и он говорил без умолку. В шашки он играл бесподобно; я ему всегда проигрывал. Никто мне не говорил и не у кого было спросить, когда меня будут судить.

Прошло несколько дней, [прежде чем услышал:]

– Архивариус, вам разрешено свидание, идите за мной.

Был я поражён ещё больше, когда в помещении для свиданий за редкой решёткой для посетителей увидел – маму! Глаза её были полны слёз. У меня они тоже навернулись. Обоюдные вопросы и ответы; потом она указала на буханку хлеба, которую держала в руках, и говорит:

– Коля, всё будет хорошо. Съешь этот хлеб, но осторожно, – и шепчет. – Никому не говори что в нём.

Свидание быстро закончилось. Мама обратилась к тюремщику с просьбой передать мне буханку хлеба. Он взял её у мамы, взвесил на руке, выйдя за перегородку, отдал мне. Хлеб был круглый, пшеничный, свежий. Помахав маме, я с конвоиром вернулся в камеру.

Жулики были ребята зажиточные, на принёсенный мной хлеб не набросились. Я медленно отрывал верхнюю корку, съедал и рвал дальше. Вскоре показался кусочек бумаги, а ещё через некоторое время я со всеми предосторожностями, чтобы никто не заметил, вынул письмо, завёрнутое в мягкую бумажку. Осторожно я спрятал его за пазуху. Потом стал рассматривать хлеб и догадался, что он был разрезан, письмо было всунуто, и хлеб снова был чем-то залеплен.

*Королева румынская Мария.*



В уборной я вытащил из конверта письмо. Прекрасная бумага, в левом углу выдавлена печать, также выдавлено изображение прекрасного замка. Ниже на машинке по-французски написано, перевожу дословно: «Мадам Авенариус, я счастлива Вам сообщить, что Вы скоро увидите своего сына. Мария*».

* Румынская королева Мария. Каждое утро в белом платье сестры милосердия она встречала на ясском вокзале эшелоны с ранеными и больными тифом солдатами. Иногда в вагонах, куда она заходила, никто не шевелился – все были уже мертвы. Дни и ночи Мария, которую стали называть «матерью раненых», проводила в военных госпиталях и вместе с медсёстрами самоотверженно ухаживала за ранеными. Вопреки предписаниям врачей королева не пользовалась гигиеническими резиновыми перчатками и не боялась обнимать солдат, находившихся на пороге смерти. Когда же ей пытались делать замечания, Мария насмешливо парировала: «А вы не находите, что им приятнее целовать мои обнажённые руки?»

Подпись сделана от руки. Я, видно, читал его несколько раз, так как содержание по-французски помню и сейчас.

Спрятав письмо за пазуху, я вернулся в камеру и думал, и думал, счастливый до бесконечности. И тогда вспомнил, что мама по приезде моём в Сороки говорила мне, что месяца три назад, по совету одного из дяди Колиных знакомых, написала королеве румынской письмо, в котором просила её помочь мне получить визу в Румынию. Ответа не было, и забылось, а вот приблизительно через неделю, как меня отправили в Кишинёв, мама получила ответ.

Канцелярия королевы знала о комиссии, которая была послана в Константинополь, доложила о ней королеве и написала ответ, а королева подписала. Маме посоветовали письмо королевы в сигуранце в Сороках не показывать, поехать в Кишинёв и там на месте решить, что делать.

Один молодой агроном год тому назад был переведён из Сорок в Кишинёв, к нему маму и направили. Теперь я должен был решить сам, как с этим письмом поступить. Понял я, что просто отдать письмо служащим тюрьмы было опасно, а потому я решил держать



его у себя и использовать его на суде в самый критический момент. Мама уехала обратно в тот же день, а при свидании да мне адрес агронома; его я знал по огородам, которые когда-то сторожил.

Несколько дней я ещё ждал суда с письмом королевы за пазухой. Но раз утром мне было объявлено, что меня отведут в суд. В суде я с конвоиром долго ждал. Разбирались другие дела.

Потом ввели меня в судебную залу. Помню лишь большую комнату, большой стол посередине, за которым сидят много людей, преимущественно военные, во главе стола сидит пожилой судья; по большим золотым эполетам и ордену на шее – генерал.

Сперва формальности, установление моей личности, потом один из военных читает обвинительный акт. Читают по-румынски, спрашивают – понимаю ли я? А когда говорю, что понимаю, но только наполовину, от стола подходит ко мне чиновник (не военный) и повторяет мне по-русски.

Суть обвинения: перешёл несколько раз румынскую границу и в компании с Трофимовым и другими (имярек) вёл шпионаж и большевистскую пропаганду. Никаких деталей, сухой обвинительный акт. Вероятно, прокурор предлагает высказаться мне. К этому я был приготовлен и, зная румынское преклонение пред

титулами и званием, отвечал, что я – русский дворянин и белый офицер (приврал), а не шпион, не пропагандист. Отбарабанив это почему-то по-румынски, я вдруг запутался, хотел объяснить подробно, как я приехал в Румынию первый раз и так далее, но сказав несколько слов, запнулся, вытащил из кармана королевское письмо, двинулся по направлению к столу.

Конвоир схватил меня и сильно рванул назад. Письмо выпало из рук на пол, я, увлекаемый конвоиром, попятился назад. Переводчик тоже схватил меня, кто-то встал из-за стола и поднял конверт. Меня держали, я не сопротивлялся. Вижу, как письмо, путешествуя из рук в руки, попадает к генералу. Потом долгий перерыв, вернее, за столом переговариваются, а я стою. Затем председатель суда задаёт вопрос: зачем я приехал в Румынию? Я понял его и отвечаю: к моей матери. Приказывают меня увести. Возвращаемся с конвоиром туда, где ожидали. Я еле владел собой – так я был взволнован. Не помню, долго ли мы ждали, но к нам вышел переводчик. Вежливо, прямо по-приятельски он объяснил мне, что суд пока отложил решение моего дела, нужно проверить подлинность письма. Пока я перевожусь из тюрьмы в канцелярию при тюрьме. Конвойный послан за моими вещами  (кожаная тужурка) в тюрьму, когда он приходит, мы идём в канцелярию в нижнем этаже тюрьмы. Переводчик о чём-то говорит с жандармом, и мне указывают кровать, стоящую в углу канцелярии, переводчик объясняет мне, что я могу на ней спать.

– А теперь, – говорит он, – мы пойдём пообедать. Я ведь долго жил в России, часто обедал у русских и теперь угощу вас.

Такая перемена в течение одного часа. Идём, заказывается вкусный обед. Румын рассказывает мне, как ему хорошо жилось, когда он служил в румынском консульстве в Одессе. Мне он говорит, что меня, конечно, освободят:

– Ведь все хорошо знают, какие выдумщики в сигуранце. А ведь ваша мама, наверно, известная дама, если ей ответила королева.

Я молчу. Меня больше интересует, что было бы со мной, если бы я не имел королевского письма.

– Посидели бы год-полтора в тюрьме, а потом вас послали бы в Россию.

«Перебросили бы», – подумал я, вспоминая рассказы об этих перебросках.

[После] вкусного обеда, во время которого угощавший был исключительно любезен, отвёл он меня обратно в канцелярию тюрьмы.

В канцелярии работали трое, что-то писали. Я подошёл к указанной мне кровати и, сняв ботинки, прилёг. Настроение у меня было приподнятое от таких переживаний.

Вскоре канцелярия начала наполняться вновь приходящими в штатском и в полицейской форме. Они все были в возбуждённом настроении, что-то обсуждали на смешанном русско-румынском языке. Кишинёв был почти русским городом, и служащие на низших должностях ещё тяжело переходили на новую государственную речь. Вскоре я понял, что взволновало их. Под утро на улице нашли застреленного уголовного сыщика, коллегу собравшихся. Они единогласно заявляли, что убийца должен быть найден и ликвидирован, иначе всех их может ожидать такая судьба.

Действовать нужно немилосердно, круто. С утра идёт облава на всех подозрительных, но и у тех, которые сидят в тюрьме, нужно развязать языки. И вот начался допрос зверский, методами уже раньше изученными, беспощадными. Пользовались

всем, что имели под рукой: резиновыми палками, железными прутьями, ремнями, нагайками, цепочками, на которых водят собак, табуретками, на которых сидели, просто кулаками, в которых было зажато что-нибудь тяжёлое, твёрдое.

Приводили сразу двух. Одного допрашивали, другой должен был быть готовым занять его место, когда тот падал и даже увесистыми ударами ног не удавалось его поднять. Всё это происходило в трёх-четырёх шагах от моей кровати. Случалось, что избиваемый вырывался, бросался ко мне, старался спрятаться за меня.

Я старался ложиться на живот, затыкать пальцами уши, чтобы не слышать ужасные вопли избиваемых. Не помогало. Лучше было сидеть с поникшей головой, закрытыми глазами и заткнутыми ушами. Употребляли и такие методы, которые не оставляли следов истязаний.

Привели пожилого торговца – его укусила за руку посланная по следу собака. По уверению допрашивающих, он скупает краденое и знает всех воров. Ударом по лицу его сбили с ног, два сыщика сорвали с ног сапоги, поставили его кверх ногами и воловьими жилами били по ступням. Потом поставили опять на ноги, держа за шиворот, заставляя танцевать на одном месте.

*«Да, ореол королевы, живущий в уме и сердце... решил мою судьбу вопреки всем проискам».*

Женщин били по лицу и грудям плетью. Потом делались перерывы. Запыхавшиеся, усталые, пили бутылками пиво, мешая его с водкой. Поднимали с полу упавшую очередную жертву, давали ему напиться, дружелюбно похлопывая его по плечу, предлагали ему скорей сказать, что он знает об убийце. Это продолжалось почти до рассвета, когда обессиленные допросчики разошлись и я, не менее обессиленный, забылся тяжёлым сном.



На другой день перед обедом за мной пришёл какой-то чиновник, завёл в какую-то другую канцелярию, где меня ждал переводчик. Он приветливо, радуясь за меня, указывает на пакет с моими бумагами. Сверху лежит королевское письмо, и на нём же решительным почерком написано: «Дело прекратить. Выдать разрешение на жительство по всей Румынии».

Передающий жмёт мне руку, переводчик желает мне всего хорошего. Что про меня сказать? Я был так потрясён всем пережитым, что наверно, мог только улыбаться, благодарить за пожелания. Да, ореол королевы, живущий в уме и сердце генерала, в руках которого находится судьба всех жителей Бессарбии, решил [мою судьбу] вопреки всем проискам сигуранцы одним росчерком пера.

Мне оставалось только быть бесконечно благодарным до гробовой доски маме, которая спасла меня от ужасных бедствий и, по всей вероятности, смерти в мои молодые годы. А ещё сказать себе, что я родился в счастливой рубашке.

Вскоре я нашёл квартиру знакомого агронома, пообедал у него, и так как поезд по направлению к Сорокам шёл только утром, остался у них ночевать, успокоенный тем, что деньги на билет они мне одолжат.

Помню, под вечер агроном с женой пошли в кино, а я, усталый, остался дома. Потом понадобилось мне выйти во двор. Я отворил дверь из комнаты – в коридоре стоял румынский солдат. Я в ужасе отпрянул назад. Вид румынского солдата привёл меня в ужас. Опять за мной – мелькнуло в голове. [За дверью] я ждал, когда он войдёт. Он не шёл. Я сам открыл дверь и вышел. Солдат стоял там же, в руках держал сапоги и преспокойно их чистил ваксой. Как мне потом сказали, в другой половине жил румынский офицер, а это был его денщик. «Пуганая ворона куста боится», – подумал я, содрогаясь – до чего я дошёл.

Через два дня, а может и три, я в сорокской сигуранце попросил право на жительство. Кристи при этом заявил, что так как за Сорокский уезд отвечает он, я, живя во вверенном ему районе, должен буду раз в неделю являться в сигуранцу. Ему нужно было сорвать злость за провалившуюся затею.



А ещё недели через две я служил электротехником на строящемся винокуренном и маслобойном заводе километрах в тридцати от Сорок и в десяти от деревни, где учила Оля. На тот же завод поступил кузен Котя заведующим разливочным отделением.

По всей Бессарабии было много богатых землевладельцев. В Сорокском уезде это были австрийские армяне, лет двести тому назад бежавшие из Турции от очередной резни. Богатые помещики обрабатывали в среднем по три тысячи гектаров прекрасного чернозёма. Румыны, чтобы завоевать симпатию населения, помещикам оставили по сто гектаров на душу взрослых и детей, а остальную землю за небольшое вознаграждение получили крестьяне соседних деревень. Помещики распродали инвентарь и, будучи людьми предприимчивыми (говорю о сорокских армянах) и создав Союз земледельцев, устроили завод в Мындыке, куда мы с Котом (так называли приятели Котика) и переехали.

С электричеством я любил возиться, работы было много, и время, пока небольшая электрическая станция не начала работать, летело быстро.

Директором предприятия был Леонид Осипович Аксентович, лет на пять старше меня, человек предприимчивый, спо-

собный, с характером открытым и покладистым. Управляющим был полковник генштаба Шацкий. Они были женаты на двух сёстрах, дочерях директора Кишинёвской гимназии.

Шацкого выписал из Константинополя (он тоже был в Белой армии) свояк. С обоими семействами я сблизился.

У Шацких были две девочки лет восьми-девяти, и я взялся за их подготовку по некоторым предметам к французской гимназии в Яссах. Я давно не читал, книг было много, — набросился на книги.

*Карел Крамарж – премьер-министр независимой Чехословакии (1918–1919)*

Уживался я и с остальными служащими завода, которых было человек десять. Так прошли осень, зима и весна. Летом на четыре месяца завод наполовину останавливался. Котя и некоторые другие получали бесплатный отпуск, а я оставался на службе, работая то на заводе, то у акционеров завода — помещиков, исправляя и переделывая в их имениях электричество, пахал на автоплуге, молотил хлеб моторной молотилкой, переезжая с места на место.



Котя уехал домой к дяде Коле. В тот год несколько молодых людей, сыновей состоятельных родителей или не поладивших с румынами, начали учиться в Праге. Кто-то там получил стипендию. Задумался над тем и дядя Коля. И решил помочь детям — Тавочке и Коте.

Попытка не пытка. Слыхал он о Крамарже* и, вырвав первую страницу из одной у него имеющейся семейной хроники,

---

* Крамаржа называли «отцом русской эмиграции». В октябре 1919-го Карел Петрович ездил к Деникину в Таганрог, за что впоследствии подвергался острой критике со стороны своих политических оппонентов. Потеряв пост премьера в 1919 году, он всё ещё пользовался большим политическим весом, будучи членом парламента и лидером Народно-демократической партии. Он оказался первым премьером страны и последним русофилом.

гласящей, что наш предок — первый Авенариус — родился в чешском городе Эгере, послал ему письмо, объясняя своё положение и прося содействовать принятию его дочки и сына в высшие учебные заведения в Праге, получению визы для переезда детей в Чехию. К концу лета он получил (сам не ожидая того) благоприятный ответ и визы. Итак, Котя с Тавочкой собирались ехать в Прагу. Оля и Аня мирились со своей судьбой учительниц в Бессарабии.

А я пока не решал ничего. Отдыхал от прежних поездок, да появилась у меня в здешних местах симпатия. Раньше я писал об одной киевлянке, застрявшей в Сороках и собиравшейся с нами уехать обратно в Россию. Уехал я, как вы знаете, один, а она поступила гувернанткой в семью помещика из Сорок. Им был Л.О. Аксентович. Попал и я на молотьбу в имение Аксентовича, лежащем километрах в пятнадцати от завода. Обрадовался встрече. И она была рада. Хозяева на зиму должны были переехать на завод, где заканчивалась постройка директорского дома. Это меня радовало.

Так за работой прошло лето, осень. Котя с Тавочкой укатили в Прагу. Завод опять начал работать на полных парах, опять  я устроился на заводе, опять давал уроки Иринке. Переехали и Аксентовичи на завод. Правда, была у меня ещё одна знакомая — дочка управляющего имением акционера Помера, где я тоже летом живал. Но там больше, кажется, была во мне заинтересована она и её родители.

Не будь Галочки (так звали киевлянку), Бог знает, как сложилась бы моя судьба. Мне было тогда двадцать пять лет. С девятнадцати стоял я волею небес на своих ногах, но нельзя сказать, чтобы особенно устойчиво. Моё имущество состояло, кажется, лишь из того, что я имел на себе, перспектив никаких не было видно. Физически я окреп. Галочка стала меня всё больше и больше интересовать, в её компании я себя лучше всего чувствовал.

Наступила вторая зима, которую я собирался провести на заводе. Коти не было со мной. Свободное время я проводил или у Шацких, или у Аксентовичей. Аксентовичи часто уезжали — то в Черновцы к отцу, то в Кишинёв, где у них тоже были родственники, то в имение, где постоянно жил младший Аксентович Кай (Каетан). Года на четыре младше меня, очень красивый, ловкий, на лошади сидел, как природный казак, был хорошо воспитан, пользовался общей любовью за свой мягкий характер и доброту.

Недоставало ему лишь образования (сложилось так, – когда надо было учиться, родители жили в деревне, да и времена были бурные). Работа его не притягивала, он постоянно брался то за одно, то за другое. Был полной противоположностью брату, нашему директору. Так, брат оставил его хозяйничать в имении, а главное руководство и денежные вопросы оставил себе. Это не огорчало Кая, он разъезжал по соседям, часто заезжал на несколько дней к брату на завод.

Я обыкновенно использовал те дни, когда Аксентовичей не было дома, и вечера проводил с Галочкой. Она несла обязанности воспитательницы маленькой дочки и одновременно хозяйки дома. Анна Степановна не любила хозяйничать, не любила возиться с дочкой и в том и другом вполне доверяла Галочке. Ей было тогда двадцать три года. Не могло быть и речи о возвращении домой в Киев, откуда она окольным путём получала всё более неутешительные сведения. Тосковала, не могла сжиться с таким положением. В этом отношении у нас было много общего.

Приходил я в дом Аксентовичей под вечер, играл с Аллочкой (дочку всегда оставляли дома), помогал её укладывать спать, плотно и вкусно ужинал, а потом за дружеской беседой в столовой коротали мы вместе вечер. Рождество я провёл у Оли в деревне, как-то незаметно пришла весна. Я никогда не намекал о своих всё усиливающихся чувствах Галочке. Но как-то решился и начал... Она сразу же остановила меня: 

– Николай Александрович, я уже два года люблю Кая, а он меня. Вы разве не догадались об этом?

Я быстро, не прощаясь, ушёл. На электрической станции, где у меня была комнатушка, я выпил много водки (завод был винокуренный) и забылся тяжёлым сном. Это был страшный удар. Я проклинал Галину Вениаминовну (Галочкой я звал её, как все Аксентовичи и Шацкие), Каетана, себя.

Все замечали, что со мной что-то творится, я объяснял это сильной зубной болью, от которой избавляюсь лишь спиртом. Так, водкой и спиртом, лечился – они давали мне сон. Продолжалось так, наверное, с месяц. С Галочкой я избегал встречи. Всё думал и думал, наконец решил поговорить с ней. Ведь я не мог её ни в чём обвинить. Ну, положим, она немного кокетничала со мной, но кто из молодых девушек, да ещё хорошеньких, не рад пококетничать?

Рассказала она мне всё. Полюбили они друг друга давно, после первых месяцев её жизни и службы у Аксентовичей. Кай решил открыться отцу. Бешеный был старик, ревностный католик, высоко ставил свой армянский род. Тяжело переживал разорение. Из трёхтысяч осталось у него двести гектаров. Барский дом в имении сожжён. Хорошо, что остался ещё доходный дом в Черновицах, на деньги с которого он с женой и жил.

С того времени, как сожгли дом и начали забирать землю, старик не показывался в имении. Теперь, получив письмо младшего сына, он приехал. Собрал всех и объявил: женитьбу сына на какой-то русской эмигрантке он не допустит. У него достаточно связей с румынскими властями, чтобы эта особа была немедленно выслана из Бессарабии к себе в Киев. Он рвал и метал:

– Мой старший сын взял русскую и православную. Каетан должен сохранить в чистоте род.

Потом немного успокоился и, взяв слово со старшего сына Леонида Осиповича, что он примет все меры, чтобы брак не состоялся, иначе он его проклянёт, уехал.



– И вот мы оба второй год под тщательным надзором. Несколько раз Кай почти всё устроил, но потом срывалось. Год тому назад православный священник нас согласился обвенчать, но накануне свадьбы прислал сына с отказом, кто-то его предупредил, чтобы не подвергал себя большим неприятностям.

Потом встретился я с Галочкой и одновременно с Каем. Меня тронуло отношение Кая к Галочке, видно было, что он её очень любит, ценит, уважает. И я как-то успокоился, стал опять встречаться с Галочкой, ещё больше подружился с ней и с Каем.

Весной поехал я к Аксентовичам в Черновицы, остановились у его отца, [я был в роли] эксперта, как бывалый шофёр, при покупке автоплуга. Плуг я отвёз в имение Аксентовичей, начал с Каем пробовать пахать на нём. Дело пошло, и я задержался на недельку в Телешовке (так называлось имение), там была и Галочка с воспитанницей. Здесь родился план, как провести всех и обвенчать Кая с Галочкой.

В этом году Аксентовичи задержались на заводе, не уезжали в Телешовку. Я ежедневно встречался с Галочкой то у директора, то у Шацких. Окружающие привыкли видеть нас вместе. Так, наверно, в начале июля я сказал Аксентовичу, что хочу взять на не-

сколько дней отпуск, поехать к маме, что и Галочка, которая ещё по Сорокам была хорошо знакома со всеми Авенариусами, с удовольствием поехала бы со мной.

Жена Аксентовича Анна Степановна согласилась остаться несколько дней без гувернантки. Был назначен день отъезда; этот день я сообщил через своего помощника в Телешовку Каю. Накануне нашего отъезда Леонид Осипович ругался, что проклятый плуг опять поломался, что Кай послал нарочного, что едет в Бельцы, надеясь там починить сломанную шестерню.

Утром, на директорской паре, любезно предоставленной нам с Галочкой Леонидом Осиповичем, мы поехали в Барончу к маме и Оле. Ни мама, ни Оля не были во всё посвящены. Они были очень удивлены нашим появлением. Мама казалась обрадована, начала волноваться. Как только уехала наша пара гнедых, к домику Оли подъехала тройка почтовых и вошёл Кай. Наскоро мы всё объяснили маме и Оле. У мамы от волнения появились слёзы на глазах, но она сняла со стены образ. Кай и Галочка стали на колени, и мама их благословила. Кай нас торопил, мы сели на тройку и через два часа были в Бельцах. В тот же день вечером католический ксёндз долго, долго что-то читал и говорил Галочке,  а утром она была введена в лоно католической веры и обвенчана с Каем. Свидетелями были я и учитель гимназии в Бельцах – армянин, старый знакомый семьи Аксентовичей.

Молодые остались в Бельцах, а я вернулся на завод. Выждав, когда Леонид Осипович в своём кабинете остался один, я сказал:

– Вчера в Бельцах по католическому обряду были повенчаны Кай и Галочка.

Я должен был это повторить два раза, пока это у него уложилось в голове. Что-то полетело на пол, страшные проклятия, и затем:

– Я им говорил, этим бабам, что Галка не такая, что не может быть, чтобы она изменила Каю. Убедили меня бабы проклятущие... А что теперь? Вы в этом играли определённую роль – так теперь и расхлёбывайте кашу! Сейчас же поезжайте в Черновицы и сообщите обо всём отцу. Сейчас же поезжайте, завтра утром будете там. Отец должен это узнать из первых рук.

На другой день утром я был у старика в Черновцах. Жены его не было дома, куда-то уехала. Он был удивлён моим появлением. Я слово в слово повторил сказанное Леониду Осиповичу.

Прибавил только, кто были свидетели. Старик завертелся на месте, проклиная на всех языках. Потом он подбежал к стене, сорвал большую фотографию Кая, бросил её на пол, растоптал, принёс ещё какую-то фотографию Кая, разорвал её на мелкие кусочки и выбежал из дома. Через минуту он вернулся, вызвал прислугу и, сказал:

– Дайте кофе паничу.,

Вышел, хлопнув дверью.

Я выпил кофе, закусил и ушёл. Страшно жалко мне было старика. На другой день я вернулся на завод. Сослуживцы смотрели на меня с любопытством. Но наступило время уборки хлеба, и я уехал опять с молотилкой по помещикам. Акционеры уже знали о случившемся, но я старался как можно меньше об этом говорить.

Путешествуя так от одного именья до другого, заезжая иногда на завод, я узнал, что старик, который перед тем всякими средствами старался отложить или вообще избавить Кая от отбывания воинской повинности, теперь наоборот сделал так, что его недели через две забрали в какой-то кавалерийский полк в Румынии на два года. Галочка осталась в Бельцах и помогала жене учителя по хозяйству, живя у них.



Вернулся я на завод, когда всё утихомирилось. Аксентович и Шацкий не изменили ко мне своего доброжелательного отношения. Жёны старались меня не замечать. А я всё больше стал думать о Чехословакии. Писал и Котя из Праги. Советовал сделать всё, чтобы к осени приехать в Прагу. В этом мне помог Леонид Осипович. Не помню, по чьей мысли, моей или его, бухарестскому представителю общества земельных собственников послали поручение, чтобы он в министерстве иностранных дел выхлопотал визу в Чехословакию для служащего общества – Авенариуса, которого общество посылает в Прагу для закупки машин для завода.

Котя торопил, писал, что я должен попасть в Прагу не позднее конца сентября, когда кончается приём в высшие учебные заведения. К сожалению, это мне не удалось. Необходимые бумаги пришли из Бухареста лишь в октябре. Быстро я попрощался со своими сослуживцами на заводе. Мыслями я был уже далеко в Праге. С Аксентовичами и Шацкими я попрощался довольно радушно. Они были рады, что я уезжаю.

Первый раз за последние годы у меня был чемоданчик с собою и бумажные деньги, на которые я мог бы прожить в Чехии месяца три. К скромности я привык.

Побыл денёк у мамы с Олей. Они были и рады за меня, и грустно было расставаться. Я был отрезанный ломоть. С десяти лет до шестнадцати жил большую часть года отдельно в Рыбинске, потом три года жили вместе в Москве. С девятнадцати лет, с военной службы, не так часто жил среди своих.

Оля и мама жили неразлучно. Были так привязаны одна к другой, так любили друг друга, что нельзя было представить, чтобы когда-нибудь они расстались.

Попрощался и с кузиной Аней. Она учительствовала недалеко от Оли. Она немного завидовала мне, но не очень. Хохотушка Аня, не подпускавшая к себе ближе чем на три шага ни одного молодого человека, месяца через три после моего отъезда вышла замуж за Александра Сергеевича Дочу – обрусевшего молдаванина, учителя той же школы, где она работала.

Через Черновицы скорый поезд увозил меня из Бессарабии и Румынии, жизнь в которой не оставила у меня много приятных воспоминаний. Остаётся мне ещё рассказать о судьбе тех, кто  остался в Бессарабии.

Вася Хмелевский как бессарабец по возвращении в Сороки получил все необходимые документы. Осенью уехал в Бухарест учиться; окончил там юридический факультет. В мой первый приезд к Оле я встретился с ним. Он был доволен своей судьбой, а через полгода мне написала Оля, что на какой-то вечеринке он съел испорченные сардины и через несколько часов в страшных мучениях умер.

Дочку управляющего, которую хотели выдать за меня, тоже встретил лет через десять. Это была молодая женщина огромных размеров, мать трёх детей, довольная собой и своей судьбой, своей полнотой.

Галочку и Кая я навестил в мой второй приезд к Оле. Они жили в именье Телешовке. Каю удалось из СССР вывезти мать Галочки, но отец и трое младших детей умерли там. Кай по-прежнему был мил, радушен, заботлив к жене, дома ему не сиделось, да и тоскливо было день изо дня сидеть в именьи. Старик два года держал молодых в опале. Когда Кай вернулся с военной службы, старик позвал их в Черновицы, позже они

часто туда ездили, Галочку старик и старушка очень полюбили. Дальнейшую судьбу их всех рассказала мне Аллочка, воспитанница Галочки (лет десять назад она прожила у нас дня три на Остредках). В 1939 году Советский Союз выгнал румын из Бессарабии, с ними бежала и часть бессарабцев, ну, конечно, и все помещики. Потом в 1941 году пришли в Бессарабию опять румыны и расширили свою власть и на часть Новороссии. Аксентовичи и Шацкие остались жить в Румынии, там старшее поколение и скончалось. Галочка умерла три года назад. Мы с ней переписывались... <*строка текста утрачена.*>

# В Чехословакии.
# Прага. Ноябрь 1923–март 1926

Хмурым осенним днём в конце ноября 1923 года, я приехал на Вильсонов вокзал в Прагу. Не думал я и не гадал в то время, что проживу здесь пятьдесят шесть лет, а может быть, по воле Всевышнего, и больше.

Тавочка и Котя мне писали, что я их найду в «Студенческом доме». Там свободное время проводили кроме чешских студентов и русские, пробравшиеся в Чехословакию из бывших русских земель, оказавшихся теперь за пределами СССР: Бессарабии, Русской Польши, Латвии, Литвы, Эстонии. Союз «возвращенцев», т. е. русской молодёжи, решившей вернуться в СССР по окончании учения, нашёл здесь приют. «Щирые» украинцы, представители независимой от России Украины, встречались здесь на каждом шагу. Правительство Чехословакии, демократическое не только на словах, но и на деле, было лояльно ко всем группировкам молодёжи былой императорской России. Отдельно держалась в других общежитиях и организациях самая многочисленная группа русских эмигрантов, ещё недавно состоявших в рядах Белой армии и оставивших свою родину под натиском сильнейшего противника.



«Язык до Киева доведёт», – говорит русская пословица, так довёл он меня до «Студенческого дома», где я быстро нашёл и Тавочку, и Котю. Обрадовался, увидев их, но радостная встреча была испорчена сообщением, что приехал я поздно. Приём в высшие учебные заведения на этот год был уже окончен. Что же делать? – ведь поступление в школу обеспечивало получение стипендии, т. е. средств к существованию.

Получить какую-нибудь работу зимой в Праге, да ещё без знания языка, было невозможно. К счастью, я привёз с собой несколько сот румынских лей, что давало возможность месяца два-три просуществовать.

Но прежде всего надо было получить разрешение на проживание в Чехословакии. Мой временный румынский паспорт позволял мне остаться в Праге две-три недели, потом – айда обратно в Румынию. Всё, только не это! Паспорт был спрятан. Превратился я в беспаспортного, перешедшего нелегально границы Австрии, Болгарии, гонимого желанием учиться в радушной Чехии, изголодавшегося в Турции несчастного русского эмигранта.

Началось хождение по мукам. Единственной бумажкой, которую я показывал, было свидетельство Высшего технического училища в Москве, что я действительно студент этого училища. Свидетельство было выдано в 1915 году, а теперь писался год 1923. Если бы я эти первые дни в Праге не вращался исключительно между русскими, державшимися около «Студенческого дома», мне бы помогли русские эмиграционные организации. Я о них ничего не слыхал, действовал по указаниям Котика, импровизировал. Чтобы получить хотя бы временное разрешение на жительство в Праге, нужно было найти какую-нибудь организацию, которая бы за меня ручалась, меня рекомендовала, – этого требовало полицейское управление. Удалось получить подпись и печать на моё прошение от епископа чешской православной церкви Гораста, но этого оказалось мало. А вид у меня был очень неприглядный: старое пальтишко, сшитое деревенским портным в Бессарабии, старая папина шляпа. Когда я в третий раз посетил полицейское управление, то принявший меня чиновник вызвал к себе полицейского и приказал:

– Выведите этого пана за пределы Праги.

Полицейский посадил меня в трамвай, и мы поехали.

– Вы русский? А я в России три года жил, и хорошо мне там жилось. С австрийской армии я перебежал к русским, работал у богатого крестьянина – хороший человек был. Потом поступил в чехословацкий легион, немного воевал с большевиками, а потом через Владивосток вернулся домой.

Много в этом духе по-русски рассказывал полицейский. Когда мы приехали на последнюю остановку трамвая, прошли с ним ещё шагов пятьсот по дороге.

– Данное мне приказание я исполнил, здесь граница города Праги, я вас вывел за границу Праги.

Он вынул записную книжку, что-то там написал, вырвал листок и дал мне.

– Вот вам на обратный трамвайный билет до Праги. В Праге завтра пойдите в полицейское управление, где вы сегодня были, найдите чиновника, имя которого я здесь написал. Он был моим командиром в легионе. Очень хороший человек. Скажите, что я вас к нему послал. Вот моё имя. Он вам всё устроит.

На другой день я имел разрешение на временное проживание, кажется, на год. Вскоре после этого, проходя по Сокольской улице, увидел надпись «Русский ресторан Москва». На дверях меню: «Борщ». Зашёл, занял место. Подходит официантка, русская. Заказываю борщ.

– Вы, случайно, не из тех русских студентов, которым не удалось получить стипендию?

Я сказал, что она угадала.

– Так видите там большой стол? Там сидят ваши коллеги. У нас студенты без стипендии получают борщ и хлеба сколько влезет – бесплатно. Пересаживайтесь туда.



Пересел и попал в компанию таких же неудачников, как я, приехавших, главным образом, из Болгарии и Сербии уже после закрытия приёма в чешские школы. Все были участники Белого движения. Сейчас же нашёлся общий язык, общие знакомые. Почти все бесприютные, спали на шкафах в небольшом старом общежитии «Страшница». Пошёл с ними туда и там же заночевал, тоже на шкафу. Теперь я был не один.

От них я узнал, что кроме чешских школ существуют в Праге и эмигрантские русские школы: Юридический факультет, Кооперативный институт, Русское высшее училище техников путей сообщения. Заинтересовало меня последнее. Правда, это училище не давало прав в Чехословакии, так же, как и Юридический факультет, потому что приготовляли студентов к работе в будущей освобождённой России, а потому были основаны на принципах и программах русских школ. Но ведь почти все мы тогда жили надеждами на возвращение в Россию после падения большевизма и на жизнь в Чехословакии смотрели как на временную – так, пару лет ещё [подождать]. Не особенно мне нравилось, что училище давало звание инженера только после трёхлетней

службы по специальности (училище было шестисеместровое). Приём туда был по конкурсным экзаменам, среднее образование было обязательным. А главное: начало занятий 2 января.

До нового года я мог просуществовать бедно, но без посторонней помощи. Я сразу же начал готовиться к экзаменам. Такие конкурсные экзамены я сдавал в 1915 году при поступлении в Императорское техническое училище в Москве. Потом два года учился в нём, но за последующие шесть лет многое выветрилось у меня из головы.

С какой жаждой я набросился на учение! Один из первых был в библиотеке, на обед забегал в ресторан на борщ с хлебом и последний уходил спать к Котику в Либны. Деньги уходили скорей, чем я думал. Мой костюм вызывал улыбки товарищей, пришлось заменить подержанным, но пражского покроя, купленным на толкучке. И пальтишко купил там же. Часто я ходил ночевать в «Страшницу» на шкафах. Там «зайцевали» готовящиеся в школу несколько старых русских студентов.

Вечерами в «Страшнице» было очень уютно. Собирался большой хор, и русские песни неслись по баракам до ночи. Кипятили



чай. Там же покупался ужин: десять кусков солонины и большой кусок чёрного хлеба. Это стоило крону. То же самое я ел по вечерам и по утрам и у Котика в Либнах. При таких питательных завтраках и ужинах на обед хватало борща с хлебом.

Прагу я ещё не знал. Не было времени познакомиться с весёлой беспечной жизнью русских студентов, получавших стипендию. Потом, правда, я узнал, что стипендия гарантировала казавшуюся благополучной жизнь лишь тем, кто умел себя держать в руках, систематически занимался, сдавал вовремя экзамены (условие получения стипендии) и забыл безалаберную жизнь военных лет. Кажется, только 50% поступивших в чешские школы русских студентов окончили их и получили аттестаты. Остальные рассеялись по свету, унося приятные воспоминания о беззаботной жизни в Праге. Конкурсные экзамены были назначены на последнюю неделю перед Рождеством. Я их выдержал с отличием, первым.

Но оказалось, что для нас, путейцев, необходимо было пройти лекарский осмотр по медицинским требованиям чешских железных дорог. Я чувствовал себя неплохо и отнёсся к этому спокойно. При осмотре русскому молодому военному врачу что-то не понравилось при выслушивании сердца.

– А ну-ка, несколько раз повторите приседание.

Я добросовестно десять раз без передышки присел. Этим осмотр кончился. На другой день пришли мы в школу за результатами. В школе в должности надзирателя был старик-генерал Семёнов. Когда я вошёл, он знакомил студентов с результатами медицинского осмотра.

– Все, кроме одного, прошли, а один несчастный сердце имеет никуда, дай Бог, чтобы ещё год прожил.

Нас было сорок человек, мне и в голову не могло прийти, что этим несчастным мог быть я. Потом вышел директор училища и прочитал имена принятых студентов. Меня среди них не было. Стало не по себе. Я пошёл за директором в его кабинет. Спросил:

– Почему я не принят?

– Не прошли при медицинском осмотре.

С этого дня прошло пятьдесят шесть лет. Сердце до сих пор служит мне хорошо. А мне давали один год жизни. Каким остолопом должен был быть осматривающий доктор! Забегу вперёд. Не помню – следующим летом или ещё через год, проходя по улицам Праги, я увидел визитку: «Доктор Крашенинников». Я слышал о нём как об очень хорошем, опытном враче. Зашёл  к нему, сказал, что сердце у меня не в порядке. Усадил, внимательно выслушал. Я рассказал ему [случай с медицинской комиссией]. Он ещё внимательней меня выслушал и сказал:

– Может быть, при осмотре вы получили какой-нибудь шок.

Я спросил:

– А могу я курить?

– Курите, батенька, – сердце у вас прекрасное.

Но это было позднее, а тогда я совсем упал духом. Был как раз русский сочельник. Лопнули все надежды, которыми я жил последние месяцы. Прощай, учение, прощай, стипендия; перспективы – медленное умирание. Как нарочно, за несколько дней перед тем в библиотеке я встретил русского, приблизительно моих лет. Бледного, совсем упавшего духом и на вид совершенно больного. Он на мой вопрос сказал мне, что доживает последние месяцы – доктора не дают ему никаких надежд:

– Сердце отслужило.

И он тогда пришёл мне на ум. В ужасном настроении я вернулся к Котику. Его не было дома. На праздники он всегда пропадал куда-то на несколько дней. А я эти первые дни русского

Рождества пролежал на постели: спал, прислушивался к биению сердца, казалось, что оно бьётся то чересчур быстро, то останавливается. Кругом слышался радостный шум; я накрывался с головой одеялом и старался заснуть.

На третий день праздников пошёл я в училище. Нужно было вернуть некоторые книги, взятые для подготовки. Мне сказали, что меня хочет видеть директор. Пошёл к нему.

– Русский союз инженеров в Праге решил вас, как первого выдержавшего конкурсные экзамены, принять в училище, а вместо стипендии, которую все остальные будут получать от министерства чешских железных дорог, из средств союза будет вам выплачиваться половина стипендии, т. е. двести пятьдесят крон. Потерпите до осени, а там выхлопочем вам от министерства полную стипендию.

После нескольких дней страшного уныния я воскрес.

Дня через два началось учение. Прекрасный коллектив собрался на нашем курсе. Были люди всех возрастов и разного прошлого. Два полковника – оба георгиевские кавалеры. Старший – Пиет; ему трудно давалось учение, но как человек упорный, дисциплинированный, самолюбивый, не отставал от других. Другой – И.Б. Ярошенко, мой большой приятель. Весельчак, баловень судьбы, с изрезанным пулями, гранатами и шрапнелями телом, хохол из Одессы, незаменимый товарищ, тоже кадровый офицер, но много моложе Пиета – учение давалось ему легко.



Большинство были с Украины и фамилии носили украинские: Костюченко, Лисенко, Дорошенко, Макаренко, Шепель, но все считали себя русскими, никакого уклона в сепаратизм. Были казаки: донские, кубанские, терские, был один осетин Салказан – добрейший, немного первобытный, чудесный, молодой ещё хлопец.

Дружно мы жили, и всех их я вспоминаю с любовью. Судьба всех была разная. Салказан сразу по окончании училища уехал в Южную Америку, в Боливию. Тянуло его на простор степей, вдали окаймляемых горами, скучно ему было без друзей детства – коней. Года через два мы узнали, что он был убит в лихой кавалерийской схватке на границе Боливии и Аргентины. Я жил с ним недели две в одной комнате – такой был мягкий, спокойный, милый, был бы из него прекрасный инженер, добрый товарищ, хороший отец и муж.

Вспомню и П.М. Трофимова, русского уроженца Пскова. В Первую мировую войну он служил в полку, которым командовал доблестный полковник Дроздовский. Полк стоял в Румынии, когда подписывали похабный Брест-Литовский мир. Приказ о разоружении полк не принял, а походным порядком двинулся на Дон и влился в Добровольческую армию, образовав впоследствии Дроздовскую дивизию. Павел Михайлович командовал в ней батальоном. Прекрасный человек, волевой, с врождённой интеллигентностью, бескомпромиссный, со здоровым честолюбием и ораторскими способностями. Кроме училища он посещал лекции юридического факультета, участвовал в общественной жизни русской пражской эмиграции. Окончив училище, он хорошо себя зарекомендовал на службе в Братиславе. Тогда в Париже, в окружении великого князя Николая Николаевича (верховного главнокомандующего русской армией, снискавшего любовь и уважение солдат и офицеров), собрался круг русских патриотов, не пожелавших смириться с поражением Белой армии и решивших продолжать борьбу иными путями, организацией террористических отрядов и засылкой их в Советскую Россию.

Взялись за дело, которое совершенно не соответствовало их  прежней деятельности, было чуждо их моральным качествам, всему их внутреннему «я». Финансовую поддержку они получали от бывших союзников. В Париже устраивались съезды, и от русских членов этого кружка в Праге был послан в Париж Павел Михайлович. Своими пламенными речами он обратил на себя внимание, сам увлёкся, уверовал в этот новый способ борьбы с победителями. По внутреннему душевному складу террористические акты ему были чужды, но, признав их приемлемыми, решил помогать по-своему.

В кружках советской властью насаждалось много провокаторов, которых в разношерстной русской эмиграции было немало. Посылаемые в Советский Союз группы и единицы часто раскрывались. Было ясно, что на их путях были [заранее] расставлены ловушки. Трофимов взял на себя проверку этих путей. У него не было ни малейшего опыта конспирации, для этой работы он не годился. Наверно, он сам это понимал и пошёл сам, никого не вмешивая. В одно из первых его [проникновений] в пределы СССР он был пойман, судим и расстрелян. Мир его праху, был то честный, храбрый русский человек.

Уж если я начал говорить о неудачной борьбе русской эмиграции с советской властью пятьдесят лет тому назад, вспомню и несчастный, прямо сказать, позорный конец славной русской певицы Плевицкой...

Она ещё до Первой мировой войны победила всю русскую общественность своим бесподобным исполнением русских народных песен. Подражательницей или, верней сказать, её ученицей была советская певица Русланова. Плевицкую я ещё слышал в Москве, потом во времена Гражданской войны – в Крыму, последние два раза – в Праге. Её приезд в Прагу был для русской пражской молодёжи национальным праздником. Как она пела: «На старой калужской дороге...», «Занесло тебя снегом, Россия...», «Ах да девка, девка-клад...» – много, много других русских песен. Мы вызывали её бесконечное число раз; таких рукоплесканий никогда, наверно, не слышал зал Пражского Виноградского театра, где она выступала. Её выступление в последний приезд в Прагу завершил генерал Скоблин: увёл её со сцены и не пустил её вернуться, несмотря на то, что театр неиствовал.

Пару слов о генерале Скоблине, сыгравшем роковую роль



в последний период жизни певицы. Принадлежал он к тем русским, которым как в мировой, так и в гражданской войне бесконечно везло. Скоблин – безусловно храбрый офицер, всегда в первых рядах, всегда там, где нужно в критическую минуту увлечь за собой солдат, уберечь вверенный ему отряд от, казалось, неминуемой гибели; он этого достигал, часто раненный, но почти всегда легко. Пули миновали его, он и сам верил в свою заговорённость от них.

Участник Первого похода в рядах корниловцев, он в Крыму был произведён в генералы и назначен командиром Корниловской дивизии. Было ему тогда лет двадцать восемь. Кроме своих боевых качеств ничем не отличался. Я бы сказал даже – не был популярен. Его соратники, как, например, капитан Глувчинский, начальник его конного конвоя, или полковник Машкин, старый корниловец, с которыми мне в эмиграции часто случалось встречаться и работать, всегда, вспоминая его, называли «Колька Скоблин» без должной почтительности и уважения.

Плевицкая не была замужем, но всегда окружена поклонниками и почитателями. Думаю, что во время её последнего посещения Праги ей было далеко за сорок, а Скоблину, который

был её последней привязанностью и одновременно импресарио, было лет тридцать пять. Они жили в Париже, разъезжали по Европе, по городам, где была многочисленная русская эмиграция. Если в первые годы эмиграции она и Скоблин могли жить на широкую ногу, то с годами, с уменьшением её голосового фонда, уменьшались и средства на жизнь. Нелегко было расстаться с привольной жизнью. Но появились новые почитатели стареющей певицы, не стеснённые в деньгах, всегда готовые помочь в затруднительных случаях.

*А.П. Кутепов – генерал Белой армии.*



Группа русской эмиграции, о которой я упоминал, вспоминая Трофимова, продолжала свою деятельность в Париже. Руководил ею генерал Кутепов. Бравый, толковый, беззаветно преданный своей родине, не смирившийся с поражением Белой армии, отдал всего себя на незнакомое и чуждое ему дело. Борьба была очень проблематична и результаты были ничтожны. Из Москвы пришёл приказ обезвредить организацию, а Кутепова взять живым и доставить на суд в Москву.

В крымский период Гражданской войны Кутепов командовал первым корпусом, а Скоблин – дивизией в его корпусе. Связь между этими генералами не прекращалась и в Париже. И вот, годах в 1933–1934 (точных данных у меня никаких нет, всё дальнейшее по памяти, по сообщениям газет «Последние новости» и «Возрождение»*), когда Плевицкая и Скоблин были уж совсем в руках опытных контрразведчиков, Плевицкая пригласила Кутепова в заранее приготовленную квартиру, где он был схвачен, а позже перевезён в какой-то порт и увезён в Россию.

На другой день все русские в Париже, а их были десятки тысяч, знали, что генерал Кутепов исчез. Вечером этого дня

* Редактируемых Милюковым и Струве.

кто-то ещё встретил метавшегося по Парижу Скоблина, потом и он бесследно исчез. Парижская общественность была возмущена: «Как у нас, в нашем свободном Париже кто-то распоряжается помимо нас?»

Расследование началось. Тянулось долго. Месяца через два Плевицкая была обвинена в содействии похищению генерала Кутепова и приговорена к нескольким годам тюрьмы. Кажется, через год она умерла всеми забытая в тюрьме.

Я одно время думал выкинуть этот случай из своих воспоминаний, а подумав, решил оставить. Почему? Да потому, что Плевицкая в однотонной пражской жизни, заполненной только учением и учением, дала мне незабываемые минуты, и я ей за эти минуты очень благодарен, а её несчастный конец вспоминаю с болью в сердце.

Пережитое ею в тюрьме время ужасных душевных мучений искупало всю её вину. При этом вспомнил я и генерала Кутепова, который после генерала Врангеля был высшим моим командиром. Правда, при посадке на «Саратов» именно он отдал приказ прекратить посадку и тем обрекал на гибель меня и ещё сотню не успевших погрузиться, так что в душе осталось неприятное о нём воспоминание. Позднее я вспомнил аналогичные случаи, когда командир, спасая большинство отряда, остав- лял для прикрытия несколько человек, обрекая их на верную смерть. Принимая это во внимание, я освободил свои чувства от неприязни.



Последний раз я видел генерала Кутепова в Братиславе в конце 1926 года, где служил по окончании учёбы. Посоветовал мне ехать искать работу в Братиславе А.К. Глувчинский, около года работавший там. Он же меня и приютил в сарайчике, в котором жил, помог ориентироваться в Братиславе, познакомил с местной русской колонией, тогда ещё очень малочисленной. В его сарайчике я прожил недели две, когда он уехал на работу, а сарайчик оставил на моё попечение. Мы были хорошо знакомы по учёбе в Праге, жили в одной из деревушек около Праги. В конце 1926 года стало известно, что проездом в Прагу из Парижа остановится в Братиславе генерал Кутепов, что он желал бы повидать своих бывших соратников. Нас, участников Белой армии, а теперь молодых инженеров, было человек пятнадцать. Да и русские легионеры, живущие в Праге, решили участвовать в встрече с генералом.

*Братислава – отель «Карлтон». 1938 г.*

Сняли номер в «Карлтоне», заказали славный обед там же человек на тридцать. В программе была встреча Кутепова с бывшими соратниками. В одном из меньших залов «Карлтона» нас в количестве пятнадцати человек представлял старший инженер Белоусов, окончивший пражский политех и служащий третий год в Братиславе. Построились. Кутепов обходил всех, Белоусов по очереди представлял. Недалеко от меня стоял бывший капитан – теперь новоиспечённый инженер Глувчинский. На груди его красовался орден первопоходника – серебряный терновый венец, пересечённый мечом. Кутепов, остановившись около Глувчинского, увидел орден, услышал имя – капитан Глувчинский, которое ему ничего не говорило, спросил:

– В какой роте были в Первом походе?

– В вашей роте, ваше высокопревосходительство, – отбарабанил Глувчинский.

– В моей, Глувчинский? Что-то не помню.

– Как же не помните? Три раза меня разжаловали в солдаты, – мило улыбаясь, вытянувшись, разъясняет Глувчинский.

– А, капитан Глувчинский! Много, много я имел с вами работы. Потерял вас из виду. Ну, как теперь?

– Теперь я инженер Глувчинский, – так же с улыбкой он.

– И на хорошем счету, – добавляет инженер Белоусов.

– Извините, капитан Глувчинский, что сразу вас не узнал, – говорит Кутепов и обращается к следующему.

Буян был Глувчинский, неуживчивый, часто менял службу, но работник добросовестный и с головой. Перед вступлением советских войск в Братиславу он исчез. Жена его, уроженка Братиславы, не хотела расставаться с родиной. А он жену очень любил: была она его единственным верным товарищем. Глувчинский перешёл в зону, занятую американцами. Первые полгода появлялся у жены в Братиславе, тайно переходя границу. А потом исчез совсем. Попался на границе, а он был не из тех, кто добровольно сдаётся. Так, или русские, или американцы его пристрелили.

Не могу не вспомнить ещё одного из товарищей по училищу: Александра Ивановича Чеботарёва. Среднего роста, прекрасно сложен, правильные черты лица, окаймлённого аккуратно подстриженной бородкой. Донской казак из старой казачьей офицерской семьи. Спокойный, без комплексов, заботливый отец дочки Светланки, покорный муж обаятельной казачки Валентины Владимировны, радушной хозяйки.



Вспоминаю его по случаю назначения в наше училище лектором по курсу мостов П.П. Юренева. Юренев во Временном правительстве (с апреля до октября 1917 г.) был министром путей сообщения, а перед тем долго занимался постройкой мостов. Мы, эмигрантская молодёжь того времени, очень подозрительно и без особой любви поминали Временное правительство, «говоруны» – характеризовали мы его членов. Мы надеялись, что курс мостов будет читать профессор Кривошеев. Он отказался, и назначили Юренева, «говоруна», да ещё с левым душком. Решили дать ему понять, что разговорчиками он не будет у нас заниматься, мосты – вот о них и рассказывай. Приготовились.

В числе приготовлявших встречу был и Чеботарёв. Юренева ввёл и представил директор училища и сразу ушёл. Юренева как сейчас помню: небольшого роста, с брюшком, на которое положены маленькие пухленькие руки, направляется к кафедре. Дошёл, обернулся к аудитории, открыл рот. А тем временем, подходя к нему быстрым военным шагом, останавливается Чеботарёв:

– На молитву готовьсь. Пой молитву.

У нас было много хороших голосов, и хор стройно запел: «Царю Небесный...» В переднем углу небольшой лекционной

залы (как сейчас вижу) висит образ Спасителя и перед ним горит лампада. Юренев повернулся к иконе и часто-часто начал осенять себя крестным знамением. Кончили. Чеботарёв так же браво приказал:

– Садись!

Юренев быстро вошёл на кафедру и начал:

– Мосты в постройке железных дорог играют...

Мы были довольны. Потом мы все полюбили его. Он прекрасно читал лекции, держался старшим товарищем.

*П.П. Юренев*

По окончании училища Чеботарёв работал на постройках железных дорог в Словакии. Мы часто виделись. Он с женой навещал нас, а мы его.

Как раз пять минут назад жена вошла в комнату, где я пишу. 

– А помнишь Валентину Владимировну? – неожиданно спросил я.

Она несколько минут думала, а потом говорит:

– Ведь так звали жену Александра Чеботарёва.

Мне было приятно за Чеботарёвых и за неё.

В дни словацкого народного восстания Чеботарёв работал в Банской Быстрице. Жили там ещё трое его приятелей-казаков. Семья Чеботарёвых была гостеприимна. Так часто сходились у него. Не обходилось без рюмочки, а потом пелись русские и казачьи песни. Когда репертуар был уже у конца, а в голове началась шумиха, затянули и «Коль славен...», и «Боже, царя храни».

Предполагаю, что часто мы так и заканчивали нашу пирушку в Мартине. И не потому, что у нас сходились махровые монархисты. С монархией мы давно и навеки распрощались, но, положа руку на сердце, согласитесь – торжественна была музыка «Коль славен...». Как бы там ни было, но какой-то сосед Чеботарёва, которому не давал спать шум, указал на них кому следует как на «контру, старорежимников». Наверно, у самого было рыльце в пуху.

Нашу троицу забрали и увезли в Словенскую Люпчу, куда свозили всех подозрительных. Многих расстреливали, многих отпускали, а наших держали до конца, и при входе немцев в Банскую Быстрицу заключённые Словенской Люпчи и стражники ушли в горы.

Нашу троицу нагрузили патронами. На другой день увидели, что мои земляки ненавидят немцев больше, чем словаки: дрались с немцами в Первой мировой войне, имеют большой военный опыт. Дали им винтовки, патроны разделили между всеми и, отстреливаясь, поднимались всё выше в горы. А ещё дня через два, когда на какой-то вершине задержались и дали себя окружить, при прорыве несколько словаков были убиты, и с ними Александр Иванович. Двое других уцелели. Один из них встретился потом с Валентиной Владимировной и всё ей рассказал. Он потом вернулся в СССР, а жена Чеботарёва с дочкой уехали куда-то в Америку. Судьба их мне неизвестна.

Попрощаюсь теперь со своими друзьями по училищу.

Самым молодым на курсе у нас был П.П. Бояковский. Он попал в Прагу из Польши, ему было восемнадцать лет. Теперь ему семь-

десят семь. Не так давно, просматривая выпускные фотографии, пришли к заключению, что из курса нас осталось только двое.

В конце первого семестра в училище я почувствовал, что учебная программа даётся мне легко, что у меня остается ещё много свободного времени, которое, принимая во внимание мой пустой кошелёк, использовать трудно.

В то время были у меня ещё два приятеля, на один курс старше меня, тоже бывшие студенты русских высших технических школ. От них я узнал, что они решили совместить учёбу в училище с учёбой в чешском высшем техническом училище, и уже некоторые шаги в этом направлении предприняли. У них, как и у меня, были свидетельства из русских высших технических школ, что они были от того-то года по такой-то студентами этих школ. На основании этих свидетельств можно было поступить в здешние технические школы, [при этом] посещение лекций первого и второго курса было необязательно.

Можно было сразу же записаться на экзамены по этим предметам и нормально сдать их без каких-либо поблажек. Тогда, записавшись на летний семестр строительного отделения пражского политеха и приналёгши на учение, через три семестра,

т. е. при окончании нашего училища, они перешли бы на третий курс пражского строительного отделения.

Учебные стипендии у них, правда, кончались с окончанием нашего училища, но были какие-то надежды, что им продлят стипендию и на остальной срок. Был известный риск. Этого я особенно боялся: ведь доктор меня так напугал, что я продолжал себя считать больным, да и стипендию я ещё получал половинную. Я решил совместить две школы тоже, но решил этот вопрос по-своему.

В пражском политехе был ещё межевой факультет. Поступив на него, сдав все экзамены, студент со званием землемера (геометра) мог поступить на государственную службу. Служа геометром два-три года на государственной службе, можно было приготовиться заочно к экзаменам (не помню – десять или двенадцать) и, сдавши их, получить диплом и звание инженера-геодезиста. А это значило, что если я сейчас запишусь на летний семестр межевого факультета, то через три семестра, окончив наше училище, смогу получить звание землемера и рассчитывать на государственную службу. Тогда – прощай полуголодное существование.



Я не хочу сказать, что таким было положение русских студентов, получающих полную стипендию. Нет, я говорю о себе, жившем на половине стипендии, а таких были единицы. Я всегда принимал решения очень быстро и сразу же начинал их приводить в исполнение. Так и в этот раз.

Учебный комитет нашего училища не протестовал, заявив даже, что знания, приобретённые мною на межевом факультете (высшая геодезия и астрономия), будут очень полезны при разведочных работах, предшествующих проектированию, и разрешил мне в случае необходимости отсутствовать на некоторых лекциях.

Теперь моя жизнь наполнилась исключительно учёбой. Я просиживал над книжками четырнадцать часов в день. Науки, изучаемые мной, были или исключительно математические, или тесно связанные с математикой. Математические способности я имел, и вот незаметно у меня начало тогда развиваться математическое логическое мышление. В голове ясно укладывались отдельные формулы, например, физических процессов: ускорения, центробежной силы, притяжения земли, и мне совсем нетрудно было запомнить сложные математические формулы, связанные с этими явлениями.

Например, приятели много мучились, пока им удалось вызубрить формулу, определяющую сечение какого-нибудь тела, находящегося под действием разных природных или искусственно вызванных сил. Я подходил к доске и не задумываясь писал формулу за формулой.

– Когда ж ты успел их вызубрить? – удивлялись они. – Сыпешь, как из мешка.

А я их не зубрил, а логически выводил. Через три года мне пришлось, уже служа, сдавать вторую математику. Занимался я ею урывками, в свободное от работы время, и давалась она мне трудно, логичность мышления, не поддерживаемая постоянно математическим тренингом, исчезла.

Осенью 1924 года я получил обещанную полную стипендию. Прощай ночки на узкой постели вдвоём или на шкафах, прощай пешие переходы из одного конца Праги в другой. В Праге квартиры были дорогие, и большинство русских студентов жили в прилегающих к Праге деревеньках, лежащих близ железных дорог, идущих в Прагу.

Переехал туда и я с моим верным другом по училищу Иваном



Эрастовичем Лисенко.

– Чёрт с младенцем связался, – смеялись над нами приятели.

Я был самый высокий, а он самый низкий. Он был всегда со всеми исключительно вежлив, благожелателен – я не отличался этим. Петроградец, сын генерала Генерального штаба, внук, правнук и праправнук русских офицеров-артиллеристов, он был скромным, верным моим товарищем. Он не был инициативен, и нашу сплочённую жизнь вёл я. Он не курил и не выпивал, и совсем не умел тратить деньги. Все это знали и всегда в трудную минуту обращались к нему.

Мы с ним переменили четыре комнаты в окрестностях Праги. Часов в шесть вставали и, напившись чаю, уезжали поездом в Прагу на учение. Возвращались вечером. Обедали в столовке при училище, ужин почти не разнообразили. Один раз копчёное сало, другой раз солёное. Чай любили и умели попить. Вечером сидели над чертежами. Он работал медленно, трудновато ему было.

Кадетский корпус, поступление в артиллерийское училище, а через два месяца по поступлении – на юг России. Почти вся их рота вошла в основу Белой армии, в которой он всё время находился на фронте – до эвакуации из Крыма. Был уже капитаном,

с искалеченной левой рукой. Вспоминаю это потому, чтобы оправдать его слабую подготовку к изучению технических наук. Был усидчив и учился хорошо. По вечерам любили вспоминать прошлое. Он был хороший рассказчик. В воскресенье оставались дома.

Хозяйка нам одолжила кастрюлю побольше. У нас были и свои наипримитивнейшие кухонные принадлежности: две большие оловянные ложки, две такие же вилки, одна чайная ложка и несколько тарелок. На покупку ножа никогда не хватало или денег, или времени. В воскресное утро покупалась свиная коленка, свиной хвостик, немного свиных костей, солонина – так, чтобы всё это не превышало восьми-девяти крон. Потом капуста, свёкла, лук, картошка, ещё какая-нибудь зелень – чтобы тоже хватило пяти-шести крон. Прекрасный обед, ещё лучше ужин и ещё лучше ужин – в понедельник.

Я умышленно вспомнил, что у нас была одна чайная ложка. Чаю, как я уж говорил, пили мы много. Каждый себе наливал. Я первый завладевал ложкой и сначала мешал себе, а потом автоматически совал в стакан приятеля. Делал так ежедневно по крайней мере год. И вот последствия.

Сижу в Братиславе в семье отца Сергия. Вечером, после всенощной, на чаёк у батюшки собиралась молодёжь. Дома у него (он был вдовец) были две дочки лет семнадцати-двадцати и сын, молодой инженер. Хозяйничала старшая дочка Александра Сергеевна. Были кто-то из их подруг. Получив свой стакан чая и что-то рассказывая, мешаю ложечкой в своём стакане, машинально вынимаю и начинаю мешать чай в стакане соседки. Соседка в недоумении глядит на меня. Я заметил её взгляд, вижу, что и остальные на меня смотрят, замолк. Понял, что делаю, сперва смешался, а потом рассмеялся. Когда я объяснил в чём дело, смеялись и остальные.



Жизнь с получением полной стипендии у меня не изменилась в отношении проведения времени. Учение заполняло всё время. Читал я очень мало. С интересом просматривал «Архив русской революции»*, читал эмигрантскую прессу. Жизнью народа, среди которого жил, почти не интересовался.

---

* «Архив русской революции» – уникальное издание в 22 томах, выходившее в Берлине с 1921 по 1937 год. Издавалось лидером кадетов И.В. Гессеном; содержит воспоминания эмигрантов, материалы и документы, освещающие период Октябрьской революции и Гражданской войны.

Все жили своими эмигрантскими буднями. Русская молодёжь всегда любила пофилософствовать, поспорить, поораторствовать, а для таких в Праге всегда находились [для этого] возможности. Устраивались международные съезды эмигрантской молодёжи. Приезжали со всех сторон света. Полная свобода слова. Заходил и я на эти съезды. Демагогическая болтовня, критика всего, и ни одной новой идеи. Правда, находились ораторы, от речей которых прямо мурашки ходили по коже. Начинал к ним прислушиваться – красивые слова – ничего конкретного. Кончалось это тем, что присланные делегаты оставались в Праге, устраивались на стипендию и увеличивали и без того огромное количество болтунов.

А нас, простых смертных, заедала тоска по родине. Связь с СССР почти не существовала. Если писали домой, то не прямо родителям, а дальним родственникам, а то и просто знакомым.

Знали мы, что в СССР заведено правило: зло должно быть уничтожено с корнем, как сорная трава. Нам же был незнаком способ переносить виновность отца на детей и обратно. Мы утверждали, что человек не трава, что Горький, говоря: «Человек – это звучит гордо, его нужно уважать», – не рисовался громкими фразами, а говорил то, чему верил, в чём и других хотел убедить.



Не удавалось – побеждало мнение: «Лес рубят – щепки летят. Гуманность – пережиток, мещанство».

А ведь не так давно, когда старший брат Ленина был казнён за участие в покушении на жизнь императора, за этот поступок отвечал лишь сам закононарушитель, а не его близкие. Отец Ленина до последнего своего дня прослужил в Министерстве просвещения, а Володе Ульянову по окончании гимназии была выдана награда – золотая медаль. Нам это было понятно.

Понятен нам был и случай с кадетиком первого кадетского корпуса, о котором мне рассказал И.Э. Лисенко.

В 1915 году был обвинён в измене полковник Мясоедов и по приговору суда казнён. Сын его учился в корпусе, был моложе Лисенко. Утром, после того, как всем из печати стало известно о приговоре, директор корпуса генерал Римский-Корсаков приказал весь корпус построить в актовом зале.

– Кадеты первого корпуса! – обратился к стоящим по команде «смирно» кадетам. – С вашим товарищем Мясоедовым случилось большое несчастье. Вы все о том уже наверно знаете. Его

сейчас нет между вами. Под благовидным поводом я задержал его в классе. Перед тем я сам сообщил ему о постигшем его горе, о постигшей его утрате. Кадеты, ваш долг и долг нас, ваших наставников, помочь кадету Мясоедову перенести этот удар, поддержать его в эти тяжёлые для него дни. Каким он был для вас вчера, таким останется и теперь, и останется до конца корпуса. Ничем не напоминайте ему о постигшем его горе. Будьте к нему бережны.

Так примерно И.Э. Лисенко передал мне этот случай. Может, кто-нибудь скажет: «мягкотелость, [отправить] в архив интеллигентности». Мы, тогдашняя учащаяся в Праге молодёжь, не стали бы с ним спорить. Вернусь к описанию нашей жизни в Праге.

Вспоминаю приезд Шаляпина в Прагу. Программа его выступлений складывалась из всемирно известных оперных арий, которые он исполнял бесподобно. Но или потому, что на наши бесконечные бисы он был скуп, или потому, что мы ждали репертуара чисто русского, в котором мы так нуждались, его выступление не было для нас таким национальным праздником, как выступление стареющей, терявшей уже голос исполнительницы русских народных песен Плевицкой.



Зато с удовольствием вспоминаю встречу нового 1926 года. Как-то случилось, что у нас троих: В.И. Покровского, Ф.Ф. Волошина и у меня оказались деньжата, и мы купили билеты на встречу Нового года, устраиваемую «Гнездом перелётных птиц». В каком это было помещении – уже не помню. Сценки из произведений Чехова в неподражаемом исполнении артистов Московского художественного театра, проживавших в тот год в Праге, русские песни в исполнении хора Архангельского, многочисленные выступления, дуэтные и сольные, русских певцов и певиц, оперных и опереточных, перемешанные с балетными номерами или просто залихватскими танцами русских танцоров и танцовщиц. Недели две, не меньше, мы ощущали радость от этой встречи Нового года. Было в тогдашней Праге много способных, талантливых людей.

А учение шло своим чередом. На межевом факультете было сто студентов – восемьдесят русских и двадцать чехов. Откуда такой наплыв русских? Кто это были? Да окончившие русский юридический факультет, не нашедшие работу. Ведь факультет был создан по старой русской программе для службы в России, куда мы

вот-вот поедем; русские студенты чешских высших технических школ, проучившиеся два года на них, не по лени, а просто по возрасту потерявшие много времени на военной службе, позабывшие приобретённое в средних школах, не осилившие всех требуемых от них премудростей, не сдавшие учебный минимум и потерявшие право на стипендию.

Правительство Чехословакии, познакомившись с положением геодезических и картографических работ в государстве, а особенно в Словакии, поняло, что исполнить эти работы с существующим количеством специалистов невозможно, и принимая во внимание, что число специалистов геодетов и картографов слишком медленно увеличивается, решило воспользоваться русскими студентами описанной выше категории и предложило продолжить выдачу им стипендий. Вот почему получился такой наплыв на межевой факультет. Конечно, не хватало ни лекторов, ни пособий, ни инструментов, но учение как-то шло.

Я на межевом факультете был редкий гость. Посещал его, чтобы записаться на лекции, получить задание на графические и вычислительные работы, сдать экзамены и зачёты. Чертил, вы-



считывал в училище в чертёжке, где мне это было разрешено (при условии, что это не будет влиять на результаты моей учёбы в училище). Пришлось налечь.

Студентов межевого факультета я почти не знал, и меня не знали. Позже на службе я с ними познакомился, и все удивлялись — откуда я взялся.

Учение в нашем училище отличалось от учения в чешских школах тем, что в первом году учёбы вместо почти двухполовинной месячной вакансии (летней) мы получали лишь одну неделю отдыха да две недели полевых практических занятий. На втором году – полтора месяца обязательной практики на государственных или частных железных дорогах или их строительстве.

Наши учебные программы были обширны, кроме того, наши профессора получали вознаграждение не помесячно, а по числу учебных часов. Интересна была обязательная практика. Заблаговременно наша школа рассылала всем государственным и частным предприятиям, связанным с постройкой железных дорог и их эксплуатацией, просьбы о принятии на практику наших студентов. По получении приглашений следовало решить вопрос, в каком порядке назначать на практику студентов на поступив-

шие предложения. Одни предлагали по успешности на занятиях, другие – по жребию. Выиграло мнение – по жребию. При жеребьёвке я получил последнее место.

Первые двенадцать получили лучшие места у частных предпринимателей, которые обязались платить практикантам коекакое вознаграждение. Всего пришло около тридцати предложений, а остальных разместило министерство железных дорог по своему усмотрению. Я с коллегой Кулешом был направлен на постройку второй колеи на железной дороге Кралупы–Рудно. Не были мы там желанными гостями. Заведующий работами инженер был немец, также и его помощник, дослуживавшие последние годы и потому мало чем интересовавшиеся.

Мне как-то удалось устроиться к молодому чеху-инженеру. Работали с ним всё время на полотне железной дороги, работали с геодезическими инструментами. Железная дорога шла, извиваясь, при реке Лабе. Движение на железной дороге было живое. То с одной стороны летит поезд, то с другой. Мы имели график движения и точные часы. Знали, в каком направлении и когда в данном месте пойдёт поезд.



Был строгий приказ – при приближении поезда сходить с полотна дороги и ни в коем случае не переходить на соседнюю колею. Были с нами четыре работника. Мы-то всегда с инструментами сходили с полотна, работникам каждый раз надо было напоминать об этом, ругаться с ними. Вот летит навстречу скорый поезд. Мы заблаговременно сошли с путей, а стоявший сзади рабочий перешёл лишь на другую колею. А тут из-за изгиба вылетел международный скорый. Его никто не ждал – он опаздывал больше чем на полчаса; за шумом первого поезда его не было слышно. Рабочий был убит на месте. Это нас потрясло, потом было долгое расследование. Неделю мы с инженером не могли придти в себя.

Спали в железнодорожном помещении даром, но питание обходилось нам дороже, чем в Праге. Мы ждали, что по окончании срока практики нам дадут какие-нибудь деньги. Ограничилось выдачей свидетельства о работе и суховатым прощанием. Денег у нас с Кулешом оказалось только-только добраться до Праги.

Вернувшись, делились впечатлениями с друзьями. Повезло тем, кто попали на частную работу. Все (их кажется было десятеро) получили предложение по окончании училища поступить

к ним на работу. Все они работали в Словакии, где тогда как раз началась постройка двух железных дорог. Это была осень 1925 года, весной 1926 г. нас ожидали выпускные экзамены, а меня почти в то же время и государственные экзамены на межевом факультете.

Пришлось поработать вовсю. Осилил. Сейчас посмотрел дипломы, мне тогда выданные. Диплом межевого факультета выдан 20 марта; диплом техника путей сообщения 30 марта. Выпускные письменные работы на межевом факультете были очень строгие. Нам [надо было] рано придти на факультет с обедом в кармане, а вечером нас выпускали из экзаменационной комнаты. Все бумаги оставались там. Так продолжалось неделю. Этим обеспечивалась самостоятельность работ. Межевой факультет я кончил с очень хорошим успехом, наше училище – с отличным.

Окончание училища техников путей сообщения не обошлось у меня без инцидента, который спровоцировал я своей горячностью. Употребляю слово горячность, хотя надо бы гораздо более веское слово, которое не может теперь придти в голову.

Мне было чуть не тридцать лет, а поступил я как последний



мальчишка. Последним экзаменом была геодезия. Дня за три перед экзаменом я получил диплом межевого факультета. Переутомлён я был страшно. Конечно, курс геодезии на межевом факультете был гораздо обширней, чем в училище. Но зато в училище мы были гораздо лучше ознакомлены с практической стороной предмета. Практических занятий было больше, инструментов много, специальный техник учил нас собирать и разбирать инструменты, проверять; считалось, что на изыскательских работах мы будем предоставлены самим себе.

В училище мы учили всё по-русски, на факультете по-чешски, названия деталей инструментов были другие, допускаемая погрешность иная. В перегруженной моей голове получилась путаница. А что если на экзамене я запутаюсь? Я, который привык всё отвечать на отлично, да ещё теперь, когда имею диплом межевого факультета. Не могу этого допустить, решил я. Не буду сдавать экзамен, должны мне засчитать. Покажу им диплом. Решив это, я уж и не открыл русский курс геодезии, а в день экзамена явился к директору училища и заявил, что сдавать экзамен я не намерен. Он на это мне ответил, что учебный устав училища требует сдачу экзаменов по всем главным предметам, что

засчитать экзамен мне не могут. Я сразу выпалил:

– А я экзамен сдавать не буду.

– Не будете сдавать экзамен, так не получите отметку, а без неё мы не сможем вам выдать диплом, – ответил директор.

– Не получу, так не получу, – дерзко ответил я.

Поклонился и ушёл из училища, уехал домой в Увалы, где тогда жил с Лисенко. Приехал домой, недовольный собой и всеми, но свою ошибку не хотел признать. Валяюсь на кровати, жду, когда вернётся с экзамена Лисенко. Мучаюсь. Кто-то пришёл. Не Лисенко, а генерал Семёнов, надзиратель училища (а нас, трёх-четырёх отличников, он звал не по фамилиям, а по именам и отчествам):

– Николай Александрович, учебный комитет решил, что не будет вас экзаменовать по целому курсу геодезии, а лишь по той части, в которой разбирается роль геодезии при изыскательских работах, связанных с постройкой железных дорог. Экзаменовать вас будет профессор Юренев. Экзамен уже кончился. Юренев вас ждёт в кабинете директора. Одевайтесь. Едемте!

Гора свалилась с моих плеч. Не диплома мне было жаль. Жаль было так неславно разлучиться с училищем, с которым я сросся. 
И в то же время я был бесконечно благодарен учебному комитету, который так тактично решил вопрос с ребяческой заносчивостью, глупостью, проявленной мною.

Павел Павлович Юренев встретил меня приятельски в кабинете директора, который уже ушёл. Мы уселись, и он мне живо, интересно начал рассказывать, с какими трудностями ему приходилось встречаться, когда [надо было] подготовиться к началу изыскательских геодезических работ, предшествующих любой постройке новой железной дороги. Рассказал, какой материал нужно было для этого раздобыть, где найти всё это. Всё зависело, конечно, от того, в каких местах необозримой России намечалась постройка дороги. Ему было приятно вспоминать далёкие молодые годы, а мне – интересно его слушать. Он очень мило со мной простился, а когда через несколько дней я пришёл за дипломом, ни директор, никто другой не намекнул мне на инцидент, которого я стыдился. Вот и второй диплом в кармане.

Ещё собираемся в училище. Обсуждаем: что теперь? Человек пятнадцать получили работу на тех постройках, где провели

практику. Человек пять собирались уехать сразу же в другие государства, где имели надежду получить работу: в Сербию, Францию (колонии), Румынию. Для остальных вопрос этот был ещё совсем не решён, в том числе и для меня.

Как раз встретил я Глувчинского (его я уже вспоминал). Он окончил наше училище за год до нас, приехал за чем-то в Прагу из Братиславы, где уже служил.

– В Словакии больше возможностей найти работу, чем здесь. Я возвращаюсь завтра вечером. Пробуду в Братиславе дня два. Познакомлю с братиславской русской колонией, оставлю вам сарайчик, в котором я живу, и поеду дальше на восток, где теперь временно работаю.

Как всегда, так и на этот раз, я решил сразу: еду. Подсчитал деньги: хватит на покупку на толкучке подходящего костюма, пальто не надо, ведь уже апрель, а Глувчинский говорит, что там много теплее, чем в Праге. Останутся деньги на дорогу и пятьдесят крон на первые дни в Братиславе.

Нашёл Тавочку и Котю, попрощался с ними. Тавочка уже тогда была замужем и ждала ребёнка, как раз получила известие о смерти



дяди Коли в Сороках. Поплакали вместе. Я его очень любил, то был хороший, благородный, честный тип русского знающего врача, бессребреника, которого теперь не встретишь.

Все мои вещи уместились в небольшой чемоданчик, и – прощай Прага. Прощайте, чехи, сверстники наших отцов, русофилы, старая чешская интеллигенция, принявшая нас как своих.

Прага – красивая, средневековая, среднеевропейская столица. Позднее несколько раз я приезжал в Прагу в отпуск навестить Тавочку и, имея больше свободного времени, оценил город по достоинству.

Прощаясь с Прагой, я прощался и с тем периодом своей жизни, когда я жил почти исключительно в кругу русских и интересами как зарубежных, так и оставшихся на родине земляков. Кроме двух-трёх квартирных хозяек, десятка профессоров и ассистентов, нескольких студентов-чехов, проживая в центре чешской культурной жизни, я совершенно не вошёл в жизнь коренных обитателей Чехословакии.

Первые месяцы я провёл в интенсивных поисках возможностей продолжить учение, чтобы стать на ноги. Учился я в двух

школах одновременно, и на учение у меня уходило всё время, кроме того, что было необходимо для сна и передвижения на учёбу и обратно домой. Получая неполное пособие, подрабатывал в ночное время черчением. У большинства русских студентов-эмигрантов жизнь сложилась более удачно. Я приехал в Прагу позднее других, когда пособие стало трудней получить, да и поздней осенью, когда приём в школы был уже закрыт. Многие русские попали в Прагу уже в 1921 или 1922-м году, и не было у них такой спешки, как у меня.

Вспоминаю это потому, чтобы оправдать себя в том, что жизнь чехов прошла мимо меня. Прожили мы в Чехословацкой республике четыре пятых нашей осмысленной жизни, а ассимилировалось нас очень мало. Особенно это заметно для уроженцев центральной России – жителей главных российских городов. Иное дело украинцы... С мыслями ближе познакомиться с приютившей нас страной я и уезжал из Праги. Впереди, казалось, была ещё целая жизнь. Мне было двадцать девять лет.

Прошло с тех пор пятьдесят пять лет. Этим пятидесяти пяти годам я посвящаю лишь одну главу, потому что в ней меньше конфликтных ситуаций, потому что она прошла на глазах моего сына и ему известна. Первое знакомство со Словакией, жизнь в течение года в Братиславе, потом двухлетнюю жизнь в Микулаше я опишу ещё довольно подробно. Ещё двадцатитрёхлетнюю жизнь в Мартине с 1929 года по 1952, кочевую жизнь за 1953–1954 годы, а жизнь теперешнюю, братиславскую, уже совсем не буду вспоминать, вернее описывать.

## Словакия.
## Конец марта 1926 года

В кармане оба моих диплома и очень мало денег. Перспективы получить работу в Праге и вообще в Чехии ничтожны.

– Поезжайте со мной в Словакию, там инженеров и техников мало, работа найдётся, – зовёт меня А.К. Глувчинский, которого я хорошо знаю и по железнодорожному училищу, и по межевому институту.



Он уже почти год там жил и работал.

– Завтра я возвращаюсь в Братиславу, побуду там дня два, а потом поеду на работу на юг Словакии. Познакомлю вас с братиславской русской колонией, оставлю вам на попечение сарайчик, в котором я живу, со всем барахлом и постелью.

Глувчинского мало кто любил за его беспокойный, неуравновешенный характер. Кадровый офицер, он провёл на фронте всю мировую войну и всю гражданскую. Был первопоходником. Воевал, значит, шесть лет. Был три раза разжалован в солдаты, но опять за храбрость восстановлен в правах. Это одна сторона медали, а вот другая.

Попав какими-то путями в Прагу, решил учиться. За десять лет до того он кончил среднюю школу, а жизнь [за это время] помогла ему выветрить все приобретённые в школе премудрости. Но упорство, характер он всё же не пропил. Засел за книги и положил в карман те же два диплома, что я. Разница была лишь в том, что я высшую математику и механику имел в голове из России, а он о них не имел понятия. Правда, ему пришлось теперь на учение затратить времени в два раза больше, чем мне, но «шапку долой» перед буяном, «пропащей» головушкой! Я ему симпати-

зировал, а он мне платил дружбой. Уехать с ним я не успел, но на другой день я его быстро нашёл в братиславской ИМКА*.

Я дремал у биллиардов в кресле, когда услышал знакомый голос:

– А вот тресну вас по голове кием, так научитесь играть!

Не ошибся, был то Глувчинский.

Он до вечера обошёл со мной видных членов русской колонии, потом на «Пропеллере» мы переехали на другую сторону Дуная в Петержалку, там он завёл меня в свой сарайчик, вполне сносный для житья. Сарайчик принадлежал остаткам какого-то лагеря (видно, военнопленных), которыми заведовал какой-то русский по фамилии Колесников. Познакомив меня с ним, Глувчинский тоном, не терпящим возражения, заявил, что я буду жить в сарайчике, пока он в отъезде. Возражения Колесникова отверг, заявив, что два раза за сарайчик сдирать деньги он не даст. Отойдя прибавил:

– Я ему вчера за сарайчик заплатил деньги на месяц вперёд. Мерзавец, я ещё ему морду набью.

Прекрасно выспавшись на новом месте, я утром начал действовать. Обошёл все частные технические фирмы, предлагая свои услуги, но и два диплома не помогли. Когда искал в телефонном каталоге адреса фирм, натолкнулся на фамилию Авенариус: «Фирма Авенариус, Петержалка». Первый раз за границей встретил свою фамилию. Пошёл туда. Попал в кабинет заведующего, который мне указал на портрет бородатого солидного господина и заметил, что это основатель фирмы, умерший лет шестьдесят тому назад и не оставивший потомков. Делать мне там было нечего, и я ушёл.



Побывал я и в русской православной церкви, которая тогда была на Конвентной улице в здании евангелической школы, где познакомился с большинством русской колонии, которая состояла в то время из тридцати-тридцати пяти человек, считая студентов недавно открывшегося медицинского факультета. С устройством на работу ничего не выходило. Правда, в ведомстве министерства финансов меня принимали на службу по моему чешскому межевому диплому, но... с наступлением 1 января будущего

* YMCA (Young Men's Christian Association – Христианская ассоциация молодых людей) – одна из крупнейших молодёжных религиозных организаций в мире.

года, а теперь было начало апреля. Объяснили, что ассигнования на новые работы будут получены только тогда. А денег оставалось буквально несколько крон. Одолжить деньги? Я никогда не одалживал. Давал другим, но и в прошлом, и потом в будущем занимать мне было как-то совестно.

А тут вдруг в Петржалке подвернулся один из русских, видно, из военнопленных. Он уже женатый, работал мастером на какой-то фабрике, купил или получил небольшой участок земли и сам строил себе домишко. Взял теперь на неделю отпуск, чтобы подогнать какую-то работу на постройке, и искал подручного. Десять крон в день на всём готовом. Меня это устраивало, и недельку мы с ним честно поработали. Сначала я уставал, а потом привык. Через неделю шестьдесят крон у меня были в кармане — ведь я и папиросы получал от работодателя.

В один из последних дней работы я на постройке познакомился с русским инженером Михайловским. Казак, видно, из одной станицы со строящим, он зашёл посмотреть на работу земляка. Он как-то держался мимо русской колонии, ведя знакомство больше со словаками и чехами. Узнав моё положение, дал



адрес одного чеха-инженера, производившего крупные работы по мелиорации земли и регуляции потоков. В ближайший свободный день я был у него в земледельческо-техническом ведомстве и сразу же был принят на спешные работы по реконструкции Дудважеских осушительных сооружений.

[И вот] еду в село Бучаны с одним чехом-техником на геодезические работы по реконструкции. Жалование небольшое, но на всем готовом у председателя Дудважского дружества.

Два месяца, день изо дня, я с рвением отдавался работе. Техник был не из приятных, но дельный и многому меня научил. С этого времени я в продолжение пятидесяти двух лет никогда не был без работы. Проработав два месяца в поле, вернулся в Братиславу, приоделся и [выглядел] не хуже остальных членов русской колонии (при приезде в Братиславу ходил если не оборванцем, то недалеко от того).

Нашлись приятели, был всюду как дома, канцелярская работа сменялась полевой — жить стало хорошо. В конце лета нахлынули в Братиславу из Праги и Брно только что кончившие в летнем семестре русские инженеры всех специальностей и тоже начали как-то устраиваться; главное — строители и межевики.

*Братислава. 1920-е гг.*

Русских стало в Братиславе больше, пожалуй, вдвое. Но это касалось лишь мужской молодёжи, русских барышень как было шесть, так и осталось, да к тому же две из них, дочки отца Сергия, собирались переехать с отцом в Париж и братиславчанами не особенно интересовались. Правда, к такому преобладанию мужского населения над женским мы привыкли в Праге, где русских девушек было раз в пять меньше, чем молодых людей.



Из братиславской жизни того времени вспоминаю: заложение Галлиполийского землячества из восьми человек, включая меня. В сороковых годах в землячестве стало человек шестьдесят. [Вспоминаю] встречу генерала Кутепова и торжественный обед, устроенный в «Карлтоне», на котором, кроме почти всей русской колонии, участвовали и виднейшие представители чехов и словаков.

Капитан Шлехта, служивший в братиславском пехотном полку, привёл полковую музыку, под которую мы и танцевали до утра. Вспоминаю я и встречу нового 1927 года. Признавали мы тогда ещё старый календарь, по которому праздники и встречали.

Разошёлся как всегда майор Орсаг, муж Веры Николаевны, самой популярной, деятельной, добрейшей души, русской представительницы Братиславы. Потом прожила она в Братиславе

ещё шестьдесят лет. Попал я в их компанию и пришёл домой сильно «подшофе», часов в шесть утра, а в восемь я должен был ехать со своим высшим начальством на ревизию проводимой мной постройки дамбы.

Помню, придя домой и не снимая пальто, я сел, с тем, чтобы через полчаса встать и пойти на вокзал. Облокотился на стол и проснулся только около обеда. Ехать уже было поздно. На другой день пошёл с повинной головой к начальству. Только объяснение, что встречал я наш Новый год да в кампании с майором Орсагом, помогло отделаться лишь головомойкой.

В это время я получил от финансового отдела запрос, почему я не поступил к ним на службу, на которую претендовал в апреле. А я об этом совсем и забыл. Теперь мне давали новый срок на начало февраля, когда я должен явиться на Мерацкий урад в Липтовском Микулаше.

Теперь я не помню, почему я решил оставить свою службу в Братиславе, расстаться с русским обществом, в котором так хорошо себя чувствовал, и поехать в Микулаш. Видно, как всегда, я и в этом случае решил этот вопрос под каким-то мимолётным



настроением. Возможно, что привлекли меня Татранские горы, возможно – желание ближе познакомиться со Словакией, возможно и то, что я считал тогдашнюю мою службу в техническом ведомстве непрочной, не имеющей перспектив. Вполне возможно, что служба в Микулаше, где я в течение шести летних месяцев буду всё время не в душной канцеларии, а на свежем горном воздухе, да за это время получать почти двойное жалование, что давало возможность материально помочь сестре, которая начала строить в Бессарабии домик для себя и мамы, взяла верх.

(Действительно, в конце лета мне удалось переслать Оле четыре тысячи крон – двадцать тысяч лей, и домик был поставлен).

## Липтовски Микулаш

Как бы то ни было, я коренным образом изменил свою жизнь и 1 февраля очутился в Липтовском Микулаше.

Приехал вечером, остановился в гостинице и утром вышел посмотреть город. Небольшой, скорей совсем маленький город, занесённый снегом. Площадь, пара каменных домиков – ну, Молога.

Хорошо, что к провинции я привык с детства, поэтому не растерялся. Хорошо было и то, что дом, где я должен был служить, был недавно построен, со всеми удобствами, центральным отоплением, светлыми, удобными канцеляриями.



Приняли меня очень радушно и в тот же день нашли для меня хорошую комнату с отдельным входом, куда я перебрался со всем своим имуществом, увеличившимся за время жизни в Братиславе.

Был у меня уже приличный рабочий костюм, костюм для парадных случаев, летнее и зимнее пальто, т. е. внешне я ничем не отличался от окружающих меня служащих – чехов и словаков. Вернее сказать просто – чехов.

Чехи в то время преобладали среди служилой интеллигенции в Словакии. Будучи почти тысячелетие под мадьярским игом, они не только не имели своих высших школ, но даже средних. Гимназий было две-три, и то часто закрываемых и вообще едва терпимых. Восемьдесят процентов служащих были мадьяры, государственным языком до образования Чехословацкой республики был венгерский. Мадьяры ушли, на их места пришли чехи. Даже такие должности, как почтальонов, приходилось занимать чехам.

Так, в учреждении, куда я попал в Микулаше, из десяти семро были чехи. Правда, всюду были вывешены объявления,

*Липтовски Микулаш, костёл Св. Николая*

призывающие говорить по-словацки, но достичь этого сразу было, конечно, невозможно. Говорили по-чешски, то же самое было, конечно, в Братиславе, но я это как-то не замечал. В чешскую свою речь я вставлял и русские слова. Постепенно я стал замечать, что микулашская интеллигенция в свободное время собирается так, что в одних местах сходятся чехи, а в других — словаки.

Особое место занимала группа чехословацких легионеров. В 1921 году вернулись из России (через Сибирь) легионеры. В России были тысячи и тысячи австрийских военнопленных-чехов. Из них в 1916 году был в России создан чехословацкий легион. Он должен был быть направлен на фронт против немцев и автрийцев. А в это время был Советами заключён сепаратный мир. Чехи тогда решили пробиваться через Сибирь в Европу, где создавалась Чехословацкая республика. При этом их вооружённым частям пришлось вмешаться в гражданскую войну белых и красных в Сибири. Белой армией командовал адмирал Колчак. По поражении Колчака легион через Владивосток добрался до созданной Чехословакии. Деморализованные легионеры расселились по всей Чехословакии. Человек шесть попали в Микулаш, почти все они женились в России; русских жён, а некоторые и детей привезли с собой. Все они сильно обрусели, дома говорили по-русски. Русские жены (очень разнообразных категорий) вели дома по-русски, и я скоро со всеми перезнакомился.

На службе было много работы. Был порядок и дисциплина. Хотя работа была малоинтересна, я работал очень усердно и скоро выдвинулся в число наиболее успешных.

Но вот свободное время девать было некуда. А я в те времена был очень общительный и проводил свободное время в компании легионеров и их жён. Гостеприимный был народ, но очень все любили выпить. И дома выпивали, и вечером в ресторанах.

Война, плен, пребывание в легионе сделали своё дело, создали тип «забубённых головушек». Любили они петь русские песни того времени, кончая всегда песней о Стеньке Разине.

Вспоминаю, с какой бесшабашностью, удальством они пьяными голосами, надрываясь, прямо ревели: «И за борт княжну бросает в набежавшую волну». Во всех пирушках принимал участие и я.

Но в среду словаков, державшихся очень замкнуто и, я бы сказал, с известным высокомерием («мы здесь хозяева»), мне не удалось попасть. Друзей-чехов я имел достаточно на службе, но и с ними не находил общего языка, как они не находили ничего общего со словаками. Ведь прошлое у них было совершенно разное.

Так прошла первая зима и весна в Микулаше – безалаберно, никудышно. Уезжая из Братиславы в Микулаш, я представлял себе всё иначе. Не скрываю, что тогда лелеял мысль, что в словацкой среде, более близкой по языку и нравам к нам, русским, я скорее найду подругу жизни. Ведь мне уже было тридцать лет.

Я уже упоминал, что на пять русских эмигрантов приходилась одна русская девушка, так о русской невесте можно было 
только мечтать. Здесь, в Микулаше, пришлось мне пережить одну из первых неудач. Эта неудача очень характерная, и я о ней расскажу.

Летом я работал в районе деревни Вышна Боца. Воскресение я проводил в окрестных горах и так попал на Дубомир, где как раз было открытие первой большой горской хаты. Была масса туристов. Можно сказать, что почти все без исключения были или чехи, или мораване. Словаки тогда ещё совсем не интересовались туризмом.

Здесь я встретился с одним русским из Градка, пришедшим с большой компанией лесников. Была среди них и весёлая-превесёлая блондинка, первый раз попавшая с моравских равнин в живописную обстановку Низких Татр. Было у меня хорошее настроение. Были деньги. Два фиguранта раздобыли пару бутылок вина, я легко вошёл в компанию лесников и сразу же влюбился в Златицу – так звали певунью и хохотушку, полную весёлости и смеха семнадцатилетнюю девицу. Спускаясь с Дубомира вместе с компанией, я не отходил от неё, и при расставании мы обменялись адресами. Последовала долгая переписка. Жила

она в небольшом моравском городке Товачеве, в котором её отец был начальником железнодорожной станции. Кончилось это тем, что на Рождество я был позван к ним в Товачев.

Предварительно обо мне были наведены справки в Микулаше. Как все в маленьком городке, о них (т. е. о наведении справок) узнал и я. Поехал. Встретили меня очень радушно. Отец — милейший человечек, морав, такой уютный, милый — в семье не имел слова. Всё было в руках жены. Представительная дама, знавшая себе цену. Говорила хорошо по-моравски, но во всём чувствовалась немецкая порода, воспитание. Был ещё у Златицы брат, лет на пять моложе.

Сочельник был встречен очень торжественно, с подарками, которые получил и я. Дома Златица была уж не таким сорванцом, как там на Дубомире. Чувствовалась сильная рука матери, которая дочку держала строго. Очень мне нравилось, как пела Златица модные романсы, аккомпанируя себе на стареньком рояле. Мамаша подвергла меня точному и подробному допросу. Мне кажется, что мои осторожные и взвешенные ответы её удовлетворяли.



Но нас с Златицей почти ни на минуту не оставляли одних, что мне не особенно нравилось. На третий день праздников мы с Златицей поехали в соседний город, где я решил купить ей подарки. Мать позволила. О подарках, конечно, не было речи. Приехали и купили то, что мне было по вкусу и Златице. Купил я лорнет (Златица была немного близорука, но не хотела носить очки) и гитару. Хорошую, уж не помню — семиструнную или нет. Златица хотела выучиться петь под аккомпанемент гитары русские романсы, и я от этого был в восторге. Сделав покупки, мы сразу же вернулись обратно.

Матери Златицы не было дома, и привезённые подарки были показаны отцу. Он посмеялся над ними, сказал, что лорнет очень идёт Златице, а под аккомпанемент гитары он с удовольствием будет петь моравские песенки. Другое впечатление произвели подарки на вернувшуюся мамашу. Она умела себя сдерживать, но всё ж не могла скрыть своего удивления и неодобрения купленными подарками. На другой день я уезжал, и Златица успела мне сообщить, что выбранные мною подарки, по мнению матери, свидетельствуют о моей расточительности и легкомысленности.

При этой первой поездке к родителям Златицы я по её указанию, которое несомненно [повторяло] приказ матери, не сделал формального предложения, но по всему мне было ясно, что в следующее моё посещение – на Пасху – я могу сделать его с уверенностью, что оно будет принято. Попрощались мы сердечно, но опять не было возможности попрощаться с будущей невестой наедине.

Переписка продолжалась. На свой день рождения я получил в подарок прекрасный бумажник с монограммой и наилучшие пожелания. Вскоре после этого я был в Праге (сдавал экзамены по предметам второго государственного экзамена). Страшно хотелось на обратной дороге попасть хотя бы на несколько часов в Товачев, но он лежал не на пути, а сделав заезд туда по железной дороге, я бы не мог вовремя вернуться на службу.

В те времена на опоздание смотрели строго. Разобравшись лучше с расписанием поездов, я понял, что если с какой-то станции возьму такси до Товачева, то успею вернуться к утру поездом на Микулаш. Прикинув, что это будет стоить около двухсот пятидесяти крон, решил использовать эту возможность и принести радость себе и Златице.



Задумано – сделано. Заплатив и отпустив такси, я с радостным волнением поднялся в квартиру будущей невесты. Её радости и изумлению не было конца. На вопрос отца, как я мог попасть к ним в такое время, когда никакие поезда сюда не приходят, я объяснил, как добрался и сколько мне это стоило. Отец только посмеялся, Златица всплеснула радостно руками, а мать на этот раз не удержалась и заметила, что я никогда не буду иметь денег. Действительно, для моего жалования (чистыми я получал немного больше тысячи крон) это была порядочная сумма, и я собирался её покрыть с диет, так как весной должен был ехать на полевые работы. Три часа прошли незаметно, меня напоили и накормили и дружески проводили. Пасха была не за горами. За неделю перед праздниками я накупил «красных яичек» и ждал дня, когда опять попаду в Товачев.

За несколько дней до намеченного отъезда на праздники в Товачев я получил заказное письмо от Златицы, в котором она мне сообщала, что по настоянию матери она с ней уезжает на праздники к сестре матери в... Что ехать туда необходимо по случаю какого-то там юбилея, и потому нам не удастся встретиться

на праздники. Я много раз перечитал письмо, бросал его, снова перечитывал, желая что-то прочитать между строк. Мне не удавалось ни по тону, ни по словам понять переживания, которые владели Златицей, когда она писала это письмо. Я рвал и метал. Окончательное решение было одно. Я поеду в назначенный мной час.

Поехал, и с яичками. Дома застал только отца. Он с сослуживцем встречали за рюмочкой праздник. Когда сослуживец ушёл, я, выпивший с ними тоже несколько рюмочек, услышал от отца:

– Жена решила, что не отдаст за вас дочку. Во-первых, потому, что легкомысленный, а во-вторых, а это главное, что вы постоянно твердили, что смотрите на жизнь в нашей республике как на что-то временное, а будущую жизнь представляете дома, в России. Расстаться с дочерью она не намерена!

Да, я твердил, что здесь я чувствую себя чужим, что все мысли у меня летят на родину в Россию, – это правда. Кто из нас так не думал? Во всяком случае, большинство. Что я не давал отчёта, когда я говорил это матери невесты, – тоже правда. На языке



было то, что в голове. Но понять мать я смог только потом. Тогда я мог только рвать и метать.

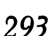
Я уехал на другое утро. Дома собрал все письма, карточки Златицы, присланный бумажник и отослал ей; кажется, написал лишь одно слово «Прощайте».

Переживал случившееся ужасно тяжело. Больше полгода я жил лишь одной мечтой, одной думой – не так, может быть, о Златице, как о новой семейной жизни, о доме, о будущих детях. Этими мечтами я делился с знакомыми жёнами легионеров, приискивал уж и квартирку, мысленно обставил её необходимыми вещами. Я уже жил новой, придуманной мной жизнью. Эта новая, выдуманная жизнь вошла в мою плоть и кровь. И всё это рухнуло.

Первой реакцией стало, что я избегал проходить мимо дома, в котором собирался вить своё гнездышко (так я называл свой будущий домик). Стал избегать и знакомых, с которыми обсуждал будущий семейный уют. Одновременно с этим я послал в Братиславу извещение, что расторгаю свой договор относительно моей службы, но через три месяца, как это требует договор. Скоро после этого приехал из Братиславы мой непосредственный на-

*Липтовски Микулаш. Современный вид.*

чальник и стал уговаривать взять заявление обратно, обещая увеличить жалование и повысить по службе.




В моём тогдашнем настроении я смог только твёрдо настаивать на своём. Удивлённый и раздосадованный, шеф, который ко мне исключительно хорошо относился, наверное, изменив своё мнение обо мне, уехал обратно. Одновременно я объявил непосредственному шефу в Микулаше, что не хочу, чтобы с моим уходом изменился план работ, и что я должен был исполнить за четыре месяца (к началу летних работ), я сделаю до своего ухода.

Я помогал себе, наваливая на себя работу и не давая себе возможности думать о случившемся. Работал, не говоря ни с кем в канцелярии, потом в одиночку гулял по городу, возвращался домой и снова работал. Встречи с легионерами и общие попойки я совершенно оставил. Уходя со службы, я не представлял себе, где получу работу, но это устроилось как-то само собой.

В это время уничтожались «жупы», по-русски – губернии. Организовывались «краи», по-нашему – области. Поэтому происходили разные перемещения учреждений, некоторые увеличивались, некоторые уничтожались. Коснулось это и находившегося в Микулаше мелиоративного предприятия, которое было

переведено из Микулаша в Мартин и расширено. Начальник этого учреждения мне был знаком, он предложил мне место в Мартине. Все вопросы с отъездом из Микулаша, который мне стал вдруг неприятен, были решены. Перед отъездом я почувствовал себя почти успокоившимся. Решил устроить прощание с друзьями-легионерами и их жёнами. Откликнулись все. В ближайшую субботу мы устроили грандиозную попойку. Как я добрался домой – не помню, но утром я проснулся другим человеком. Куда девались мрачная тоска, абсолютное отвращение к жизни, угнетённость? Я ожил, сделал последние визиты, собрал свои манатки и бодрым, почти весёлым поехал в Мартин.

Чтобы кончить с моим безголовым увлечением Златицей, добавлю немного. Не могу вспомнить – ответила ли мне она на моё возвращение ей писем и как. Подробности тех несчастных последних месяцев в Микулаше мне не запомнились. Спустя года полтора, уже в Мартине, я получил извещение о предстоящей свадьбе Златицы, на которое ответил поздравительной телеграммой. Видно было, что они всё ж следили за мной, знали о моём переезде в Мартин. К тому времени всё пережитое казалось мне неприятным сном, от влюблённости и следа не осталось, рана самолюбия зажила. Мать поступила очень разумно. Через год после свадьбы она увезла бы дочку домой, или я приходил бы домой, когда уже все спали.



Переезд в Мартин (где я прожил с 1929 года по 1952 год) совпал с принятием чешского подданства. О нём я начал хлопотать будучи в Микулаше, где и получил уведомление, что буду принят в число граждан города Микулаша.

Декретом советского правительства от 1921 года я был лишён советского подданства, как и все русские эмигранты. Десять лет я жил по так называемому нансеновскому паспорту, действительность которого признавалась всеми государствами. Хуже было с переездом из одного государства в другое. Визы на нансеновские паспорта давались нелегко. Приняв подданство Чехословацкой республики, я сейчас же взял заграничный паспорт и в конце 1931 года поехал к маме и сестре в Румынию. Свою жизнь в Мартине я не собираюсь подробно вспоминать, коснусь лишь главных моментов этого периода моей жизни.

# Мартин,
# 1929–1943

Сначала пару слов о Мартине. Это был совсем другой городок, отличный от Микулаша. Мартин, когда я в него попал, уже был духовным центром словаков.

Здесь была Матица словацкая* — музей с огромным архивом, народный театр, мартинский певчий кружок. В Мартине и его окрестностях жило много словаков, имевших давние торговые сношения со старой царской Россией. Многие из них после Октябрьской революции вернулись в Мартин и открыли здесь магазины, в которых одинаково можно было поговорить по-русски и по-словацки.



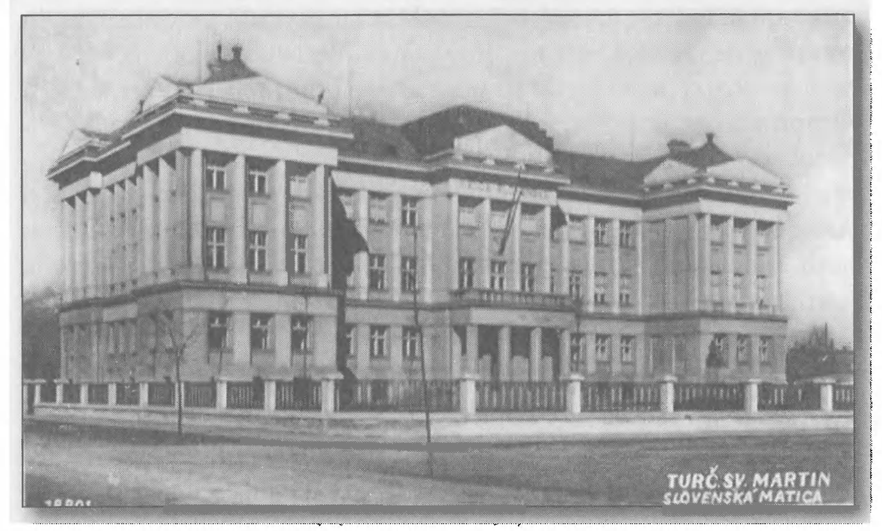
Было много культурных старых русофилов. К моему приезду там уже жили несколько русских эмигрантов, и число их постоянно увеличивалось. Года через три в городе и его окрестностях было человек пять русских молодых врачей и человек десять инженеров, был и русский эмигрант судья Павел Кондратьевич Кирильчук, игравший большую роль в моей жизни в Мартине.

Прослужив два года на государственной службе по-прежнему в роли нанятого на срок техника, я взбунтовался. Конечно, лишь внутренне. Как сын своего отца, как когда-то он, и я решил опробовать свои силы, работая мимо казённой службы, самостоятельно.

Существовала тогда категория «частных инженеров», которые после известных экзаменов и периода практики на казённой

---

* Организация существует и сейчас. Теперь это историко-архивно-музейный центр жизни Словакии, а сам город Мартин — культурная столица страны.




*Мартин. Матица словацкая – культурно-образовательная организация, занимавшаяся проблемами словаков, издавала литературу на словацком языке.*



службе получали право работать самостоятельно на свой страх и риск наравне с государственными учреждениями. За эту самостоятельность они должны были платить особую дань. Практики у меня было пять лет, не хватало одного года. Знаний довольно. Ну, а к экзаменам можно было подготовиться.

В Жилине год тому назад открыл канцелярию мой бывший сослуживец по Микулашу. Поехал к нему. Договорились: он примет меня на службу фиктивно, запишет меня как своего ассистента в инженерной службе. Я буду сам приискивать себе работы в Мартинском районе и других, кроме Жилинского. Сам сделаю все полевые и канцелярские работы, оригиналы и дубликаты, а он их подпишет и даст на них свою печать и своё число. За это я ему дам четверть полученной мной суммы за работу и кроме того покрою из своего кармана все расходы, связанные с налогами, пенсией и т. д. По прошествии года я получу от него удостоверение о службе в его канцелярии и смогу подать прошение в Прагу о позволении мне держать экзамен, необходимый для открытия своей технической канцелярии. Одновременно я в письменной форме отказался от службы.

Отрабатывая полагающиеся по договору три месяца, я приискивал для себя частную работу. Нашёл работу месяца на два не-

далеко от Суловских гор. Правда, вторую четверть суммы по получении я должен был отдать чиновникам банка, который эту работу организовал.

Так что мне оставалась половина заработка. Подсчитал, что и так я заработаю в два раза больше, чем на казённой службе. Правда, я должен буду работать не по семь часов (в то время в государственных учреждениях был семичасовой рабочий день), а по четырнадцать. Работать я был горазд и этого не боялся. Так началась моя самостоятельность. Главным лозунгом жизни было: «Кто не работает, тот и не ест».

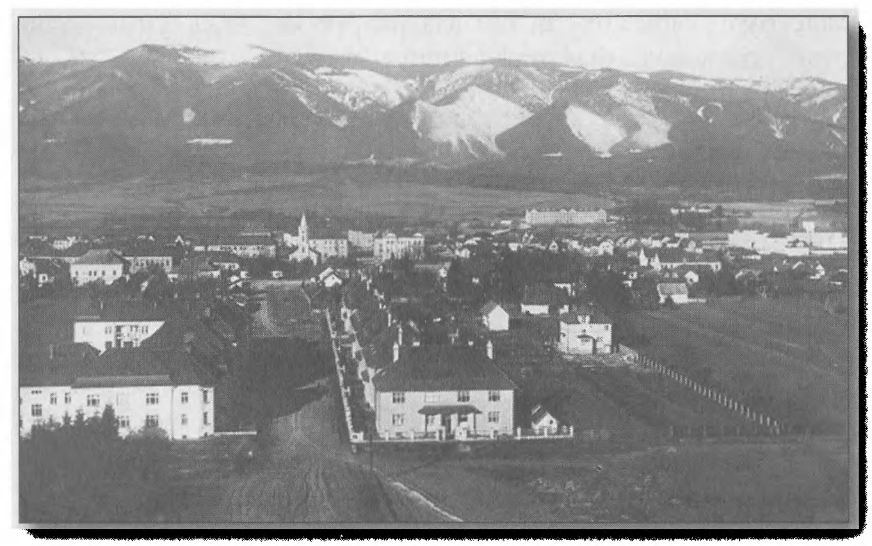
Нанял я двухкомнатную квартирку без всяких удобств в старом доме крестьянского банка, где были всевозможные канцелярии, и моя канцелярия была, как говорится, на виду. Начало было очень трудное.

Кроме меня в Мартине на этом поприще работали ещё три человека. Городской инженер, кроме службы, имел также право самостоятельной работы и брал себе наилучшие. Ещё мартинчанин словак-инженер, очень слабый работник, имея никудышнего помощника по родственным связям и знакомствам, должен был тоже заработать на семью и себя; но этот не окончивший курса инженер, пьяница, очень ловкий, был своим человеком у всех окрестных мадьяров, распродававших остатки прежних владений. Ему с женой и девочкой тоже надо было жить.



Конкурировать можно было только качеством работы, быстротой и точным исполнением в назначенный час. К 1936 году в канцелярии у меня сидели: один русский инженер инвалид В. А. Штром, носивший стальной корсет и используемый мною лишь на нетрудных канцелярских работах, недоучившийся инженер украинец Пустовит и очень смышлёная и быстрая чертёжница и машинистка Гитка. Рабочий день начинался в восемь часов и, с часовым перерывом на обед, продолжался до четырёх часов. Я начинал работать немного раньше, заканчивал часов в девять, а то и в десять.

Канцелярия была обеспечена всеми необходимыми для полевых и канцелярских работ инструментами и приборами; для передвижения был у меня мотоцикл с коляской. На мелких работах, конечно, невозможно было бы заработать необходимые средства, особенно принимая во внимание зимний период, когда все полевые работы останавливались, и потому приходилось



*Мартин, 1934 г. На втором плане костёл св. Мартина.*



стараться получить работу от государства или от учреждений, ведущих земельные реформы, строительство дорог или водных сооружений.

Как-то сводил концы с концами.Постоянное физическое и умственное переутомление и ненормальное питание (больше сидел на холодной пище и к тому же много курил) сказались на здоровье. Нажил желудочную язву. Года три я ей страдал, помогая себе молочной диетой, разными успокаивающими боль лекарствами, но рекомендуемую докторами операцию откладывал.

Свободное время, которого у меня было очень мало, я проводил среди русской мартинской колонии. Так тянулось время до весны 1936 года.

Был я по-прежнему холостяком и вёл безалаберную холостяцкую жизнь. Мысль о женитьбе меня никогда не оставляла, но годы шли, приближалась сороковка, уже не приходили в расчёт молоденькие девушки, а старшими или я не заинтересовывался, или они мной. Русских не было.

Да, позабыл – была одна русская вдова, на год-два старше меня, с десятилетним мальчиком. Всем она мне нравилась, и я ей, кажется, тоже, но при откровенном разговоре она, страшно любившая своего сына, заявила, что больше детей она не хотела бы иметь. А я хотел не только жену, хотел семью.

Я бывал в очень многих тяжёлых положениях, о которых писал в своих заметках, но меня всегда в последний момент выручала какая-нибудь случайность. Везло мне в жизни. Так повезло и в этом случае, когда, можно сказать, я уже не надеялся, что создам семью.

Жила в Мартине семья почтового чиновника-морава Франтишка Мнячко из соседнего со Словенском Валашка. Его очень любили все сослуживцы, называя «наш отецко». Жалование очень маленькое, потому что и пост он занимал невысокий, а детей пять человек. Только удивительной работоспособностью, всесторонними способностями его жены, её энергией и внутренней интеллигентностью удалось удержать семью, не дав детям притом ощущения бедной приниженности.

Весной 1936 года вторая по возрасту дочка, двадцатичетырёхлетняя Ярослава-Катерина, работавшая перед тем лет шесть в мартинской аптеке г. Бодицкого, гостила в Новых Замках у своей замужней сестры Власты, старшей её года на четыре. Муж её, мой земляк, хохол Иван Филиппович Раздобудько был очень обаятельный человек. Очень высокого роста, прекрасно сложенный, красивый, действительно красивый, имел прекрасный характер – мягкий, податливый, спокойный, радушный, в то же время был хороший работник. Он имел ту же специальность что я, и как раз тоже бросал службу и приготовлялся открыть свою канцелярию. Был у него один-два товарища, тоже русские, покладистые, весёлые. 

В эту компанию попала и Яра (так я буду её теперь называть, как её называли дома). Для неё это была совсем новая компания. Попала она совсем в другую атмосферу, живую, непосредственную, которая ещё, кроме того, озарялась счастием сестры Власты. Всё это зародило у неё симпатию к русским людям, с которыми она раньше не встречалась. Вернувшись потом домой в Мартин, она ближе познакомилась с живущими рялом русскими – москвичами Скворцовыми. Зайдя случайно к Скворцовым, я познакомился с Ярой. Она перенесла свои симпатии к русским на меня. Яра очень красивая девушка с хорошей фигуркой развивающейся женщины. Конечно, я старался показать себя в привлекательном виде.

Помню, в начале мая мы с Софией Евлампиевной и её дочками (и с Ярой) пошли в лесок под Страни. Сели там отдохнуть, развели костерок. Так ловко Яра раздувала огонь, сервировала нам чай с закуской. Этим завоевала меня совсем.

26 июня была наша свадьба гражданская, после которой мы поехали в турне Братислава–Брно–Прага. Бракосочетание по православному обряду было совершено позже, когда в Мартин приехал наш православный епископ Сергий. Семья Николая Александровича Авенариуса была заложена.

15 мая 1942 года в Мартине же родился первый представитель словацкой линии Авенариусов. К тому времени создалась у нас с Ярой чисто русская семья. Яра научилась готовить русские кушания, делать варения, говорить по-русски, знала почти все русские песенки. У неё оказался очень хороший голос и слух; и раза три-четыре в год, при приезде к нам на богослужение русского батюшки, она была одной из успешных хористок русского церковного хора. Влечение к русским людям, которое зародилось в Новых Замках, привело к тому, что мы друг друга нашли, а в последующие годы оно у Яры ещё увеличилось. По слову всегда остроумного Павла Кондратьевича, «Ирина Фёдоровна (так в нашем русском обществе звали Яру) совсем русская, только ботинки у неё от Батю». В день свадьбы я бросил курить, нормальные домашние обеды и ужины излечили мою язву; теперь

я её не чувствую, могу солонинкой и водочкой побаловаться.

Взял я большую работу – землеустройство (уничтожение чересполосицы) деревни Подкилава, лежащей далеко от Мартина, близ Пьештяны. Там много было работы, много ушло сил, а денежный эффект был мал. Работал я на ней чуть ли не десять лет, стоимость денег падала скорей, чем повышалась цена работы. Так пришёл 1938 год с его тревогами за судьбу Чехословакии, а потом – отделение Словакии, образование Словацкого государства под покровительством всемогущих немцев. На этом периоде моей жизни придётся опять задержаться, так как моя неспокойная натура нарушила нашу налаженную семейную жизнь.

В конце 1943 г. стало ясно, что немцам не удастся покорить все остальные народы, а в Словакии начали образовываться отдельные группы людей, готовящихся к противодействию немцам-захватчикам. В Мартинском округе их организовывал майор Жингор (тогда ещё поручик). Призванный в ряды словацкой дивизии, отправлявшейся на русский фронт на помощь немцам, он не явился в дивизию, а укрылся в Мартинских лесах, тянущихся от Мартина к вершинам Низких Татр. Около него стали собираться и другие.

# Мартин, война, 1943–1945

Основой так возникшей группы «Отпор» стали русские пленные, бежавшие из немецких концентрационных лагерей. К русским военнопленным немцы относились прямо по-зверски, смотря на них как на скот. Тем немногим, кому удавалось вырваться из лагеря и не быть пойманными, находился приют в пограничных лесах, отделявших Моравию от Словакии. Отсюда они просачивались и в окрестности Мартина, население которого было, как я упоминал, русофильское.



Среди русских я был самый популярный, т. к., особенно в последние годы по отходу чехов, все почти геодезические работы проводил я, так что полицейские Мартина всех бормотавших что-то по-русски направляли к моей канцелярии. Я им помогал материально (мой достаток был немного выше остальных русских): одевал, кормил, давал возможность переночевать у меня в канцелярии, а потом перепровождал в лес к Жингору или устраивал у кого-нибудь из знакомых крестьян.

Жил в то время в Мартине Владимир Иванович Ершов, сын богатейшего промышленника-москвича, старше меня года на два. Он по окончании института восточных языков (владел персидским, арабским) служил краткое время в Персии, потом попал в Константинополь, затем в Брно и, наконец, – в Мартин. Незаурядный человек с большими способностями, огромной памятью и фантазией. Он очень сдружился с Вилом Жингором, стал постепенно самой видной особой в Мартинском народном восстании, обходя все деревни окрестности, насаждая дух сопротивления немцам, а потом организуя заготовку продуктов для будущих

партизан. Он, Горар Фримел и Бибза с Борсовей были наиактивнейшими помощниками Жингора. Подкилава, где я в это время проводил почти всё лето, лежала близ моравско-словацких границ, где собирались русские, бежавшие из плена.

Ну, а я всегда был там, где были русские. Постепенно русачков переправляли из пограничья на выход к Прешову. Организовывал переправу Ян Репта из Подбрезовейда, и я этим занялся. Едем домой в Мартин, возьмём двух русачков, одному дам пустой ящик от геодезического инструмента, другому трассирки. Прикажешь, чтобы не болтали, и так довезёшь их до Мартина. А там через Ершова, который всегда знал, где в это время была группа Жингора, к нему.

Получилось так. Репта вывез трёх русачков из пограничья в Прешов. Оттуда можно было добраться до русско-немецкого фронта. Привёз; здесь узнал, что дорожки, по которым можно было перебраться в прифронтовую область, немцами перехвачены. Ершов отказался забрать привезённых русачков.

Повёз их Репта обратно. Двух из них я знал. Атлетического сложения парни, интеллигентные. Приходилось мне их перед



тем угощать не то вином, не то сливовицей. Знали они, что я из Мартина, и уговорили Репту, чтобы он не вёз их обратно в пограничье, а завёз в Мартин. Репта, который слышал о Жингоре, согласился.

Вот они и очутились вчетвером, считая Репту, у меня. Отвёл я их всех в лес к Жингору, познакомил Репту с Ершовым и Жингором. Скучно показалось житьё этой троице (Репта уехал) в лесу и стали чуть ли не каждый день наведываться в город. К кому? Конечно, ко мне. То побриться хотели, то выпить. Водил я их и в корчму. Многие мартинчане догадывались, кто они. Но настроение большинства, огромного большинства было против немцев, так что провожали нас с улыбочкой.

Небольшое число гардистов*, что было в городе, чувствуя себя в меньшинстве, молчали, ждали случая. Случай нашёлся. Пришли все трое. Двух – Павла, русского самородка, красивого, статного, да Николая грузина – знал, интеллигентные были парни. Неясно только мне было, как эти два молодца сохранили в условиях немецкого плена свою непринуждённость, свою физическую све-

---

* жандармов оккупационной службы

жесть. На вопросы о плене отмалчивались, отделывались смешком. В те времена ещё не было понятия о высадках, сбрасываемых с аэропланов русскими. А они-то и были десант. Третий, Валентин, был паршивый человечек и по внешности, и по нутру.

Так этот Валентин в последний приход рассердил меня. Одеты они все были пристойно. Ему, видно, пиджак был коротковат. Как бы то ни было, из-под полы торчало дуло нагана. Сказал я ему, что так нельзя ходить по городу, что так я его к себе не пущу. Он дерзко возражал, и кончилось тем, что я предложил ему свой маленький браунинг.

– Если не можешь ходить без пистолета, так возьми этот, не будет виден в кармане.

Браунинг ему понравился, сделка состоялась. Скоро все трое ушли. Дорогу в лес они хорошо знали, я их не провожал. Вечером у нас было много гостей. Приезжал из Братиславы батюшка, служил литургию, у нас обедал, а потом собрался у нас хор и церковное попечительство.

Павел Кондратьевич запоздал. Придя, отозвал меня в сторону, рассказывает:

– Сегодня после обеда на дороге из Быстрички в лес произошло небольшое сражение между двумя жандармами и тремя партизанами. Один жандарм, заядлый гардист, был убит, один русский ранен в живот, другой, убивший гардиста, скрылся, а третьего привели к нам.



Сразу сообразил, что это могли быть мои приятели. Чёрт их побрал! Передал ещё, что при арестованном нашли пистолет. Рассказав, Павел Кондратьевич поспешил в суд за новыми подробностями, а я вернулся к гостям. Через часок вернулся Павел Кондратьевич и сообщил уже недоброе. Тот третий, что не стрелял, получил пару затрещин и заговорил. Нашедшийся у него маленький браунинг он, мол, получил от русского инженера, и перековеркивая назвал мою фамилию.

Яра знала первые тревожные слухи и была как раз при мне, когда Павел Кондратьевич сообщал последние новости. Втроём мы решили, что лучше мне исчезнуть из Мартина. Гости разошлись, а я, забрав больше, чем обыкновенно, с собой денег и белья, поздно вечером пошёл пешком до Вруток, а оттуда ночным поездом уехал в Подкилаву. Дома осталась жена с прислугой Маней и двухлетним Сашиком. Скоро после моего ухода нагрянули

гардисты с обыском. Было их много, держались грубо, перевернули весь дом, искали оружие. Его у меня не было. Зато нашли и унесли всё, что было принесено мартинчанами для скрывающихся русских из одежды. Многое я уже раздал, но ещё оставалось много. Мартинчане были щедры, особенно – меховщик Тяхунь.

Беспокойная это была ночь для жены. Узнала она, что значит иметь мужа, который часто лезет, где могли обойтись и без него. Таких ночей впоследствии жена пережила ещё много. На другой день она была у начальника округа, нам лично знакомого, и у будущего заместителя председателя совета министров Урсини.

Оба Яру успокоили тем, что, по всей вероятности, удастся устроить так, что о случившемся не будет доведено до сведения немцев, что значило бы вмешательство немецкого гестапо. Если это удастся, дело перейдёт в руки словацких учреждений. Ну, тогда мне грозит лишь концентрационный лагерь в Илаве, а не отправка в Германию и суд там. В тот же день Яра попросила моего помощника Штрома поехать в Подкилаву и передать мне, что меня ожидает.

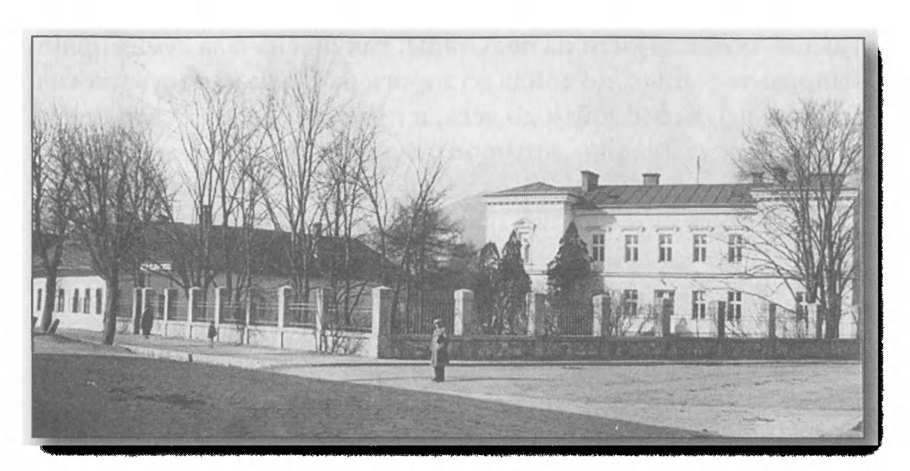


Приказ о моём аресте должен быть выдан Братиславой. Я решил, пока это ещё не случилось, поехать домой и узнать подробности. Не раздумывая долго, я двинулся в Мартин. Дня через три после перестрелки, опять-таки поздно вечером, пешком пришёл из Вруток в Мартин. Здесь я узнал, что раненный в живот Николай лежит в городской больнице. Захотелось мне его увидеть.

На другой день, когда стемнело, я пробрался в больницу, в которой имел много приятелей. Главным привратником был чех. Имя его никак не могу теперь вспомнить. Но я знал, что он сочувствует организации Жингора. На мою просьбу устроить мне свидание с Николаем он, пораздумав, согласился. У палаты, где лежал Николай, всегда дежурил гардист. Обед и ужин он получал от больницы.

– Мы сделаем так. К сегодняшнему ужину мы прибавим хорошую порцию водочки для гардиста. Чтобы не заметили, что он на службе пьёт, предложим ему поужинать в дежурной комнате, а вас тем временем проведём к Николаю.

Всё удалось как нельзя лучше, Николай сразу же узнал меня. Сказал, что доктор считает ранение в живот исключительно



*Больница в городе Мартине.*

счастливым, что рана уже заживает, а благодаря его исключительно крепкому организму он сможет уже завтра попробовать встать.

– Я не останусь здесь. Устройте лишь так, чтобы у меня были какие-нибудь брюки, сапоги, пальтишко и шапка, да чтобы кто-нибудь проводил меня завтра или послезавтра к запасному выходу из больницы. Сил у меня хватит.



Обещав ему, что всё это удастся устроить, я с ним попрощался и быстро ушёл так же незаметно, как и пришёл. Пошёл в привратницкую и передал всё организатору свидания.

– Завтра или послезавтра, в зависимости от того, что скажет доктор, я всё устрою, – сказал он. Никого не вмешивайте в это дело и уходите.

Толковый, ненавидящий немцев, жертвующий своей безопасностью человек. Нет никого, кто мог бы сказать мне его имя. Он исчез из Мартина сразу после войны.

Дома, не посвятив Яру в своё посещение больницы, я собрал вещи и старой дорогой уехал в Подкилаву.

А на другой день поздно вечером, часов около десяти, когда Сашко сладко спал, а Яра и Маня засыпали, их разбудил настойчивый звонок, а потом и сильный стук в дверь. Подошли обе к двери, незнакомый голос по-русски просил впустить.

Посоветовавшись, наспех одевшись, решили приоткрыть дверь. Перед ними стоял в каком-то несуразном одеянии Николай. Он еле держался от усталости на ногах. Впустили. Рассказал,

как ему помогли уйти из больницы, как он сначала думал прямо направиться в лес, но дойдя до дороги на Страни, почувствовал, что сил не хватит дойти до леса, и повернул к нам. Усадили его, помогли снять пальто, которое оказалось женским, накормили его. Он отдышался. Все трое сошлись в мнении, что оставаться ему у нас невозможно, так как только узнают, что он бежал, его будут искать или у меня, или у Ершова.

Наскоро укоротили его женский салоп, подшив фалды. Салоп стал похож на пиджачок, ещё раз подкрепили его едой и крепким чаем, и он под ручку с Маней зашагал обратно к дороге на Страни. Миновали казармы, а там уж недалеко до Ершова.

Маня пошла обратно, а Николай двинулся сам дальше с тем, что разбудит Ершова, а тот его спрячет у кого-нибудь из соседей. Рано узнали, что всё удалось; это была вторая ночь без сна для Яры. Утром, чуть свет, были гардисты у нас и у Ершова. Было ясно, что побег удался. Организаторов побега открыть не удалось. Начальник жандармского управления Кун (погиб потом во время восстания) был уже в то время сам тайным членом жингоровской организации.

306 Забегу вперёд. Дня за три до восстания я был освобождён из концентрационного лагеря в Илаве и вернулся в Мартин. Вызвали меня опять в жандармерию. Сказалось дело с побегом Николая, оно всё ещё тянулось, а т. к. кто-то донёс, что в день побега или перед тем меня видели входящим в палату, где он лежал, было решено собрать там всех сестриц (были тогда ещё сестрицы-монашенки), поставить в ряд, а меня провести перед ними, а потом спросить их – я ли то был, что входил в палату. Я медленно прошёл мимо них туда и обратно, и ещё раз. А потом, немного волнуясь, ожидал результатов. Некоторые говорили, что это я был, некоторые отвечали отрицательно, но единогласно отказывались присягать свои показания, как не позволительное при их сане. Тем дело и кончилось. Позже, когда я узнал, что Кун был жингоровец, я понял – надо было тянуть с делом.

Вернусь к прерванному изложению событий.

Приказ о препровождении меня в концентрационный лагерь в Илаву был выдан. Копию его отдали Яре, чтобы дала мне, когда я вернусь домой. Сдаваться мне не хотелось.

Подкилава была сельской местностью; сто двадцать домиков её были разбросаны хуторами. Сама Подкилава насчитывала

*Город Илава. Тюрьма. 1925 г.*

тридцать домов, а остальные дома были в разных долинках, от пяти до пятнадцати домов.

Я уже знал всех жителей, а они меня ещё лучше. С каждым я должен был говорить о его недвижимом имуществе, которое он имеет теперь, и обсудить, как он представляет это имущество иметь по новом размежевании. О моих трудностях, о предполагаемом моём аресте тоже все знали. Любили меня в Подкилаве, и каждый предлагал хоть день-два пожить у него. Так я и странствовал дней десять.



Потом надоело, решил наших русских повидать. Побывал в Братиславе, в Микулаше, в Топольчанах, в Пьештянах, встречался у коллеги Сурина с Ярой. Яра сетовала, что живётся ей скучно, что окрестный начальник благоволит, а гардисты не трогают. Побыли денёк вместе, а потом она поехала домой. А я в Подкилаву.

Так дней через десять после этого спал я в гостинице «У Мосных», а на рассвете явились два жандарма, предъявили мне приказ о заключении меня в Илаву; пошли пешком до ближайшей станции, а оттуда в Илаву. Всю дорогу жандармы были со мной вежливы, выпивали вместе. Но когда приехали в Илаву, они приняли строгий вид и уже как арестованного повели меня к илавской тюрьме.

Большое четырёхэтажное здание. Прошли трое ворот, всюду проверка документов, телефонные переговоры. Наконец добрались до центра тюрьмы. Большая зала, кругом залы в три яруса камеры, переходы с железными перилами и высокими сильными железными сетками. В зале бегал кругами какой-то субъект.

Мы остановились около помещения коменданта лагеря. Один жандарм вошёл внутрь, другой остался со мной. Подошёл кто-то, верно, из старожилов арестованных. Жандарм спросил:

— Кто это бегает?

— Да англичанин один. Сидит тут уже три года, так, немного того, а по-нашему ничего не понимает.

Мне сделалась не по себе. А тут открылась дверь, вышел, видно, начальник тюрьмы.

— Как стоишь! — закричал на меня. — Ну, научишься. Обыскать, все вещи переписать и в канцелярию. Потом отведёшь его в камеру 87, — обратился он к тому, который нам говорил про англичанина.

Обыскали, забрали всё: и часы, и деньги, и подтяжки, и ремень. Повёл меня коридорный — так назывались старшие арестанты, исполнявшие некую должность. Когда мы начали подниматься на второй этаж, он ободрительно сообщил, что кричавший на меня: вообще хороший парень, что теперь здесь совсем другие порядки, а если кричит, так для видимости.

Затворилась и заперлась за мной одиночка 87. Была она длиной аж четыре метра, два шириной, посреди какой-то чудный

стол, в углу параша, висела какая-то полка, на ней кружка и большая ложка странного вида. Окно маленькое, продолговатое, под потолком, зарешёченное. Пригляделся к столу и понял, что это складывающаяся постель с тюфяком. На стене было вывешено, что должен и что не смел заключённый делать.

Так, постель должна быть приведена в положение стола сразу после утренней побудки. В окно смотреть нельзя, парашу выносить тоже сейчас же по побудке и прочее.

Ну, я не удержался, сперва стол подвинул к окну, взобрался на него и увидел, что моё окно выходит на двор, по которому гуляют заключённые, каждый с руками, сложенными назад. Потом научился разбирать и собирать стол-кровать.

В двери было маленькое окошечко, в которое можно было снаружи подглядывать, что делается внутри и через которое подавалась еда. Еда! Страшная дрянь. Бурда из прогнивших бураков, каша-шрапнель на горьком, вызывавшем рвоту масле. Это обед. Утром и вечером чай, кусок хлеба.

С собой я имел от хозяйки, у которой ночевал, домашнюю колбаску и ещё что-то. Так не украли её, а просунули в окошечко. Молодцы. Потом я два раза в неделю получал от жителей Подкилавы

посылки – тоже ничего не пропадало. Бурду эту ел очень мало, чай и хлеб, конечно, с удовольствием (но без сахара) потреблял.

Первые дни в Илаве были ужасно тоскливые. Единственное занятие – ходить из угла в угол. Сделаешь четыре шага и оборачиваешься. Часы были отобраны – томился я в эти дни очень.

Кажется, на четвёртый день слышу шум шагов возвращающихся с работы узников. На работу пускали лишь проверенных и дисциплинированных заключённых. Кто-то стучит в дверцу, что закрывала окошечко, через которое подавали пищу. Открыл.

– Бери, товарищ рус, выпей! – и суёт полбутылки рома.

Настроение сразу повысилось. Понял, что я не один, что кто-то знает о моём существовании, заботится обо мне. На другой день я был вызван со всеми остальными на прогулку и сделался равноправным членом жителей илавской тюрьмы.

Через неделю был посвящён во все мелочи жизни. Когда в тюрьму не приезжали гости из Главного управления безопасности в Братиславе, жизнь шла своим чередом, когда они приезжали – всё менялось.

Их нет. Открываешь ложкой замок в двери. Высовываешь голову и, убедившись, что в коридоре всё тихо, – шмыг к соседу с одной или с другой стороны. Там уже кто-то есть. Когда всех узнал и кто где, отваживался пробираться и на другой этаж. Правда, на всё своё время.



Если в нижнем этаже мёртвая тишина, так, значит, приехали гости. Дверь ложечкой не отворяй – сиди смирно. Другой раз гости задерживались и на два дня. Вызывали на допрос кого-то. Раздавались иногда и нарекания допрашиваемых. А так и книжечки от соседа можно было достать. Жить было не так плохо. Можно было словчиться и послать письмо. Старшие коридорные ходили в город на почту, за покупками, и, когда я с ними познакомился, от них смог получать сведения о том, что творится на свете. Старожилы в один голос говорили, что, скажем, годом ранее была здесь дисциплинка другая. Всего не перескажешь. Плохо было, что не знал, когда меня выпустят. В приказе о заключении меня в Илаву не был указан срок – на сколько. Но чувствовалось, что в Словакии что-то творится.

Как-то разбудили меня на рассвете. Велели одеться – едем на суд в Ружомберк. Показали приказ областного суда в Ружомберке по делу – такой-то, явиться тогда-то и т. д.

Два жандарма повезли меня. Они ничего не знали. Рады были проехаться. Я ничего не понимал. В Илаве сидели лишь или осуждённые военным судом на несколько лет, или административным порядком по приказу Министерства внутренних дел удалённые от общества, неугодные правительству люди на срок неопределённый.

А здесь должно было разбираться судом нарушение законов. В областном суде в Ружомберке было у меня много знакомых. Я был при нём так называемым «судным знальцем». Но это был вызов обвиняемого, а не знальца.

Приехали, и всё объяснилось просто. Обвинялся я в том, что держал дома без разрешения пистолет (браунинг), который я дал идиоту Валентину. Ерундовское нарушение закона. Приговорили меня к двухсоткроновому штрафу, и всё было за пять минут готово.

Правда, часа два мы ждали в очереди у зала суда. Увидели меня знакомые, в том числе и русский судья Вологдин, и шёпотом сообщили мне все политические новости. Сводились они к тому, что в Словакии пахнет восстанием. Знали они и моё дело и ободрили меня тем, что долго меня держать в Илаве не будут. Мартин хлопочет о сокращении срока.



Занял я у Вологдина немного денег (мои были отобраны), и мы поехали обратно в Илаву. На вокзале удалось угостить и жандармов. Настроение было хорошее. Испортил его в один из ближайших дней один из неприятных наших илавских охранников.

Я где-то достал огрызок карандаша и на туалетной бумажке писал Яре письмо в надежде послать его через Штаудингера (сидел уже четыре года и ежедневно ходил на почту). Иметь карандаш и писать что-либо было строжайше запрещено. Заметил, прохвост, что я что-то пишу, ворвался в камеру и начал меня распекать, обещая продлить мой срок в Илаве. Но наверно, он делал это только для отстрастки. А недельки через две после этого утром после проверки меня пускают домой в Мартин.

Должен был я подписать бумажку, что поступаю под надзор мартинской жандармерии, что не имею права посещать никакие общественные места, кроме богослужебных и т. д. Через час я получил обратно все свои вещи, включая деньги, сразу нарушил предписанное, выпив на вокзале в ресторане красного вина, и вечером был дома.

Радостей было много. Много было и нового. Ершов уж не жил дома, переезжая от одной группы к другой, скрывавшихся нелегально около горских деревень. Частные работы в канцелярии почти остановились: никто не покупал и не продавал. Работы же в Подкилаве было много. Решил оставить в канцелярии Штрома, а сам с Ярой и Сашком, захватив с собой и Маню, побольше белья и одежды, на автомобиле переехал в Подкилаву. Автомобиль я купил ещё на другой год по женитьбе. Жандармерия согласилась, и мы поехали. В Подкилаве получили хорошую квартирку. Маня хозяйничала, а Яра, которая знала некоторые канцелярские работы, помогала мне.

Так через недельку я решил поехать узнать, что делается в Мартине в канцелярии. Приехал на обед во Врутки, а там только что кончилась перестрелка. В местной гостинице жили немецкие фельдфебели, которые руководили движением на проходившей шоссейной дороге, её немцы считали важной по стратегическому положению. Надоели врутковчанам эти напыщенные немецкие морды, свысока и бесцеремонно относящиеся к хозяевам земли. Задержали ли кого немцы, но человек восемь немцев, отступивших к гостинице и отстреливавшихся оттуда из пулемётов, были убиты. 
Трупы лежали ещё на земле. Приехав в Мартин, узнал, что там вечером проезжала какая-то немецкая миссия (кажется, торговая). Поручик Кухта задержал поезд, уговорил немцев дальше ночью не ехать, для безопасности провести ночь в военных казармах. Утром миссия была солдатами расстреляна.

Одним словом, восстание уже началось, хотя без объявления. Посетив канцелярию, я решил поехать в Склабину, в которой находился образованный штаб всех находящихся в Мартинском округе отдельных восставших групп. В штабе не было ни Жингора, ни Ершова, ни Репты (я знал, что он из Подбрезовейда перебрался в Канторскую долину), ни советского руководителя поручика Величка. Все они были на отдельных участках.

Повезло нашему семейству, в частности Яре. Ершов накануне вечером реквизовал где-то автомобиль для своего отряда беглых французских пленных. Шофёра ещё не имел и, наверно, уговорил бы меня остаться у него. (В истории словацкого восстания французы заняли первое место по стойкости и отваге.)

Не найдя никого, я вернулся в Мартин и последним скорым поездом из Вруток добрался до Пьештян, а оттуда в Подкилаву.

Вечером, когда я покидал Врутки, в Мартине было провозглашено восстановление Чехословацкой республики. В Подкилаве было у нас маленькое радио, и мы слушали все новости о начавшейся борьбе с немцами.

События развивались быстро. Перекинутые на Словакию немецкие дивизии почти без боя заняли Жилину. Задержались они около Стречна, где был взорван туннель, перешли там через Ваг, и после боя около Кошут немецкие танки въехали в Мартин. Мартин был почти пустой. Жители ушли в соседние деревни. Но дня через два население начало возвращаться.

Как раз слушали мы эти сообщения, когда пришла к нам Аничка Дюриш-Рубанская. Она и её муж, поручик Словацкой армии, были уроженцами Подкилавы, а танковая часть, в которой служил Дюриш, стояла в Мартине. Были мы с ними в приятельских отношениях. Начался разговор о том, что сделалось с нашими квартирами в Мартине. Разговор зашёл так далеко, что решено было, что мы втроём, т. е. я, Аничка Дюришова и наша Маня рискнём и поедем в Мартин. Яра была согласна под таким конвоем меня отпустить. Сразу же и поехали. У Анички не было

с собой пальто (была она из дальней деревни), так взяла она Ярино.

Главная железнодорожная линия Братислава–Жилина была в руках немцев.

В Братиславе Словацкое народное восстание проявилось лишь шёпотом, передачей новостей. Была там кучка сочувствующих, косвенно принимавших участие в восстании, но это были единицы. В прилегающих к главной дороге окрестностях, например Тренчине, Илаве восстание захватило лишь восточную, гористую часть.

Мы доехали благополучно до Жилины. Дальше можно было ехать лишь до станции Варин у Стречанского туннеля, откуда можно было продвигаться или случайными повозками, или пешком. До отхода поезда до Варина было часа два, и мы втроём решили посмотреть Жилину, занятую немцами.

На улицах можно было видеть немецких солдат, проезжали танки, броневые автомобили, спокойно ходило много народа. Встретились и с мартинчанами. К отходу поезда мы были уже на вокзале, вошли в вагон. Тут кто-то хватает меня за руку и по-немецки требует, чтобы я и моя жена вышли из вагона. Оглянулся —

два немецких солдата. Сопротивляться было бы неразумно. Аничка притиснулась ко мне.

У меня были билеты на всех, деньги тоже. Поэтому, обращаясь к Мане, я протянул ей то и другое, сказал, чтобы она возвращалась домой и рассказала, что случилось. Одновременно я объяснил немцам, указывая на Аничку Дюришеву, что это не моя жена.

– Всё равно, пойдёте за нами все трое.

Итак, через четверть часа мы были у здания какого-то учреждения, где наспех на бумаге было написано «Немецкая комендатура». Спустились в подвальный этаж здания, где меня всунули в одну дверь, а женщин – в другую. Помещение, куда я попал, было переполнено разнообразными индивидуумами. Некоторые были в полувоенной форме, другие в штатском. Все волновались, некоторые, удручённые, полулежали на полу.

Был вечер, и до ночи я узнал, в какую компанию я попал. Часть была из восставших отрядов, некоторые были взяты с оружием в руках, другие – без него. Ещё были люди, приведённые к немцам [пособниками] из гардистов (сразу восстановленных) или членами малочисленной немецкой организации. У всех было очень пессимистическое настроение, также и у меня.



Я сообразил, что в Жилине был кто-то из мартинчан, кто имел на меня зуб, был заодно с немцами, владел немецким языком, знал, что я уже давно спасал русских военнопленных, включая и женщин. Был он, наверно, в связи с жилинскими немцами, спрятался у них, когда в Мартине началось восстание.

Почти ясно мне было, что это была жена Вечеля, мадьяра, женатого на немке. Муж её занимался геодезическими работами, не имея на это никаких прав. Когда я открыл канцелярию, большинство работ он потерял. Он был большой пьяница, и в деньгах они всегда нуждались. Понял я, что попал в большую кашу; всё зависело от того, какие сведения она сообщила немцам (например, об Илаве) и как немцы к этому отнесутся.

Во всяком случае, эту ночь я не спал совсем или очень мало. Утром начали вызывать на допрос, и от возвратившихся с допроса я узнал, что допрашивали и двух женщин, каждую отдельно. Меня вызвали лишь под вечер. Допрашивал молодой офицер, очень симпатичной внешности. Была и переводчица – девушка, жилинчанка. Тогда я лучше знал немецкий язык и не особенно пользовался переводчицей. На вопрос «кто?» я ответил, что русский, был

в Белой армии, сражался с большевиками, теперь имею свою техническую канцелярию в Мартине, дела идут неплохо, советской власти не симпатизирую. На вопрос «с кем и куда еду?» ответил, как это было. Когда кончил, офицер заулыбался, даже рассмеялся:

— Ну, эти словаки — всюду видят партизан, парашютисток.

Потом продолжил, что он житель Вены, австрийский подданный, тоже инженер, что мои ответы согласуются с ответами задержанных со мной женщин, что он их хотел отпустить, но они хотели подождать — что будет со мной.

Пожал мне руку, сказал, что рад — всё так хорошо кончилось, а он сам сначала думал, что поймали парашютисток русских; что мне сейчас же дадут пропуск, но он рекомендует нам переночевать у них — время военное, лучше подождать до утра.

Мои дамы наплакались за ночь.

Первой допрашивали Аничку Дюришеву. Она знала немецкий язык и сразу же разуверила следователя, что она русская парашютистка.

Я позабыл сказать, что задержали меня по указанию «истей особы» как перевозчика партизан и советских, сброшенных

 с аэроплана.

Поутру мы втроём вышли из комендатуры. Аничка Дюришева заявила, что дальше не поедет, а я, обрадованный благополучным исходом, решил всё же добраться до Мартина. Маня поехала со мной.

К вечеру мы туда, хотя с трудом, добрались. Зашли к В. Штрому, узнали, что у нас в квартире выломана входная дверь, но, кажется, ничего не разграбили. Также рассказал, что он тоже вернулся вчера из деревни. «Все уходили, ну и я». Рассказал, что вчера в Мартине немцы расстреляли четырнадцать человек — расплата за расстрел семи немцев (членов немецкой миссии). Были между расстрелянными епископ из Банской Быстрицы, директор «Словенки» Пульц, сосед Ершова. Большинство расстрелянных были мне знакомы, но, кроме ершовского соседа, никто из них не был замешан в восстании. Большинство расстрелянных были чехи. Ясно, что список составляли на скорую руку по требованию немцев местные гардисты.

«Опять я вывернулся», — подумал я.

Потом пошли к нам домой. Унесено было только радио и сорван телефон. Заделали дверь наспех (Штром обещал дать ис-

править столяру). Оставаться ночевать дома я побоялся – напротив нашего дома жил один гардист и видел меня входящим в дом. Я пошёл спать к Штрому, а Маня к знакомой, и рано утром двинулись обратно в Подкилаву, куда и добрались без приключений.

Приходит в голову: зачем я описываю этот случай? Да потому, что он характерный, и читающим мои записки поможет лучше представить жизнь в Словакии во время восстания.

В окрестностях Подкилавы, Миявы, Подбрезовейда находились партизанские отряды, состоявшие преимущественно из русских военнопленных. Их деятельность состояла главным образом в нарушении железнодорожного сообщения между Моравой и Словакией (железная дорога Весела-на-Мораве–Ново Место, где взрывали полотно и мосты).

Я часто встречался с ними, оказывал мелкие услуги, но в ряды их не вступил, хотя их командир Репта (я его уж вспоминал) меня уговаривал. Отряд состоял из молодых, здоровых парней, а мне уже было под пятьдесят, да и боли в пояснице меня мучили. Раз поехал по данному Рептой адресу в Братиславу и привёз им большую сумму денег, а так – занимался своей работой по комасации.

Поселились мы в Подкилаве довольно удобно. Слушали радио, 
были обо всём информированы. Иногда поблизости происходили стычки между гардистами и партизанами или меж ними же и немцами, отряды которых были в городах Миява и в Новом Месте.

В конце ноября, когда советские войска заняли Микулаш, начали и из Мартина отходить немцы и уезжать гардисты. Уехало и гестапо.

Тянуло нас домой. Стало холодней, в здешней квартире было холодно. Из Мартина сообщили, что моё дело уже забыто, что опасаться там нечего. Решили вернуться. А когда были в дороге, немцам удалось опять захватить Микулаш. Вернулись опять в Мартин гестапо и главари гардистов. Одновременно с ними вернулись и мы в Мартин. В Подкилаве осталась лишь Маня, которая там вышла замуж.

Хорошо было опять себя почувствовать дома, встретиться со всеми знакомыми. Никто нас ничем не пугал. Так прошло дня два-три. Глубокой ночью на Николин день (6 декабря) нас разбудили удары в наружную дверь, беспрерывно звонили и стучали в дверь. Ввалились: немецкий офицер, три-четыре немецких солдата и несколько гардистов в форме. Немец командовал.

— Ты Николай Авенариус? Одеться! Пойдёте с нами, — по-немецки приказал офицер.

Не помню, спрашивали ли мы объяснения, пожалуй, нет. Слишком ясно было, что возражения были бы неуместны. Я стал быстро одеваться, стараясь не разбудить малого Сашу, которому тогда было два с половиной годика. Яра тоже накинула на себя что-то.

— Шнель, — звал немец.

Сашка от крика проснулся, начал плакать. Одевшись, я стал прощаться с Ярой и Сашком, говорил с ними по-русски.

— Почему говорите по-русски? — опять завопил немец.

— Потому что я русский, — ответил я.

— Возьмите с собой радио и идём, — снова командовал офицер.

Наше большое радио у нас забрали, видно, гардисты, когда немцы заняли Мартин. Накануне я купил себе новое, маленькое. Легко его было взять в руки. Наспех поцеловавшись с Ярой и Сашком, я очутился у наружной двери. Заметил, что снаружи стояли ещё два-три гардиста, стерегли вход.

«Ну и много их к нам нагрянуло», — подумал я.

— Два останутся с арестованным. При попытке бежать — стре-

лять. Остальные пойдут со мной, — приказывал немец.

Они ушли, но скоро вернулись, и мы пошли дальше. Опять остановились у какого-то дома. Видно — опять безрезультатно, направились к местному арестному дому, который был от нас совсем недалеко. Там меня втолкнули в двери, ещё куда-то, и я кубарем скатился по лестнице в какой-то погреб. Там уже кто-то был. Оказалось, что знакомый чех, столяр.

К концу дня нас там было уже человек десять. Более или менее — все знакомые. Явных, активных борцов против немецкого насилия не было. При этом я с грустью сообразил, какую глупость я допустил, вернувшись в Мартин.

Перезнакомились мы все. Каждый сообщил свои предположения о причинах ареста. Я помалкивал. Апрельские события, Илава были уж далеко, зачем бы я их вспоминал, хотя понимал, что для немцев эти мои прегрешения были достаточны для моего ареста.

Днём караул несли немцы, ночью их заменяли гардисты в полной форме. Это была молодёжь, которая между арестованных находила знакомых. Они ободряли своих знакомых тем, что их скоро отпустят. Я этих молодцов не знал и был прямо ошелом-

лён, когда один из них (мне совсем не знакомый), показывая на меня пальцем, сказал:

– А этого повесим.

В эту ночь я совсем не спал, а спали мы все вповалку на полу. На второй день нас всех вывели на двор проветриться. У ворот двора с винтовками стояли украинцы (их было много на службе у немцев).

На улице около ворот стояло много людей с пакетами в руках. Поняли мы, что это наши близкие принесли нам съедобное. Увидел между ними и Яру. Скоро один из украинцев, перекручивая мою фамилию, передал мне пакетик со съестным. Стало веселее – появилась связь с домом, да голодны мы были, ведь есть нам ничего не давали. Только утром и вечером давали немного горячей воды.

Эту воду нам приносил молодой адвокат Кон (или Кун), недавно открывший в Мартине свою канцелярию. Мы были знакомы и разговорились.

– Мои дни сочтены, – сказал он, – я еврей и меня поймали среди партизан. Хорошо уж, что перестали бить.

Вид у него был ужасный. На другой день появился в камере 
тот немецкий офицер, который меня арестовал.

– Пойдёшь за мной, – закричал он, узнав меня.

Я был первый, кого вызвали на допрос. Я не одеваясь пошёл впереди него. В руке у него был большущий революьвер. Он командовал:

– Направо, налево...

Мы пришли к пристройке, к занимаемому тогда почтой помещению. Вошли в пустую небольшую комнату. Один стол и стул. Он сел на стул, положив руку с револьвером на стол. Я стоял против него.

– Ну, рассказывай всё про себя. Кто ты? Можешь говорить по-русски.

Я начал, говорил о том, как мы жили в Москве, как после Октябрьской революции отца уволили с должности директора фабрики, как родители уехали к папиному брату в Бессарабию, а про себя сказал, что мне удалось пробраться на юг России и там поступить в Добровольческую армию, воевавшую с Красной. Говорил сокращённо, не упомянув своё первое пребывание в Бессарабии. После поражения Добровольческой армии в конце 1920

года эвакуировался из Севастополя сначала в Турцию. Теперь уже больше двадцати лет живу здесь, состою подданным Чехословакии, работаю как инженер, в политической жизни Чехословакии не участвую. Рассказывал всё как было, напирая лишь на то, что буду всегда врагом коммунизма.

— А когда ты вступил в коммунистическую партию? — зловещим голосом прервал меня немец. — Иди в соседнюю комнату, — и он указал на противоположные двери. — Марш!

Рукой с револьвером он указал куда идти. В мгновение в моей голове мелькнула мысль: «Что там, за этими дверями? Кто там будет?» По инерции двигаясь вперёд, я отворил дверь. Небольшая комната была совершенно пуста, без меблировки. Я обернулся назад к немцу. Он стоял с вытянутой рукой, в которой блестел револьвер, направленный на меня.

— Так ты будешь говорить, когда ты вступил в партию коммунистов? — ревел он, размахивая перед моим носом револьвером.

Мне стало как-то всё равно. Я сразу успокоился. Конец так конец!

— Ну, будешь говорить, когда вступил в партию? — наверно,



в третий раз завопил немец.

Спокойствие овладело мной. Я не отвечал — смотрел на него. То, что комната была пуста, меня огорошило. Я представлял, что там будут какие-то люди, что они закричат: «Он наш, коммунист!» или что-нибудь вроде этого. И вдруг я смело и гордо закричал:

— Никогда я не был коммунистом и не буду им!

Слова «и не буду им» я произнёс особенно чётко. Это я сейчас, после стольких лет, отчётливо помню, как они сами вырвались из моего горла. Настало несколько минут молчания. Револьвер всё торчал перед моим носом.

— Пойдёшь туда, откуда я тебя взял, — почти нормальным голосом сказал немец.

Я впереди, он с револьвером сзади — мы вернулись в камеру, где я сидел. Я бросился на лежащий на полу мой полушубок.

Был я совершенно без сил. Слышал лишь, что на допрос вызывали и других. Но за ними приходили по два вооружённых немецких солдата.

Под вечер нас опять выгнали на двор. У ворот стояла опять толпа ожидающих. Среди двора стоял автомобиль, а около него

адвокат Кон и две цыганские девочки лет пятнадцати, растерзанные, замученные. Мы раньше их видели, когда они убирали арестантское помещение. Им и доктору Кону было приказано влезть на автомобиль, потом туда бросили две или три лопаты, сели несколько немецких солдат с винтовками. Толпу у ворот разогнали, ворота отворили, и автомобиль ушёл. Кона и цыганок мы больше не видели.

Опять нам стали передавать принесённое съестное. Опять я увидел Яру. Мне казалось, что она улыбнулась мне. Дни шли. Вызывали на допросы. Меня забыли. Узнали мы, что кроме нас в помещении под нами сидят тоже арестованные. Между ними была моя добрая знакомая Рейхардова с двумя сыновьями, Яником и Мирком. По приезде в Мартин я жил у них на квартире, а муж её, техник, был моим сослуживцем.

По-прежнему нас выводили на прогулку, получали мы продукты, а остальное время мы валялись на грязном полу, положив под себя кто что имел. Настроение у меня было ужасное, в глазах мерещился револьвер, в ушах звенело «повесим». Общих разговоров уже не было. Каждый замкнулся в себе.

Из нашей камеры неожиданно освободили директора банка 
и профессора Шикуру. Дня через четыре пришли два немецких солдата за мной. Не надевая полушубка последовал за ними.

Привели меня в другое помещение. По дороге встретили упомянутых Яника и Мирка. Вели их немцы. У обоих были окровавленные лица. Они судорожно плакали.

Меня опять втолкнули в какую-то дверь. Сидели там двое в немецкой форме. Перед ними стоял допрашиваемый знакомый мне типограф. Лицо его было в кровоподтёках. Когда я приблизился, один из немцев встал, схватил несчастного за шиворот, оттащил в угол комнаты и так толкнул, что было слышно, как он ударился лицом об стену. Я стоял и ждал.

– Я переводчик, – сказал другой немец по-чешски (судетский немец – подумал я). – Можете отвечать по-словацки, я буду переводить.

О процедурах допросов мы в камере много наслушались. Я, коротая время, готовился к допросу, вспоминал немецкий язык, собираясь сам кратко отвечать без переводчика. Первым вопросом всегда было: «Кто ты?» Я приготовил краткий исчерпывающий ответ по-немецки. Так и случилось. Я по-немецки, упирая на

то, что я офицер Белой армии, которая долго боролась с Красной армией и, проиграв, эвакуировалась из России, теперь живу в Чехословакии, работая как инженер, имею свою техническую канцелярию и не вмешиваюсь в дела местные.

Говорил я, наверно, с ошибками, но переводчик не вмешивался. Я кончил. Шеф гестапо молчал, что-то перелистывал в бумагах. Ну, думаю, начнёт сейчас кричать, а может быть, и ударит, как того типографа.

Все приходящие с допросов ничего не говорили, ложились на своё место на полу, отворачиваясь от остальных. Порывшись немного в бумагах, гестаповец не вскочил, а лишь проговорил несколько слов по-немецки мне и сказал солдатам, чтобы меня увели. Первые два слова «через два дня» я понял. Понял и следующее «будешь», но следующее за ним слово — какой-то двухэтажный глагол я не только не понял, но он даже не поместился в моём мозгу.

Я ясно понял, что через два дня будет со мной что-то, но что? Знал наверняка, что не было в этом мною не понятом слове ни «фрай», ни «ханген»*.

Меня отвели обратно в камеру. Опять я бросился на свой по-

лушубок и два дня разгадывал безрезультатно смысл сказанного слова. Два дня прошло — и ничего. На третий день вечером вошёл в камеру начальник арестного отделения, огромный, уже немолодой отвратительный гестаповец.

— С вещами, — по-немецки он закричал мне.

Из вещей были у меня только полушубок да шапка. Взял их. Вошли в маленькую приёмную комнату, в которой всегда с грозным видом сидел этот гестаповец.

— Вы инженер. Какой специальности? — его голос был почти мягкий. — Много зарабатываете? Вас освободили. Возьмите своё радио. Вот пропуск.

Лишь когда я вышел из ворот тюрьмы, почувствовал шальную радость. Через пять минут я звонил у наших дверей. Объятия. Слёзы.

— Мы ждали тебя уже вчера, — начала Яра, — но погоди, я тебе всё расскажу подробно, и ты поймёшь, почему мы ждали тебя вчера. Дня через три, как тебя увели, пришёл тот немецкий офицер, который командовал арестом. У меня сидел Виктор Ан-

---

* Ни «освободить», ни «повесить».

древич. Обращаясь ко мне по-русски, этот гестаповец сказал, что он хочет говорить без свидетелей. Виктор Андреевич ушёл.

– Зовите меня просто Хер Пауль – так меня зовут мои товарищи.

И вот суть его разговора с Ярой. Он – русский. Был взят в плен в начале войны. Ненавидя большевиков, сразу же пошёл на службу к немцам. Тип – арийский, блондин со светлыми глазами. Через два года его произвели в офицеры, но начальником гестапо является не он, а немец ниже его по чину. Теперь уже все немцы поняли, что война проиграна. Скованные дисциплиной, они ещё держатся, но всех их обуяла страсть – последние дни пожить в своё удовольствие. Для этого нужны деньги, и не марки, а кроны.

– Арестовываем людей по указанию здешних гардистов и немцев, также и отпускаем. Гардисты и здешние немцы откуда-то получают большие деньги. Догадываемся, что их получают от родственников заключённых. Шеф гестапо никогда в это не вмешивался. Теперь же и у него появились большие деньги. Я остаюсь в стороне. На мне лежит внешний надзор. Ему же одно дело с банкиром принесло много. Решил и я к кронам подобраться. Что ваш муж – русский, я узнал только при аресте. Обратил тогда же внимание, что вы живёте неплохо. В ваших меховых магазинах я видел прекрасную меховую шубку из лисицы, а у меня в Германии жена, я бы хотел послать ей такую шубку. Тогда у меня созрел план просить шефа, чтобы он дал мне ваш «случай» на разрешение, объясняя, что это касается русского, а потому я быстро в нём разберусь. Он согласился и дал мне папку с делом. Там было много бумажек, написанных по-словацки. Самым важным было письмо написанное по-немецки, в котором было подчёркнуто: «Авенариус – старый коммунист и поддерживает связь с румынскими коммунистами». Обвинение очень серьёзное. Но мы знаем, что большинство обвинений лишь выдумка. Так вот, я решил – помогу вашему мужу, а он поможет мне.



Яра ответила, что, конечно, один другому может помочь, но денежные дела всецело находятся в руках мужа, но как скоро он вернётся домой, всё может быть улажено. Пообещав сделать всё возможное, Пауль удалился, выпив с Виктором Андреевичем несколько рюмок сливовицы. Через два дня он опять пришёл и сообщил:

– Ваш муж будет через два дня освобождён.

*Мартин, война.*

Ларчик просто открывался. Всё это никогда не пришло бы мне в голову. А деньги я имел.

Ох, как хорошо я в эту ночь спал дома!

Пауль снова появился у нас дома, кажется, на другой день по моём возвращении. Начали мы со сливовицы. Кое-что он рассказал о себе, о том тяжёлом положении, в котором теперь находится; потом перешёл опять к шубке. У меня было дома тысяч сорок.

Сказав, что деньги на шубку он будет иметь, пошёл я в канцелярию, открыл стол и начал отсчитывать. И тут пришёл вопрос: сколько же дать? Были у меня ещё в банке кое-какие деньги. Роль денег по сравнению со всем пережитым казалась мне ничтожной. Я отсчитал сначала двадцать тысяч, потом прибавил ещё пять, потом вернул эти пять обратно, а двадцать вложил в канцелярский конверт и, вернувшись в комнату, где ждал Пауль, передал ему конверт.

Он сейчас же открыл конверт, пересчитал деньги, сказал:

– Спасибо, могло бы быть и меньше.

Выпили ещё по рюмочке, и он удалился. Это было несколько дней перед Рождеством.

322 Дня через два я узнал, что всех нас было арестовано около двадцати. Четверых освободили, а остальных шестнадцать под конвоем вооружённых гардистов повезли куда-то поездом. На станции Жилина была пересадка. Один из арестованных, молодой паренёк (знал я его, но фамилию теперь не помню) воспользовался какой-то суматохой, выскочил из рядов, оттолкнул гардиста и вскочил на подножку проходящего товарного поезда.

Началась безрезультатная стрельба. Никто из остальных замешательством не воспользовался. Пересев на другой поезд, доехали до Илавы. Там отделили двух арестованных – мадам Рейхардову и ещё кого-то, а остальных довезли до Братиславы. Здесь немцы заняли место гардистов. Опять пересадка, и новым поездом поехали в Вену. В Вене понадобился немцам для каких-то разгрузок хлопец посильней. Выбрали Шкулетети, а остальные последовали дальше. Шкулетети потом подробно рассказывал о дороге от Мартина до Вены. Остальные поехали дальше. Это была последняя весточка от остальных.

Кончилась война.

Немцы капитулировали. Начали возвращаться из концлагерей измученные увезённые. Мартинчане ждали своих. Рейхард

(он прятался в Братиславе) кинулся в Германию искать своих сыновей. Не нашёл ни их, ни остальных.

Между увезёнными был и наш сосед по квартире инженер Мойжис, чех, как и я, женатый на словенке, был при эвакуации чехов оставлен в Мартине. Тихий человечек. Его арестовали позже меня часов на семь. Если бы он что-нибудь чувствовал за собой, мог бы, конечно, скрыться. Жена его очень дружила с Ярой. Осталась с годовалым мальчишкой. Ждала каждый день, целый год, потом уехала к родственникам мужа в Чехию. Долго переписывались с ней. Потом переписка оборвалась.

Ну скажите, как не поверить, что я родился под счастливой звездой? То, что мне пришло в голову прощаться по-русски, – спасло меня. Я сидел дома, почти не показываясь на улицу; не хотел напоминать о себе. Недели через две после передачи денег Пауль явился опять. Пришёл опечаленный. Посланная шубка не дошла до жены. Поезд был бомбардирован. Намекнул довольно ясно, что надо дать ему опять денег. Отсчитал ещё десять тысяч и дал, на этот раз без конверта. Он сосчитал, но не сказал ничего.

Я не угостил его сливовицей. Получилось, что мы оба остались недовольны друг другом. «Пожалуй, начнёт вымогать», – подумал я.



Фронт по-прежнему стоял у Микулаша, немцы из Мартина не собирались уезжать. Решил, что нужно уехать мне. Ехать без разрешения боялся. Всюду проверка документов. Попадусь – на этот раз не сдобровать. Пошёл за разрешением на поездку к гардистам. На мою просьбу о выдаче мне разрешения на поездку на работу в Подкилаву ответили более чем недружелюбно – отказом.

– А почему? – спросил я. – Если это связано с моим арестом гестапо, так я был освобождён, – защищался я.

– А всё ж вы из Мартина никуда не поедете, – дерзко ответили мне.

Выругался я про себя и решил, что зря напомнил им о себе. Пришла в голову другая мысль.

Знал я, что в больнице скрываются несколько словаков, активных участников восстания. У меня было несколько добрых знакомых между докторами. Знали доктора и о моём участии в бегстве Николая из больницы. Как раз сильно меня мучили боли в позвоночнике. Приняли меня без записи в число пациентов,

причём, ободряя меня, заметили, что до сих пор из больницы никого не забрали ни немцы, ни гардисты. Положили меня в нервное отделение, в палату подальше от входа. Там я пролежал три недели, скрываясь и лечась одновременно.

Во время моего отсутствия Пауль пришёл к нам один раз. Яра, не приглашая его войти, сообщила ему, что я уехал из Мартина на работу. Он на это никак не отреагировал.

Микулаш опять заняли русские; немцы и видные гардисты уехали из Мартина, на этот раз навсегда.

Вышел и я из больницы, завязал связь с русской колонией, которая как-то нарушилась Илавой, отъездом в Подкилаву, сидением в гестапо.

Земляки волновались: как отнесутся советские власти при занятии Словакии к проживающим здесь русским эмигрантам? Этот вопрос нас волновал, не давал спать всем нам. Этот вопрос нас волновал давно. Что мы будем делать, когда на нашей родине будет свободнее? Это обсуждалось русскими эмигрантами бесконечное число раз. Ведь многие пустили здесь корни, породнились со словаками, забывали и родную речь. Они перестали быть русскими, но о них не будем говорить.



Я, хотя и был женат на моравке, остался русским и сейчас остаюсь таковым до мозга костей. Не я научился правильной словенской речи, а жена Яра научилась говорить по-русски. Дома мы говорили лишь по-русски. Сын Саша говорит прекрасно по-русски.

Когда Советы заняли Польшу (вернее, её восточную часть, западную часть с Варшавой заняли немцы), нас больше всего интересовал вопрос, что стало с русскими эмигрантами. Именно эмигрантами, а не просто русскими, жившими давно в Польше.

Мне удалось познакомиться с одним из них, проживавшим в Польше недалеко от чехословацкой границы. Он остался на несколько дней недалеко от польских границ и встречался со многими русскими эмигрантами, которым посчастливилось перейти чехословацкую границу позднее.

Они рассказывали, что большинство русских эмигрантов-мужчин были увезены в СССР. Их семейства остались в Польше в ужасном положении. Но то было шесть лет назад – думали мы. А что будет теперь? Теперь многое изменилось. Прошли те времена, когда ещё верилось, что немцы начали войну с Советами из-за страха расширения коммунистических идей.

– Мы не воюем с русским народом, а лишь с коммунистами и, главное, с жидами, носителями коммунистических идей, – это была гнусная ложь, прикрывавшая обуявшую всех немцев сумасшедшую идею о величии немецкой расы, о её предназначении к уничтожению или, по крайней мере, к полному подчинению иных народностей, и главным образом славянских.

Чёрным на белом это было написано в сумасбродной книге Гитлера «Mein Kampf».

Поняли это русские люди в первый же месяц войны, чему доказательство то упорство, с которым русский солдат, несмотря на огромное преимущество противника в численности, качестве вооружения, военном опыте, с тяжёлыми боями отступал вглубь родной страны.

В нашей мартинской русской колонии не было человека, который не переживал бы с болью в сердце успехи немцев, захват немцами русских земель. О том, что творится в оккупированных немцами районах, нам тоже было хорошо известно. Даже такие узкомыслящие украинцы, лелеявшие мысль о великой Украине, поддержанной немцами, отрезвели.

Немцев вся русская колония ненавидела. Не может быть и речи, чтобы кто-нибудь им сочувствовал. Прошло от Гражданской войны двадцать пять лет, в течение которых мы были враждебно настроены к существующей в России советской власти. Мысль о том, что она держится лишь по милости Божией, нас ещё не оставила.



Лишь с трудом мы начали понимать, что это не так, что новая советская власть уже пустила корни в русской земле, имеет свою законность, когда русские и все остальные народности бьются с немцами не за страх, а за совесть. В наш разум входила мысль о законности этой новой, советской власти.

Смущала нас неизвестность: как пришедшие войска отнесутся к нам. Не только «смущала» – это слишком мягкое слово, неизвестность приводила нас в ужас, вывела совсем из нормальной колеи. Как отнесутся к нашему прошлому, когда мы с оружием в руках боролись с новыми идеями советской власти? Быть сосланным на принудительные работы на дальний Север, оставив семью без средств к существованию, как это получилось с эмигрантами в Польше? Снова эмигрировать куда-то в далёкие неизвестные страны? Снова искать нового убежища? Ломать уже

налаженную жизнь? Большинство из нас были семейные, были и дети, у меня, например, трёхлетний мальчишка.

Кошмарные дни переживали мы – ведь брали ответственность не за себя, как это было в 1920 году, а за семью. Если мы и не считали Словакию нашей второй родиной, считали жизнь здесь лишь временной, живя постоянной надеждой, что вернёмся домой, – но не насильственным способом...

Хотя я и полюбил словаков, дружил с некоторыми из них, но продолжал жить русскими интересами. Со словаками был связан лишь службой, хозяйственными отношениями.

Бежать дальше с отходящими немцами, которых я, например, ненавидел?

Яра очень боялась за меня, и мне не стоило бы большого труда уговорить её уехать. У Яры все родственники (родители, два брата, две сестры) были здесь. Если бы что со мной случилось (например, увезли бы в СССР), она б с малым Сашком не пропала.

А с отъездом все тяжести, перенесённые мною в первые годы эмиграции, не минули бы и теперь, но уже всю семью.

Оставшись, я рисковал стопроцентно лишь сам, а уезжая,

я рисковал тремя головами.

Приезжал из Братиславы приятель. Большинство моих братиславских друзей собирались уехать. Я раздумывал, мучился и, наконец, решил остаться. Потом выяснилось, что русские, проживавшие в провинции, в большинстве случае остались. Из Братиславы ушла почти половина многочисленной эмиграции. Было в этом массовое чувство страха, передававшееся от одной семьи к другой. Зато и много семей было разрушено, пережило много, много тяжёлого, по крайней мере первые пять лет без весточки о главе семейства. Опять встретились, да не все, через десять лет.

Немцы сдали Мартин без боя, отведя свои войска к Стречно как к важному стратегическому пункту с выгодными для защиты позициями.

В конце апреля (числа не помню) позиции были километрах в пятнадцати от Мартина. Ожидалась бомбардировка Мартина. Я переселил Яру и Сашку в погреба, сам оставался в квартире, часть которой (канцелярия) была занята немцами. Два «джипа» с пулемётами стояли во дворе. Среди ночи немцы разбудили меня. Сообщили, что отступают, извинились, что заберут у нас с дивана несколько подушек (видно, чтоб удобней сидеть в автомобилях), и уехали.

## После войны

Я опять прилёг, начало светать, и одновременно послышался шум входивших на нашу улицу войск. От Дражковец вступали румынские войска, с другой стороны — советские.

Вскоре и Яра с Сашком перешли в квартиру. Стали наводить порядок.

Немного погодя пришёл русский словак Галама, которого мы давно знали и любили. Он сообщил, что его и Маницу (тоже нам хорошо известного) ещё ночью, сразу же по занятию Советами Ягодник (предместье Мартина) позвали к себе представители советских войск для получения сведений о настроениях мартинских жителей. Хотели получить сведения и о проживавших в Мартине русских эмигрантах. Посоветовавшись с Маницом, Галама предложил им обратиться ко мне, как мартинскому старожилу, который знает всю колонию русских и зарекомендовал себя, оказывая словакам помощь в их борьбе с немцами.



Сказал (чтобы я был готов), что меня ещё сегодня советские власти позовут к себе. И действительно, вскоре пришли два словацких жандарма с приказом мне явиться к представителям советского командования. Смотрели они на меня с сочувствием и советовали не брать с собой часов, а взять побольше съестного.

Совета я их не послушался и налегке последовал за ними. Пришли к дому писателя Хискови, который перед приходом советских войск уехал с немцами, а дом был реквизирован для советского пограничного корпуса. От жандармов я узнал, что в Мартине пока нет советского НКВД, а его заменяет политрук корпуса.

Принял меня капитан средних лет с интеллигентным, умным лицом, солидными и скромными манерами. Предложил рассказать о себе, а потом познакомить его с русской мартинской колонией.

Говоря о себе и о настроениях русских мартинчан, я сказал почти то же самое, что сказано на предыдущих страницах на эту тему. Потом он, не перебивая меня и что-то записывая, предложил мне назвать всех русских, живущих теперь в Мартине.

Обращаясь ко мне, он называл меня по имени и отчеству. «Ну, ты обо мне подробно расспросил, нужно ухо держать с тобой востро», — подумал я. Старясь не пропустить никого (не упоминая украинцев), я с не очень приятным чувством перечислил всю русскую колонию. Он записывал. Добавил, что большинство русских всегда жили мыслями о далёком своём «домови», и я ручаюсь за всех перечисленных — ни один из них никогда не предпринимал ничего для успеха немцев и во вред русским. Сказал, что если некоторые русские перед приходом советских войск и уехали на Запад, то причиной тому была не нечистая совесть, а боязнь расплаты за участие в Гражданской войне на стороне Белой армии.

Когда я окончил, он что-то ещё дописывал, а кончив, перечитал мне содержание моего рассказа и, признаться, удивил меня ясностью и исчерпанностью написанного. Потом он предложил

мне назвать ещё кого-нибудь из русских, с кем он мог бы ещё побеседовать. Я назвал Ф. Г. Скворцова, зная его красноречие и патриотизм. Этим и кончился мой допрос, и я благополучно вернулся домой, унося с собой наилучшие впечатления о капитане пограничного корпуса.

Дня три меня никто не беспокоил. Появляясь на улице, я лишь удивлялся, как почтительно со мной раскланиваются мартинчание, которых я раньше почти не знал. Думали, наверно: «Вот он теперь отомстит за Илаву и прочее». Ошиблись — мстить в Мартине мне было некому.

Оставались советские войска в Мартине месяца два. Опять мне надо было потесниться. В канцелярии жил чех, офицер с русской женой — оба очень милые люди. В средней комнате жили шесть молодых солдат, ещё не нюхавших пороху, но зато очень разнузданные и шумливые, особенно когда напьются, что бывало часто, и шум от этих пареньков нам троим, ютившимся в спальне, не давал спать.

В кухне всегда кто-то вертелся из расположенной во дворе хозяйственной части какого-то полка. Грязные они были ужасно.

Автомобиль мой стоял в гараже у задней стенки, а вся передняя часть гаража была занята метровицей (т. е. неразрезанным и непорубанным деревом для отопления). В открытые двери гаража было видно лишь дерево – так автомобиль уцелел от немцев и гардистов.

Когда во дворе обосновалась хозяйственная часть, замок сломали, начали выбрасывать на двор дерево, необходимое им для походной кухни. Показался автомобиль. Выкатили его, в первую ночь были сняты все четыре колеса, и автомобиль сидел на осях в грязи. Каждую ночь отвинчивали что-то или просто отламывали. Начали с часов, а потом – что кому нравилось. Исчезли: карбюратор, аккумулятор, коробка скоростей. Привести его в порядок уже не удалось, хотя я истратил на это много денег.

Автомобиль был нужен для работы, пробовал я потом на нём ездить, но толку было мало. Со Словенска были увезены почти все автомобили (в Чехии их собралось много), так я купил себе опять мотоцикл.

Пожалуй, нечего больше писать о пребывании советских войск в Мартине. Никого не арестовывали, никого не увезли. Объяснялось это тем, что у нас в Мартине не было отдела НКВД, 
а только политическое отделение пограничных войск.

В других городах, например, в Ружомберке обстановка была для русских гораздо хуже – НКВД «проредило» там русскую колонию. Коснусь ещё одного случая, характерного для того времени и заставившего меня и Яру опять не одну ночь не сомкнуть глаз.

Скворцов побывал у меня после его вызова к политруку. Остался им доволен. Больше никого не тревожили. А через несколько дней зовут меня опять туда же. Встретил тот же капитан. Но уж не так любезно.

– Перечисляя русских мартинчан, вы забыли назвать ещё одного, а именно Беляева.

Действительно, Беляева я не вспомнил. Он жил лишь полгода в Мартине, эвакуированный из Кошиц. В русскую колонию ещё не вошёл.

– Знаете, где Беляев живёт?

– Знаю, – ответил я капитану.

– Ну, так отведите меня к дому, где он живёт.

– Идёмте.

— Идите впереди меня и у его дома остановитесь.

Пошёл я. Как мне было неприятно идти! Капитан шёл метрах в двадцати от меня. В голове у меня вертелось — почему он не послал за ним жандарма, а послал меня и сам пошёл?

Дом был недалеко. У дома, где жил Беляев, я остановился.

— Войдите к нему и скажите, чтобы он вместе с вами пришёл в мою канцелярию, — сказал капитан, не задерживаясь и проходя мимо меня.

Ещё не легче. Отворила мне жена, сказала что муж спит, всю ночь носил снаряды на фронт в горы. Сказал, зачем пришёл.

— А вы причём?

— Получил приказ от капитана, который ведает всеми делами русских эмигрантов.

Разбудили. Был удивлён не меньше меня. Оделся, пошли. Меня капитан послал домой, а его оставил. Ох, в скверном настроении вернулся я домой. Вспоминались слова того русского, которому удалось бежать из Польши: «Сперва по-хорошему, а потом зацапают». Часа через три приходит к нам жена Беляева (большая пройдоха, и даже говорили — нечиста на руку).



— Куда вы девали моего мужа? Он не вернулся.

Немного позже пришла жена инженера Г.Ф. Палевича (словака).

— Недавно пришли два жандарма и увели, — с плачем сообщает она, — ведь вы первый были в НКВД и всех русских мартинчан там назвали, а теперь сидите дома.

Повторяет почти всё, что сказала Беляева, обвиняя меня в сплочённой работе с НКВД.

Опять кто-то звонит. Входит Данилецкая Галина Ивановна:

— Мужа увели в НКВД.

И опять всё валится на мою голову.

— Не думайте, что вас так оставят. Пока вы им ещё нужны, а потом заберут и вас.

Опять вспоминаю русского из Польши: «Не всех разом, понемножку».

Жёны забранных теперь все вместе нападают на меня, нервные, плачущие. Здесь же стоит Яра, и на неё смотрят косо, со злобой. Мне и рот не дают открыть. До позднего вечера сидели у нас, плакали, жаловались на свою судьбу, уверяли меня и Яру, что мы не избежим общей судьбы. Конечно, мы с Ярой не

спали целую ночь. Я всё соображал, что нужно взять с собой, когда придут за мной, но в голове был сумбур. Ночью никто не пришёл. Утром тоже.

Решил пойти к Галамову, который сосватал мне это проклятое представительство русской колонии. Недалеко от дома встречаю Данилецкого. Идёт, одеяло под мышкой, улыбка во весь рот.

— Где остальные?

— Всех отпустили, — отвечает Данилецкий.

— Так расскажите, в чём дело.

Рассказывает: у местного нотариуса, человека богатого, влиятельного, но отнюдь не русофила, немцы поселили на квартире (против его воли) немца в чинах и военной форме. За ним каждый день приезжал автомобиль, и его куда-то увозили. Был то инженер немецкой вспомогательной, так называемой тодтовской, строительной организации, ведущей перестройку стратегических дорог (таковые проходили и около Мартина).

Жилось ему, видно, неплохо. Этот немец был из русских немцев, т. е. родившихся в России, но сохранивших немецкое подданство. Говорил по-русски как русский, да и думал, наверно, по-русски. Уехал он из России, которую считал своей второй родиной, в Германию после октябрьского переворота. Был больше русским, чем немцем. 

О нём проведала проворная Беляева. Узнала, что и сахар у него можно получить, и шоколад, и прочее. Вот Беляев и стал к нему заходить на рюмочку, ещё от него можно было узнать, что делается в оккупированной немцами части России. Он перестраивал дороги и там. Потом оказалось, что и в преферансик он играть большой любитель. Нашлись такие любители и среди русских мартинчан — Палевич, Данилецкий. И вот за картами, за коньячком да хорошей закусочкой эта троица раза два в неделю приятно, сытно и весело проводила время. Говорили исключительно по-русски.

Так как немец жил у нотариуса, попал и тот на допрос к капитану. Нотариус испугался:

— Жил, жил у меня немец, да ещё очень важный, каждый день его на автомобиле отвозили. Никто к нему не приходил, кроме одного русского и его жены. О них я ничего не знаю, только — что приехали в Мартин недавно. Беляев тот рус назывался. А потом ещё два других руса стали к нему ходить — фамилии тех не знаю. Говорили всегда лишь по-русски. Подозрительно.

А я как раз Беляева и не вспомнил, когда сообщал фамилии всех русских мартинчан. Нужно было проверить Беляева, почему он так часто встречался с немцем, о котором в Мартине не знали, чем он вообще занимается, форму немецкого офицера носит.

О Беляеве, видно, и жандармы не знали, так потребовался я. Всё, что рассказал капитану Беляев, надо было проверить. Жандармы привели Палевича и Данилецкого. Был перекрёстный допрос, протянулся до ночи. А утром капитан их отпустил. Хорошо, что в Мартине не было НКВД, не отделались бы так легко. Те умели из мухи сделать слона, и Беляев наверняка прогулялся бы до СССР на десятилетнюю «рекреацию».

Подтверждением моих слов – случай с К. Он отсидел десять лет и, вернувшись, рассказал:

– Служил я инженером-строителем в крупной фирме К. После взятия Братиславы советскими войсками эта фирма, во время войны находившаяся в руках немцев, попала в распоряжение советских войск. Имевшиеся у неё запасы сырья и не вывезенные немцами готовые изделия перешли в руки Советов, которых представляли два советских генерала. Они не знали по-



словенски, служащие не знали русского языка. Выход нашёлся в том, что К. был прикомандирован к ним как переводчик. Он отдался всецело этой работе и был не только переводчиком, а просто исполнителем всех приказаний обоих генералов.

Словаки беспрекословно слушались его, и через два месяца все требования Советов были точно исполнены. Перед отъездом генералов был устроен торжественный обед в честь отъезжающих. Конечно, главным устроителем и речником* со стороны фирмы был К. Было торжественно, все были довольны. Прощались с поцелуями.

На следующий день К. не спешил на предприятие, решив отдохнуть хоть немного. Но пришёл за ним советский автомобиль.

– Только на минутку, он сейчас вернётся, – успокаивали супругу К.

Поехали не к предприятию, а в НКВД. Русские, задержанные НКВД, были уже увезены в СССР. К. послали вдогонку. Судить как других русских – не судили, но приговор был: десять

---

* оратором.

лет «за сношение с западной буржуазией». Жена осталась одна с тремя ребятами пяти и девяти лет. Молодец женщина – не пала духом; когда муж вернулся через десять лет, старшему уже было девятнадцать. Теперь он дельный инженер в Брно. Характерный случай. К. жив и сейчас. Их теперь осталось лишь два из двадцати пяти вернувшихся.

Но вот наступили и мирные времена. Восстановилась опять Чехословацкая республика.

Моя канцелярия начала работать в полную силу. Поступил ко мне ещё один русский. Условия у меня были более выгодные, чем на государственной службе. Повторяю, работы было сверх головы. Лично я работал по 14 часов в сутки. Заработки были хорошие. Но ведь из Авенариусов никто не был коммерсантом. Не был им и я. Меня всегда больше интересовала работа как таковая, а не деньги. Никогда я за них не цеплялся, никогда их ловко не использовал.

Через пять лет, на второй год, как власть в Чехословакии перешла в руки коммунистов (их партия была самая многочисленная), были ликвидированы все частные предприятия, в том числе и моя канцелярия.



Государство осталось должно мне около трёхсот тысяч. Напрасно я напоминал о них два года. Выплатили их мне с таким пояснением, передаю по памяти: с трёхсот тысяч, которые вы нам предложили к уплате, 50% вам, как бывшему предпринимателю, не принадлежат по закону такому-то; 30% идёт на налог; 10% задерживаем, так как вы недоплатили налогов; потом ещё написана какая-то глупость – не помню размер скидки на неё; и наконец пишется в документе: «оставшиеся 1000 крон посылаем вам в новом номинале (уменьшенных в 50 раз, как все обязательства, предъявленные государству). Итого получите 20 крон». Ко всему, в документе была допущена просто арифметическая ошибка в размере 20 тысяч.

Времена были суровые. Заскочил я в Жилину к приятелю, имевшему такую же канцелярию, как я. Он получил что-то аналогичное моему.

– Молчите – это самый лучший выход.

И здесь я сделал ошибку. Не дала мне покоя допущенная ими арифметическая ошибка. Красными чернилами исправив ошибку, я вернул им присланный документ с припиской: «Со

всем согласен уж потому, что не успел ознакомиться с новыми законами, но арифметика всегда останется арифметикой при всех новых законах, надо бы вам ей подучиться». Вложил документ и послал отправителю. Страшно глупо сделал, не оставил на руках такой курьёзный документ. Скоро я успокоился.

Пришёл декрет, которым моя канцелярия со всем персоналом, включая меня, со всеми инструментами и архивом передаётся в ведение государственного предприятия «Ставопроект в Жилине». Канцелярия останется в Мартине под названием «Отделение Ставопроекта в Жилине». Я назначаюсь начальником этого отделения с приличным окла́дом, большим, чем мои сверстники получали в это время на казённой службе. Я остался этим доволен. Избавляло это меня от постоянных забот о поиске работы, о наличии в кассе достаточно денег для жалования служащим, всегдашних недоразумений уплаты налогов. Устал я от всего этого.

Теперь коснусь ещё одной моей попытки разумно использовать заработанные деньги при приобретении недвижимости. Она могла бы хоть немного обеспечить мою семью в случае, если бы со мной что-нибудь случилось. Но об этом надо было думать

перед началом войны. Для начала постройки деньги у меня бы нашлись, ещё можно было одолжить деньги в банке. А я трусил. Боялся: последние деньги истратим, а если со мной что-то случится, семья останется только с долгами.

Проворонил подходящее время, когда было выгодней платить долги при падении ценности денег, чем их откладывать. Но ведь я уже говорил, что всегда был плохим коммерсантом. Позднее я вступил в группу мартинчан, решивших на видном месте Мартина построить дом с десятью квартирами – столько было членов группы. Купили участок земли, заказали архитекторам проект дома, получили разрешение на постройку, а как раз пришло новое правительство. Разрешение отменили, а участок земли конфисковали для постройки почты. Остались мы при одних планах, а денег ухлопали много.

Как раз приехал коллега Хакен из Жилины и сообщил, что он купил квартиру в почти новом доме, да к тому же поставленном на хорошем месте в Жилине. В доме восемь трёхкомнатных квартир и три «гарсонки». Правда, квартиры заняты, но всегда можно их выменять за свои квартиры, ну хоть бы с доплатой. Остались не проданы ещё три квартиры. Поехал посмотрел, по-

знакомился с инженером, занимавшим квартиру, которая осталась вольная. Он высказал согласие с меной квартиры на мою — Мартин его привлекал. Деньги ещё были, и я за сто восемьдесят тысяч эту квартиру купил. Правительство разрешило покупку, наложив порядочный налог на неё. Но и с этим коммерческим предприятием, как увидите дальше, мне не повезло.

Как раз в Мартин приехал большая правительственная шишка с полномочиями как у министра, и задачей добыть для служащих вновь построенного в Мартине завода к первому января (дню открытия завода) шестьдесят квартир. Постройка квартир запоздала, а завод на несколько тысяч работников считался очень важным. Слышал я об этом, но не обратил внимание.

Через пару дней получаю приглашение явиться в народный театр, где приглашённые будут ознакомлены с переселением из их теперешних квартир в соседние (километрах в двадцати пяти) немецкие деревни. Немцы оттуда уже были выселены сразу по подписанию мира.

Не верил своим глазам потому, что часть моей квартиры уже не принадлежала мне, а Ставопроекту. По слухам, ходившим по Мартину, касалось это главным образом мартинской элиты, считавшей Мартин «пупком земли». Принадлежали к ней люди разных сословий, материального положения, но обязательно коренные мартинчане. Главным признаком этой элиты было убеждение, что настоящим словаком может быть лишь мартинчанин, главным местом Словакии должен быть Мартин, в Мартине же Матица Словенска. В Мартине словенский меморандум был объявлен около евангелического костела под липами, на мартинском кладбище почти все словенские «великаны» похоронены.



Когда в Мартин приезжал президент (чех, не мартинский словак), элита не пошла его встречать. Эту элиту нужно было рассеять, вывезти её из Мартина. Я, правда, к ней не принадлежал. Но шестнадцать человек элиты не нашлось, нужно было добрать из простых жителей.

Ну, меня всегда находили: и партизаны, и гардисты, и немцы. Включили и теперь в список. Пришлось мне идти в народный дом. Уполномоченный провести эту более чем несимпатичную акцию на вид был противнейший субъект: грубое, неинтеллигентное лицо, с кривыми устами, жёлтыми редкими зубами. Смелый, набивший руку на таких акциях (после мы узнали, что

в Братиславе он провёл ту же акцию, выселив более двухсот нежелательных лиц тоже в немецкие колонии). Он начал так:

– Мы делим всех людей на две категории: одни это те, которые против войны, и тех, кто за войну. Ну, бойтесь! С теми, кто за войну, мы сумеем справиться. Мы строим завод мира (строили на нём главным образом танки). Завод нуждается в квартирах. Правительство приказало найти квартиры. Мартинские коммунисты эти квартиры нашли, а я постараюсь, чтобы эти квартиры были даны в распоряжение завода. Так кто за мир, кто за войну?

Хорошо помню, что одной из первых, подавшей голос, была престарелая еврейка:

– Товарищ, не берите мой домик. В нём я вырастила всех своих детей, все они погибли в немецких лагерях. Погиб там и мой муж. Я живу воспоминаниями о детях и муже, и все эти воспоминания связаны с маленькими комнатами моего домика. Не отнимайте у меня последнее.

– Ты, которая потеряла всё из-за войны, ты должна быть первой, которая покажет, что ты за мир.

Надо отдать справедливость этому мерзавцу, что он был на-

ходчив. Кто-то ещё хотел возразить, но был прерван заявлением, что с теми, кто за войну, он будет говорить завтра в своей канцелярии. Сказав, где находится его канцелярия, он закончил и предложил всем разойтись.

На другой день мы узнали поподробней о выселении из Братиславы – случай с инженером М., которого я хорошо знал. Он отказался освободить квартиру. Через несколько дней он получил от военного министра приказ явиться неотложно в рабочий батальон (не помню куда). Оттуда он слал отчаянные письма о помощи. Кроме тяжёлой, прямо непосильной работы при недостаточном питании его убивала необычайная грубость в обращении и полная изолированность от внешнего мира.

Я встречался с ним через год [после] возвращения его из лагеря – он стал полной развалиной. Яра написал брату Ладе, который жил тогда в Братиславе, был там видным коммунистом, одним из редакторов «Правды». Приехал сразу же. Зашёл к нам и оптимистически заверил, что всё уладит.

– Ведь я как-никак носитель ордена Словацкого народного восстания и вполне лояльный к теперешнему правительству гражданин.

Вернулся Ладя довольно скоро. От его самоуверенности не осталось ничего. [Из общения с мерзавцем он понял, что] «его полномочия равносильны министерским. Он твердит лишь одно: что тех, кто коммунистами Мартина назначены к выселению, он выселит». Сам Ладя был страшно удручён, но потом мы с ним выпили, вспомнил каждый из нас, в каких переделках мы побывали, и как всё кончилось к лучшему.

На другой день я поехал в Жилину. Директор Ставопроекта вскипел, узнав о выселении отделения Ставопроекта [из моей теперь почти бывшей квартиры]. Написал очень острый протест, обвиняя товарища, производившего выселение, в срыве правительством хвалёного строительного плана Ставопроекта. Этот письменный протест он вручил главному инженеру, в помощь ему дал ещё шефа кадрового отделения, и мы втроём поехали автомобилем в Мартин.

Первым свирепому исполнителю выселения представился я.

– Ты, который в семнадцатом году предал Сталина! Ты, конечно, можешь быть за войну. Толковать с тобой мне нечего!

Когда кадровик передал привезённый нами протест, он, прочитав его, разразился страшным ругательством, разорвал бумагу и заорал на кадровика:



– Запомни, ты недолго останешься кадровиком, – и с тем выпроводил нас.

На другой день я поехал в Горный Турчек, куда я был назначен к выселению. Эта деревня – самая отдалённая от Мартина (почти рядом с Кремницей) – была засыпана полуметровым снегом. Деревенские власти указали предназначенный мне домик. Последний домик в деревне, на самом верху. Домик аккуратный, вновь отделанный; для лета желающий отдохнуть ничего лучшего бы найти не мог. Но зимой! Я не представлял, как можно там жить зимой. Две комнатки отапливались плитой с кухни, колодец метров на десять ниже дома, засыпанный снегом.

– Зимой воду можете достать у соседа, – успокаивали меня сопровождающие.

Вернулся домой. Поделился с Ярой своими впечатлениями. Долго совещались. Помощи ждать было неоткуда – выселят насильно. Подчинимся. Вещи перевезём в Турчек. Вернее, не будем препятствовать перевозу их туда, а сами, конечно, в Турчек не поедем. Я временно мог поместиться в том жилье, которое для

Ставопроекта даст город, а Яра с Сашей временно устроятся или в Мартине, или в Братиславе, или в Клобоуках.

А тем временем выселение продолжалось по плану и без недоразумений. Приезжали грузовые автомобили с рабочими (то и другое давал строящийся завод), и квартиры освобождались.

Нас выселяли в последнюю очередь. К переезду мы были готовы. Свою движимость сократили. Некоторые вещи уступили знакомым русским, у которых семьи разрослись, некоторые вещи дали знакомым во временное пользование.

Дня два перед тем страшно снежило. И вот большой грузовик подъехал к нашему дому. Рабочие вынесли и погрузили вещи, я взобрался на них. Яра с Сашком пошли к соседке. Тронулись. Пока ехали по городу, автомобиль ещё как-то преодолевал снежные заносы. Но когда выехали за город на шоссе, то оказалось, что там заносы за заносами. Ни одного автомобильного следа не видно. Решили всё же попробовать. Мотор перегревался; несмотря на то, что колёса были с противоснеговыми цепями, мы почти не продвигались.

Шофёр, проклиная всё на свете, повернул обратно. Вернулись к нашему дому. Сидевший вместе с шофёром в кабинке представитель выселяющей комиссии пошёл к начальству. Я стал ждать. Скоро он вернулся и сказал мне, что выселение в Турчек из-за непредвиденных обстоятельств заменяется выселением в Быстричку. Это уютная деревушка в двух километрах от Мартина. Один из кулаков этой деревни, а именно Томка, был несколько дней назад выслан на урановые шахты в Яхимов. Вот в его дом нас и привезли. Я знал Томку и его семью по работе, и они меня знали.



Туда нам, хоть и с трудом, удалось добраться. Теперь семья [Томки] состояла из жены, сына и старой бабки. Разместились мы там легко и месяца три жили очень дружно.

На другой день я был в Жилине. Ведущий Ставопроекта, видно, был напуган рассказами кадрового и главного инженеров и заявил, что он решил ликвидировать филиал в Мартине, а мне предложил поступить на работу в Жилине. Это мне совсем не улыбалось. Из Быстрички в Мартин, а потом дальше в Жилин, оттуда на какую-нибудь работу ещё дальше. А в Жилине я как раз узнал, что в Турчанских Теплицах формируется институт по изысканию руд, а также расширению и обновлению старых заброшенных руд-

ных шахт. Необходимые для работы геологи были найдены, но нехватало маркшейдера (измерителя подземных просторов).

Сдавал я когда-то по этому предмету экзамен, опыт со всеми геодезическими работами был у меня большой. Махнул я в Банскую Быстрицу, где мой коллега занимался в шахтах этими работами. Уверил он меня, что через пару дней я буду чувствовать себя под землёй, как на земле.

По дороге домой остановился в Турчанских Теплицах и был принят заведующим маркшейдерскими работами с приличным жалованием. Обещали весной и квартиру найти. Саше тогда шёл одиннадцатый год. Он из мартинской школы был переведён в быстрицкую, а весной перевёлся в школу в Ракше.

Ракша – маленькая деревушка, где нашёлся для нас маленький домик, две комнату внизу, а две ещё меньшие наверху. Лето мы там провели неплохо, но зимой пришлось Яре там помучиться. Говорю о Яре, потому что я был всё время в разъездах.

Появилась новая возможность. В Турчанских Теплицах построил дом мой приятель П. А. Герасимов. Мы с ним служили в Мартине на одном предприятии и дружили. Рубаха-парень, энергичный и даже не в меру предприимчивый. Строить дом тогда, как и теперь, дело нелёгкое. То этого нет, то другого. Ну а у фирмы, где служишь, этого достаточно, можно «призанять». Без этого ни одна постройка как тогда, так и теперь не обходится.



Ну, он и «призанял». Открылось. Получил за это три года в Яхимове. Дочка его жила далеко, осталась Надежда Александровна в доме одна. Вот к ней мы и переселились. Надежда Александровна лет на двадцать старше Яры. Но сошлись они с Ярой быстро, несмотря на то, что у Н. А. был тяжёлый и замкнутый характер.

Много ей пришлось пережить тяжёлого. П. А. был её вторым мужем, дочка была от первого мужа, уже умершего. Мне жить там было более чем удобно: работал я в ста метрах от нашего жилища. Саша перешёл в школу в Турчанских Теплицах. Но прожили мы там всего лишь до осени.

Получает Надежда Александровна от мужа радостное письмо. За хорошую работу срок отбытия наказания ему сокращают более чем наполовину, так что к зиме вернётся домой. Почти одновременно пришло письмо от дочки – докторши в санатории недалеко от Братиславы. Пишет, что ей удалось перевестись на

службу в Турчанские Теплицы. А осень в полном разгаре. Скоро будет два года, как мы мытаримся по свету.

Яре как раз надо было поехать в Братиславу. Там жили наши найлучшие знакомые, просто сказать – приятели, с которыми мы подружились, живя в Мартине. Теперь Павел Кирильчук, судья, служил в суде в Братиславе. Остановилась Яра у Кирильчуков, а за разговорами выясняется, что жилищный вопрос беспокоит и семью Кирильчуков, но немного по-другому, чем нас.

Вовка, сын Кирильчуков, уже врач, и женился, и квартиру для своей семьи нашёл – уезжает от отца и матери. И Лялька, дочка, тоже замужем, и ребёночек вот-вот появится на свет. Муж её, инженер-водар, по службе получил квартиру, и не сегодня-завтра они оставят родителей. А у родичей большая квартира. Три больших комнаты, да ещё зимняя заградка, девять месяцев в году обитаемая. При кухне комната для прислуги. Останутся старики одни (они, правда, ещё не старики), дом будет считаться при двух [жильцах малонаселённым], и плата за квартиру будет много завышена. А уже более как полгода его как непартийного с ответственного места из суда уволили, перевели, как у нас тогда говорилось, «на лопату», т. е. на чернорабочий труд.



Сейчас как-то выкрутился, но задолжали, одним словом, – денег на жизнь не хватает, а тут ещё вздорожание квартиры, отопление больших комнат. Слово за слово, и Яра с ними договорилась, что въедем мы к ним как квартиранты, а все расходы по дому: отопление, освещение, телефон – всё пополам. Вопрос о моей службе тоже удалось удачно решить. В Пезинку (двадцать минут поездом от Братиславы) я мог [устроиться] маркшейдером на старых условиях.

Итак, в конце октября 1954 года переехали мы в Братиславу. С Павлом Кондратьевичем и Ниной Валерьяновной Кирильчук в одной квартире в согласии, взаимном уважении, в сердечных, почти родственных отношениях мы прожили целых одиннадцать лет. За это время наши дамы поссорились лишь два раза, и в том и другом случае не говорили одна с другой.

Мы с Павлом Кондратьевичем тогда не знали, как себя держать, но кончились эти два дня, и наши дамы были опять неразлучны – водой не разольёшь. Кухня и кладовая были общие. Обедали и ужинали сперва мы, а потом за нами Кирильчуки. Гости придут, тут сразу не угадаешь – к кому они пришли. Конечно,

у Кирильчуков были свои: то сын Вовка заскочит, то Лялька с мужем Мишкой и с детьми – так каждый день. Мишка сразу в кладовку – что-нибудь попробовать; детишки, особенно Вовкины девочки, у нас расположатся в коридоре и ну перебирать все старые игрушки – целые, поломанные – не оторвёшь.

Да и брат Нины Валериановны Светик с женой Павлиной раз или два забегали. А там часто перепутывалось чьё – чьё, аппетиты у всех были [неплохие], а Нина Валериановна, да и Яра – натуры широкие – всё шло в одну кучу. Но приходили и такие гости, что нельзя было сразу узнать – к кому. Были и такие, званые, что принимали их сообща в той же кухоньке. Жили, как видите, дружно.

Найти самостоятельную квартиру было в то время без протекции ой как трудно. Да и Сашка подрастать стал, кончил университет, жениться собирался. В то время стали ставить кооперативные дома на пятьдесят, а то и на сто квартир. Нужно было на начало заплатить за квартиру из двух-трёх изолированных комнат тысяч двадцать пять.

Я в это время перешёл со службы из Пезинки в Братиславу. Было мне уже шестьдесят лет. Работа под землёй в низких штольнях (не выше 180 см при моём росте 184 без стальной каски) заставляла находиться постоянно в сгорбленном состоянии; это становилось тяжело. 

Я перешёл на службу в фирме «Геодезия и картография». [Оплаты] были почти одинаковые, а мы сделались братиславчанами. Наскреблись вскоре и нужные деньги, и в 1965 году мы расстались с семьей Кирильчуков и поселились там, где и теперь живём: на Остредках, ул. Ивана Осоргу, 3.

Этим бы, казалось, я мог бы кончить своё повествование о том, как двадцатиоднолетний Николай Авенариус, покинув в ноябре 1918 года Москву, перешёл границы тогдашней Советской республики, временно прожил месяцев восемь в Румынии, потом вернулся опять на юг России-матушки, а в последних числах октября 1920 года в составе Белой армии, которую тогда возглавлял генерал П. Н. Врангель, Чёрным морем добрался до Турции. В 1921 году был лишён советского подданства, года два жил с нансеновским паспортом (голландская королева взяла под свою охрану всех русских, ушедших из СССР, а именем Нансена, одного из покорителей Северного полюса, названа международная организация европейских эмигрантов).

10 июля 1941 года было мне предоставлено чехословацкое гражданство.

16 мая 1942 года это право перешло на моего сына Александра Авенариуса и внука Александра Авенариуса и 19.01.1976 года на внучку Анну Авенариус.

*[Возможный пропуск около 10 страниц.]*

...Писал, что в Чехословакии я живу уже с 1918 года, уйдя из Бессарабии сразу же по занятию её румынами, что там остались моя мама и сестра Оля, жена брата Вашего мужа Парамона. По слухам, они погибли, но мне всё же хотелось узнать об их гибели хоть какие-то подробности, о чём и обращаюсь к ней.

Ответа на это письмо я не получил.

Прошёл со времени гибели мамы и Оли сорок один год. Но и теперь, когда после литургии в православной русской церкви (я хожу на каждую вторую литургию) служат панихиду и когда священник произносит имена усопших, за упокой душ которых он молится, я шепчу имена Александры, Клавдии, Ольги и Парамона. И вижу их перед собой.



Мир праху вашему, мои наиближайшие, и вечная вам память!

*Братислава, 23 января 1983 года*

# Похвальное слово «гражданской повинности»

...Ладя был страшно удручён, но потом мы с ним выпили, вспомнил каждый из нас, в каких переделках мы побывали и как всё кончилось к лучшему.

*Н. А. Авенариус*

Наш революционный эксперимент столь грандиозен по последствиям, что любое свидетельство очевидца становится драгоценным. За годы исторического эксперимента подневольные участники, а также и рьяные сторонники эксперимента — люди учёные и неучёные (однако же заведомые пропагандисты) навалили такие груды пристрастной лжи, которые, может быть, никогда и не рассеются. Тем более драгоценны свидетельства. Случилось чудо, судьба вручила мне рукопись очевидца. Другое чудо посетило автора рукописи — он не погиб, не утонул в борьбе за существование, но построил свою жизнь, и сверх того — на склоне лет взялся описать всё, чему был свидетель.

Человек абсолютно неизвестный одарил всех нас незамысловатой, но по концентрации событий совершенно необыкновенной историей.

Вся страна поначалу была в свидетелях, но так распространено было отношение к противнику: ну что эти сиволапые могут? Всё у них через месяц-другой развалится. Потерпим пока... Однако надо признать, что эксперимент* до сих пор не закончен...



Автор воспоминаний идёт навстречу событиям в своём малом человеческом измерении. В какой-то момент повествования он спрашивает у читателя или, быть может, — самого себя: «...что же я такого сделал? что? Не хотел видеть, как уничтожают всё старое, в котором были, конечно, и недостатки, как при каждом режиме, но уничтожать всё, что создали отцы, — было ни чем иным как варварством, против которого надо было встать».

В другом месте он задумывается над тем, что, конечно, он был не одинок: «Важно, что такие организации были, что организаторы их не преследовали лишь свои личные цели. Нет. Русский человек,

* Другой свидетель, которого я застал в своём детстве, пересказала мне анекдот тех, как мне казалось, давних лет. «Лектор часто употребляет выражение: „Мы проводим величайший в истории эксперимент“. Кто-то из слушателей задаёт вопрос: вот вы всё говорите „эксперимент“, да зачем же сразу над живыми людьми? Может, лучше сначала на обезьянах?». Давно уж нет старушки, которая пережила гибель близких и рассказала эту побасёнку мне, несмышлёнышу.

а особенно – русский мыслящий человек не мог не выступить с открытым протестом против непристойных слов „мы старый мир разрушим до основания“. Старый мир создавали наши отцы, деды, прадеды. Они дали России и всему миру много великанов духа, чести, ума, великанов искусства во всех его проявлениях. Выступить против этих слов, бороться с разрушительным влиянием их до́лжно было каждому сознательному русскому человеку».

Я оказался счастливцем, перед которым неожиданно и случайно предстала рукопись, она сразу подкупила меня уж хотя бы тем, что Молога соединила нас с автором в детские годы. Однако страна детства автора ушла под воду, на дно Рыбинского водохранилища, тогда как мне досталась река в сотне километров от зоны затопления, где никогда не приходилась слышать о бедственной участи нижнего течения Мологи. Так и в жизни: одним идти на дно, другим считать, что они живут в самой счастливой стране.

Что наша страна особенная, даже самая передовая и справедливая, приходилось слышать с раннего детства. Тем более сокрушительным стало наступившее разочарование, начавшееся с постепенного разрастания недоумений и подозрений. Чтобы в этом заявлении не оставалось недомолвок, уточню: если наша социальная история оказалась



скомпрометирована, то это не значит, что Россия была бедна выдающимися и изумительными людьми. Недоумения породили желание узнать «как было»: чтобы некий свидетель рассказал день за днём, как совершалось это всемирно-исторические событие. Конечно, к нашему времени источников набралось немало, и с обеих сторон, одно «Красное колесо» чего стоит! Но пример неудачный для высказанного пожелания – это произведение синтетическое, оно втянуло в себя свидетельства сотен людей. Моя апология особо дорожит тем, что автор рукописи точно ответил на мой запрос: рассказать, как он прошёл этот исторический путь день за днём. К этому времени я уже обладал обширным знанием об эпохе революции, было с чем сравнивать и поверять впечатления рассказчика. Я например, слышал, скажем, о процессе жилищного уплотнения, даже на эту тему сохранились дома некие документы, но они приходились уже на послереволюционную историю. А тут с пылу, с жару: 1918 год, приходят не только с винтовками, ещё и с пулемётом:

«Такое-то число. Дом реквизируется... До сорока восьми часов все квартиры должны быть освобождены. Разрешается взять с собой: три смены белья носильного, две смены постельного, верхнюю одежду... один стул на каждого и один стол на четверых... Выход из дома в эти сорок восемь часов по осмотру часовыми». Руководитель, латыш в по-

лувоенной форме с парабеллумом через плечо. «Революция тогда чего-нибудь стоит, если умеет защищаться» — классики знают своё дело.

Конечно, лукавить не буду — дом реквизировался у буржуазии. Спустя год автор воспоминаний добрался до Белой армии и вошёл в неё рядовым (студент по состоянию на 1917 год). Таким же рядовым и так же добровольно он в октябре 1917 года вышел на улицы Москвы, чтобы участвовать в сопротивлении большевикам. В рассказе об этих событиях обычно упоминание юнкеров, но вот — автор рассказывает, как студенческие отряды формировались офицерами, которых тогда в Москве было немало. Интересно, что бои в Москве не стали затяжными, потому что руководство белыми пошло на соглашение о перемирии с красными. Это было следствием общего настроения, что само всё устроится. Позже автор размышляет об этом так:

«В середине июня 1918 года, я сидел в чертёжке Московского высшего технического училища, что-то чертил, а больше предавался размышлениям и воспоминаниям. Вспомнил я и неудавшееся и казавшееся теперь ненужным московское восстание в октябре прошлого года. Никак не мог понять, как это могло случиться, что в восстании участвовало так мало молодых офицеров. Ведь Москва была полна ими, ведь большинство из них представляло собой цвет русской молодёжи. Ведь когда советская власть вызвала всех живущих в Москве офицеров явиться на регистрацию, грозя [укрывшимся] репрессиями, так в Лефортово их явилось около тридцати тысяч. Что ж, угроза расправы за неисполнение приказа так их напугала? Где были они в октябре? Вспомнил я и ужасно обидные, но не далёкие от правды слова, приписываемые Троцкому: „Если выдать приказ, что завтра начнут пороть русскую интеллигенцию, так уж с раннего утра она станет в нескончаемую очередь, а некоторые будут услужливо забегать вперёд“».

Эти офицеры ещё не знали кровожадности красных, это превосходило все возможные предположения. Осмелюсь всё же утверждать, что Ф.М. Достоевский оказался пророком, не услышанным в отечестве, а его знатоки и истолкователи обратили внимание не на самые важные пророчества...

Чтобы попасть в Белую армию, автору этой книги надо было выбраться из Москвы и перейти границу РСФСР. Непростенькая задача в 1918 году. Своих родителей он отправил в Киев несколько раньше, их только ограбили, ему же как в принципе военнообязанному, пробраться через кордон было сложнее. С удовлетворением отмечу, что в воспоминаниях других современников общая картина перехода границы выглядит сходным образом: колючая проволока,

суровая проверка, стрельба... Из разговоров мешочников, для которых это дело в какой-то мере привычное, автор узнал, что проверяющие особо не разбираются, и приходилось некоторым из них угодить не за кордон, а в трудлагеря. Тоже чёрточка эпохи.

Итак, в Белую армию автору удалось попасть только в середине 1919 г. Тут кстати поговорить о термине: по подсоветской литературе всякий враг того времени – «белогвардеец» (откуда столько гвардейцев набрали, да ещё и белофиннов придумали). Так называли героев Булгакова. Этот термин увеличивает авторитет врага и заодно доблесть красных. Явно этот термин не относится к автору, которого следовало бы назвать «белостудентом». Ценность воспоминаниям автора придаёт именно то обстоятельство, что он рядовой. Думаю, что накопилось порядочное количество белоофицерских воспоминаний, а вот студенческих не думаю, чтобы было много.

Попутный и стандартный вопрос об «озлобленности». Казалось бы: у человека отняли родину, историю, поломали жизнь – как не проклясть и не озлобиться? Чтобы развеять стереотип сошлюсь на авторские разъяснения, характеризующие противника:

«Пришедшие с польского фронта войска в несколько раз превышали численностью наши. Это было не ново. Новым было качество, дух их, дисциплина, командный состав. Война с Польшей, война не сословная, а национальная, бой за исконные русские земли, за матушку Русь, создала армию. Советская власть очень удачно поставила организатором этой армии генерала Брусилова, самого видного боевого генерала так бесславно кончившейся для России Первой мировой войны. За ним пошли многие офицеры...» – автор так боготворит родину, что даже обольщается.



Или, (речь идёт о конце Второй мировой войны):

«...Русские пленные, бежавшие из немецких концентрационных лагерей. К русским военнопленным немцы относились прямо по-зверски, смотря на них как на скот. Тем немногим, кому удавалось вырваться из лагеря и не быть пойманными, находился приют в пограничных лесах, отделявших Моравию от Словакии. Отсюда они просачивались и в окрестности Мартина, население которого было, как я уже упоминал, русофильское.

Среди русских я был самый популярный... так что полицейские Мартина всех бормотавших что-то по-русски направляли к моей канцелярии. Я им помогал материально... одевал, кормил, давал возможность переночевать у меня в канцелярии, а потом препровождал в лес... близ моравско-словацких границ, где собирались русские, бежавшие из плена.

Ну, а я всегда был там, где были русские. Постепенно русачков переправляли из пограничья на выход к Прешову. Организовывал переправу Ян Репта из Подбрезовейда, и я этим занялся. Едем домой в Мартин, возьмём двух русачков, одному дам пустой ящик от геодезического инструмента, другому трассирки. Прикажешь, чтобы не болтали, и так довезёшь их до Мартина. А там...»

И это озлобленность? Несмотря на сложность встречи нашего автора-героя с Красной армией, можно было бы и её привести вдобавок к цитированному выше, но пусть читатель рассудит сам.

Пришло как-то в голову, что верным собратом автору оказался пушкинский Петруша Гринёв. Расстояние большое от недоросля до студента Императорского училища. Однако не в образовании дело. Пушкинскому Петруше пришлось проявить немало мужества в придуманной истории: верность присяге в схватке за крепость, честный отказ от службы у Пугачёва, упование на справедливость на следствии по обвинению как раз в сотрудничестве с ним. При этом Пушкин подаёт его душевные состояния так, что мы не видим в них смятения, страха, паники: «Надели мне на ноги цепь и заковали её наглухо... Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет». 

Наш герой Николай Авенариус однажды заплакал: «Погибну здесь, и никто обо мне не узнает». Тем не менее он деятельно шёл навстречу событиям. В этом главное сходство выдуманного и невыдуманного героев – в их непринуждённом оптимизме, который никак не декларируется, а просто вытекает из общего поведения обоих.

По справедливости стойкость вознаграждается этакой маленькой пикантностью: однажды обоих выручили царствующие особы. Как известно, Петрушу – Екатерина Вторая, а автора данных воспоминаний – королева румынская Мария. Были хлопоты матери автора. А если бы матушка по бюрократическим причинам не достигла столь высокой инстанции? Пушкину для капитанской дочки Маши пришлось придумать или подстроить благоприятный случай.

И ещё одно сравнение нашего студента с его литературным двойником. Петрушу подвигло на самоубийственную поездку в стан врага чувство любви к девушке, как он считал – будущей невесте. Рисковый шаг! Но он-то и придаёт повести большую часть смысла. (Философы говорят: «Только непонятное придаёт смысл жизни»). Наш студент делает примерно то же самое, не имея при этом никакакой личной заинтересованности: «Я, когда вырвался из отрезанной от России

Бессарабии, считал своей гражданской повинностью присоединиться к Добровольческой армии во главе с Деникиным... С этими мыслями я и направился в военную комендатуру города Одессы. И здесь я встретил массу военных всех возрастов и чинов, неразбериху, и с трудом нашёл одного из дежурных по комендатуре, офицера. Он мне на моё желание вступить в Добровольческую армию ответил приблизительно так:

– Одесса – это далёкий тыл. Тыловые военные части переполнены. Правда, организуются боевые формации при штабах старых полков и дивизионов, но недостаток военного снаряжения и вооружения задерживает их отправку на фронт.

Частным образом он посоветовал мне пробраться в Харьков, где была генеральная квартира Добровольческой армии, где меня сразу могут назначить в маршевую роту, отходящую на фронт. За эту мысль я и ухватился».

С таких мыслей и планов началось его участие в действиях врангелевской армии. В этот момент (лето 1919) поступки героя не выглядят безрассудными, потому что армия Деникина успешно продвигалась к Москве.



Для лирического сравнения с Петрушей имеется довольно неожиданный материал. Дело в том, что после бегства врангелевской армии из Крыма наш герой бедствовал в Константинополе. Больших трудов и приключений стоило ему добраться до своей матери и сестры в Бессарабии. Там он начал приходить в себя и пытался устроить свою личную жизнь. Очень ему хотелось остаться русским, создать русскую семью и получить русское образование, которое, как он надеялся, могло пригодиться в новой России. Среди русских беженцев приглянулась ему некая Галочка – беженка из Киева. Заметим попутно, что внимание он обратил до возвращения в Россию, т. е. в Крым, и до участия в действиях Белой армии, а объясняться стал уже вернувшись. Когда дело дошло до объяснения, она удивилась: неужели он сам ещё не понял, что ей нравится другой? Этот другой был из местных, но его родители были против брака с православной. Отношения любящей пары завязли в неопределённости. Пережив шок неудачного объяснения, наш герой-воин решительно организовал брак Галочки с возлюбленным по католическому обряду! Ну в какой изящной словесности, у какого Тургенева или Гончарова вы найдёте такую историю!? Правда, ему пришлось отвечать за свой поступок перед родственниками мужа. Дружба с Галочкой сохранилась на тот недолгий срок, который им обоим отпустила история. Побойтесь заключить, что этот поступок дался ему легко.

Автор избегает вдаваться в обобщения или рассуждать на мировоззренческие темы. С удовольствием процитирую небольшой отрывок, казалось бы чисто бытового характера, но как свидетельство чего-то большего: «А знаете, хорошее время я прожил в Таврии в 1920 году. Лето было прекрасное, жаркое. Забот никаких. Слушай приказания и ни о чём больше не заботься... Никогда мы не спали под крышей, целое лето расположимся поближе к орудию, если есть деревце — так под него. Немного соломки под голову, шинель лежит рядом, чтоб на рассвете прикрыться. Смотришь на звёздное небо, покой на душе, чувствуешь себя здоровым, сильным. Да, никогда я таким физически сильным и душевно спокойным себя не чувствовал, как в июне, июле, августе да и сентябре 1920 года. Месяцами под открытым небом...

Вечер. Перекличка кончилась. Раздаётся команда:

— На молитву шапки долой! Пой молитву.

Три братья Розановы, прекрасные, как один, певцы, начинали: „Царю Небесный...", потом раздавались слова корниловского гимна:

Кто свою отчизну любит
и корниловец душой —
мы былого не жалеем,
царь нам не кумир,
лишь одну мечту лелеем —
дать России мир!



Привожу эти слова, потому что они наилучшим образом характеризуют настроение моё и моих соратников по Симферопольскому полку и корниловской батарее в те давние часы».

Память о революции навеки отмечена кровью и ужасом её участников. Тем больше изумление от общего впечатления после прочтения воспоминаний. Несмотря на трагичность ситуаций и «хождения у бездны на краю», судьба автора сложилась счастливым образом: даже без «раны небольшой». Не наше дело судить, но невольно: Господь хранил. Автор нигде прямо не говорит о своей вере, а косвенными свидетельствами оказались один или два эпизода. Один из них рассказан автором в качестве комической иллюстрации бедности студенческой жизни в Праге:

«Я умышленно вспомнил, что у нас была одна чайная ложка. Чаю, как я уже говорил, пили мы много. Каждый себе наливал. Я первый завладевал ложкой и сначала мешал себе, а потом автоматически совал в стакан приятеля. Делал так ежедневно по крайней мере год. И вот последствия.

Сижу в Братиславе в семье отца Сергия. Вечером, после всенощной, на чаёк у батюшки собиралась молодёжь. Дома у него (он был вдовец) были две дочки лет семнадцати-двадцати и сын, молодой инженер. Хозяйничала старшая дочка Александра Сергеевна. Был кто-то из их подруг. Получив свой стакан чая и что-то рассказывая, мешаю ложечкой в своём стакане, машинально вынимаю и начинаю мешать чай в стакане соседки. Соседка в недоумении глядит на меня. Я заметил её взгляд, вижу, что и остальные на меня смотрят, замолк. Понял, что делаю, сперва смешался, а потом рассмеялся. Когда я объяснил в чём дело, смеялись и остальные».

Автор и сам задумывался, откуда на него сваливались многочисленные его приключения:

«Некоторые говорили:

– Вы любитель авантюристических переживаний...

Нет, это не совсем так. Авантюристы имеют всегда на первом месте себя, свои личные выгоды, хотя бы и в далёком будущем. Я их не имел. Нет.

Я был легкомысленным, был непоседлив – не любил только плыть по течению, искал чего-то своего, и часто очень неудачно. Но эгоистичным не был».



Автор сам выделил себя из массы склонных подчиняться обстоятельствам. Это и откликалось тем, что в те пламенные времена он постоянно арестовывался: красными, румынской сигуранцей или немцами в оккупированной Словакии.

Великая Отечественная война, самое дорогое достояние советской истории, породила культ ветеранов, когда самая малая частичка памяти о той войне объявлялась священной. Так бы оно и должно быть, если бы при этом частички, подлежащие сохранению, не отбирались по идеологическим правилам. Из-за этого история войны нашего народа не раз переписывалась, переиздавалась и потом снова и снова страдала неполнотой. Что ж говорить о Гражданской войне?

В число календарных дней введён День народного единства (День примирения и согласия), который как-то слабо приживается. Настоящей подвижкой в советском «менталитете» стало признание культурных достижений русской эмиграции. Воспоминания, о которых идёт речь, написаны всё-таки не рядовым человеком, который донёс до нас атмосферу и ещё спокойной предреволюционной России, и эпохи Гражданской войны, и эпохи «первой» эмиграции, и жизни в изгнании. Жизненный вариант автора пожалуй мало описан. Как-то повелось с лёгкой руки М. Булгакова зубоскалить над изгнанниками, добывающими на пропитание в Стамбуле тараканьими

бегами. Нелишне ещё раз увидеть эту судьбу как бы изнутри. Этот ракурс поучителен и для восприятия событий прихода Красной армии-освободительницы в одну из стран Восточной Европы.

Всё написанное здесь было изложено, чтобы навести порядок в обуревающих чувствах. Была поставлена последняя точка, и тут осенило. Правда, была пришвинская подсказка. Но: и без него я почти сразу назвал для себя рукопись «Капитанской дочкой» XX века – эк хватил! Внутренне колебался – ну зачем так преувеличивать?.. Но подумайте сами: Пушкин решил описать Героя; правда, скажете, что он писал на тему Пугачёвского бунта – так. Но что он мог противопоставить Пугачёву, если не самое лучшее, что имел? Чтобы избежать ненужного пафоса, обмакнул его в образ недоросля. Герой – это много, и Пушкин выложил лучшее... И угадал Колю Авенариуса. Что, героев не бывает? Вот Лермонтов и написал своего «героя», в том самом понимании героя, которое нас не устраивает, да и он сам, верно, считал своё название ироническим. Пришвин об этом герое как раз и сказал: «Прочитал Пушкина „Историю Пугачёвского бунта" и „Капитанскую дочку". Наконец-то дожил до понимания „Капитанской дочки" и тоже себя: откуда я пришёл в литературу. Утверждение мира в гармонической простоте („мечты и существенное" – сходятся). Пушкин отсылает своего Онегина и вообще „героя нашего времени" к Пугачёву (Швабрин) и оставляет себе то простое, что есть в „Капитанской дочке". И теперь читаешь и как будто у себя на родине... именно это родина: моя родина не Елец, где я родился, не Петербург, где наладился жить, то и другое для меня теперь археология... моя родина, непревзойдённая в простой красоте и, что всего удивительней, органически сочетающейся с ней доброте и мудрости человеческой, – эта моя родина есть повесть Пушкина „Капитанская дочка"».



Прагматика обычно скептически возражает, что зло непобедимо, что сказки Пушкина ничего не значат, как и конкретная история какого-то случайно выжившего студента. Важен итог: белые проиграли... Однако для нас всегда звучит негромкий голос Учителя: «*Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради*». На языке философа то же самое звучит немного иначе: «Вы победили!» – так сказал Иван Ильин павшим юнкерам – тем, кто первыми организованно встретили вызов Гражданской войны. Эти же слова он повторил вслед кораблям с армией Врангеля, уходящей из России...

*Георгий Вомпе*

*2012*

УДК 882-94
ББК 84(2Рос–Рус)6-4
А19

**Авенариус Н.**
Кремнистый путь
М.: Волшебный фонарь, 2012. – 352 с., илл.

*Дизайнер* Раиса Гершзон
*Редактор* Екатерина Кондратьева
*Ответственный за выпуск* Владимир Ерохин

ISBN 978-5-903505-70-8

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Формат 60х90/16. Объём 22 печ. л.
Заказ 670